



В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ

А.Б. Иехошуа

Ш. Харэвен

Я. Шавит

РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ
ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А. Оз

Д. Шахар

И. Бен-Нер

А. Аппельфельд

РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ
ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ

Рассказы современных
израильских писателей

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

А. Оз
А.Б. Иехошуа
А. Аппельфельд
И. Бен-Нер
Ш. Харэвен
Д. Шахар
Я. Шавит

В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ

Рассказы современных
израильских писателей



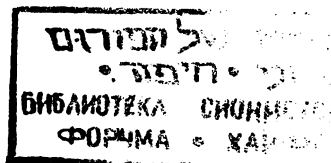
БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1987

Printed in Israel

מבחר סיפורים
של סופרי ישראל בני זמננו

ע. עוז
א.ב. יהושוע
א. אפלפלד
י. בן-נר
ש. הראבן
ד. שחר
י. שביט



2819

SELECTED STORIES
OF CONTEMPORARY
ISRAELI WRITERS

Составитель сборника В. Фланчик

Художник обложки А. Резницкий

ISBN 965—320—010—0

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, декабрь 2019 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

К "Поискам личности". И. Орен (Надель)	I
Амос ОЗ.	
На этой недоброй земле. Пер. с иврита	
В. Фланчик	1
Чужой огонь. Пер. с иврита В. Фланчик	55
А.Б. ИЕХОШУА.	
Начало лета — 1970. Пер. с иврита М. Ледер.	90
Ахарон АППЕЛЬФЕЛЬД.	
Хождение в Качинск. Пер. с иврита	
В. Глозман и Л. Маламид	142
Птицы. Пер. с иврита В. Глозман	158
Перемены. Пер. с иврита И. Верник	164
Ханукка 1946-го. Пер. с иврита И. Верник	167
Ицхак БЕН-НЕР.	
Закат в деревне. Пер. с иврита В. Фланчик	173
Кино. Пер. с иврита В. Фланчик	203
Шуламит ХАРЭВЕН.	
Ненавидевший чудеса. Пер. с иврита В. Кукуй	228
В поисках личности. Пер. с иврита В. Фланчик	283
Давид ШАХАР.	
О тенях и образе. Пер. с иврита В. Кукуй	321
Смерть маленького божка. Пер. с иврита	
И. Верник	358
Яков ШАВИТ.	
Посылки из Гринфилд-Сити. Пер. с иврита	
В. Фланчик	370

К "ПОИСКАМ ЛИЧНОСТИ"

По преданию, жандармский офицер спросил великого хасидского рабби Шнеура Залмана из Ляд, основоположника течения Хабад, о следующем. Поддавшись соблазну, Адам, несмотря на категорический запрет, вкусил от плодов древа познания и, в ужасе от своего проступка, спрятался в райских кущах. И сказано: "И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?" (Быт. 3:9). Но если Бог спрашивает Адама, где тот скрывается, значит, от него можно спрятаться, и, значит, Он не всеведущ. Ответ мудрого раввина передается различно, но суть всегда сводится к одному: Адам обрел знание добра и зла, налагающее тяжкое бремя свободы выбора; и теперь, когда Адам оказался в этом, совершенно новом для него, состоянии, Бог обращается к нему с вопросом, который нельзя понимать буквально, это — ключевой вопрос, обращенный к человеку, обладающему выбором: где ты? где ты в пространстве и во времени, где ты во Вселенной? кто ты теперь перед самим собой и перед Богом?

"В поисках личности" — так называется один из рассказов, включенных в предлагаемый читателю сборник. Это название в значительной степени отражает тему большинства рассказов сборника. Это не случайно: с конца 1950-х гг. поиск ответа на вопрос, кто ты во Вселенной, кто ты перед собой и своей совестью, одним словом, поиск своего подлинного "я" становится господствующей темой израильской литературы. Эта тема хорошо известна в мировой литературе, однако в Израиле она обладает особой остротой и потому привлекает особое внимание израильских писателей. Поиск себя есть поиск своего места в обществе и в исто-

рии, а само израильское общество еще далеко не сложилось и не определило однозначного отношения к многотысячелетней еврейской традиции. Современное израильское общество находится в бурном процессе становления — выработке новых социальных форм, норм общежития, единого мировосприятия и специфической израильской культуры. Фундаментом этого процесса служит удивительное многообразие социально-культурных традиций, в которых преломилось общее наследие еврейского народа и вместе с тем сказалось влияние культуры и быта окружающих народов, среди которых евреи, изгнанные со своей родины, были вынуждены жить почти два тысячелетия. Религия и мессианская вера в конечное избавление сохранили единство еврейского народа, рассеянного по всему миру, и это единство нашло свое выражение в исторически беспрецедентном событии — возрождении национального государства и национального языка на древней исторической родине. Возрождение древней формы национального существования — суверенной государственности и создание национального народного хозяйства потребовали отказа от многих традиций и обычаев, сложившихся во время жизни в изгнании, ломки патриархальных отношений, характерных для жизни многих еврейских общин, радикального изменения социальной психологии.

Израильское общество формировалось в последние сто лет, и за этот исторически весьма краткий отрезок времени испытало резкие демографические, культурные и идеологические перемены. Когда в 1880-е гг. в Эрец-Исраэль начали прибывать ховевей-Цион*, халуцим, она застали здесь несколько относительно немногочисленных, сугубо религиозных еврейских общин — в Иерусалиме, Цфате и Тверии, так называемый "старый ишув". "Новый ишув" постепенно складывался из репатриантов, стремившихся личными усилиями осу-

* Ховевей-Цион — члены движения Хиббат-Цион, возникшего в России в начале 1880-х гг., из которого развился сионизм.

ществить идеалы сионизма — освоить и заселить заброшенную землю древней родины и своим примером вдохновить единоплеменников на продуктивный труд. Следующие волны еврейских репатриантов — пионеры Второй и Третьей алии — находились под влиянием социалистических идеалов и стремились не только к национальному возрождению еврейского народа, но и к созданию идеального общества в Эрец-Исраэль. С середины 1920-х гг. в Палестину начинают прибывать евреи Восточной Европы, а после прихода к власти в Германии нацистов — также евреи Центральной Европы. Эти волны репатриации были вызваны преимущественно антисемитизмом и дискриминационными мерами в странах исхода; среди репатриантов находились лица самых различных политических взглядов и идеологических позиций. С начала 20 в. в страну не прекращалась репатриация евреев из стран Востока, в первую очередь, из Йемена. Сразу же по окончании 2-й мировой войны в Эрец-Исраэль устремились те, кто уцелел после нацистского геноцида, в ходе которого была уничтожена треть еврейского народа. Усиливается репатриация евреев из арабских стран, и в первые годы после провозглашения независимости в Израиль переселилось подавляющее большинство евреев стран Востока.

Огромная репатриационная волна привела к тому, что менее чем за три года независимости еврейское население Израиля удвоилось. Все эти люди, многие годы жившие или даже родившиеся в Эрец-Исраэль и только что прибывшие в страну, люди с различным жизненным опытом и выросшие в атмосфере самых разных культурных традиций, люди, принадлежавшие к патриархальному и современному промышленному обществу, говорившие почти на всех языках мира, ортодоксальные евреи и потомки нескольких поколений, живших в условиях почти полной ассимиляции, те, кто приехал в Эрец-Исраэль, чтобы собственными руками возродить ее, и те, кто осознал, что эта страна — единственное место в мире, где еврей может надеяться на на-

дежное пристанище, — все эти люди оказались перед необходимостью создания новых форм общежития и создания общей культуры. Израильское общество стало плавильным горном новой еврейской общности, на этот раз — не новой общины, а суверенного народа.

В таком горниле "поиск себя" становится особенно острым и интенсивным, поскольку все стороны бытия проникнуты конфликтами, конфликтами внутриобщественными и конфликтами между личностью и обществом. Сюда можно отнести разрыв идеологий, поколений, культур, традиций, быта и т.п., борьбу за свое место в мире, ощущение неукорененности в обществе, в новой стране. Срок еще слишком короток, чтобы врасти в новую почву. Страна, тысячелетия бывшая центром еврейских надежд, страна огромного "исторического протяжения", оказалась страной очень малого географического протяжения, к тому же — окруженной тесным кольцом враждебных стран. Ощущение тесноты и тяга к широте и размаху заморских земель — еще один феномен, свойственный израильскому обществу. Ведь не в одно столетие древний иудей превратился в скитальца Вечного Жида, и, по-видимому, не одно столетие понадобится для обратного превращения.

В статье Краткой Еврейской Энциклопедии, посвященной новой литературе на иврите, следующим образом подытоживается развитие израильской литературы: новая литература на иврите "с момента своего зарождения во второй половине 18 века правдиво и без прикрас воплощала конфликты реальной действительности, заостряя их проблематику в национальном, духовном и общественном планах. Израильская литература продолжает эту традицию, сгущая порой краски при трактовке конфликтов, порожденных самоощущением отдельной личности в современном мире. Нередко такое сгущение красок приводит к некоторому искажению представлений о действительности, их смещению в сторону экзистенциального трагизма. Но именно эта черта придает израильской литературе глу-

бину, стимулирует поиски нового содержания и новых форм и поднимает ее до уровня наиболее развитых литератур мира”*.

В предлагаемой читателю книге собраны рассказы авторов, принадлежащих ко второму и, отчасти, третьему поколению израильских писателей. Первое поколение, прозванное ”поколением Палмаха”, начало свою литературную деятельность еще до провозглашения независимости, в годы борьбы с мандатными властями. Начальный период творчества писателей этого поколения характеризовало упоение участием в великом событии еврейской истории — восстановлении суверенной государственности и возникновении нового еврейского типа — борца и победителя, не изведавшего унижений, сопровождавших жизнь еврея в галуте. Однако уже к концу 50-х гг. наметился перелом: место героя, ощущающего себя частью монолитного коллектива, спаянного единой идеологией, начинает занимать совсем другой герой — индивид, погруженный в свои переживания, страдающий под бременем разочарований, жертва неминуемой в человеческой истории амортизации идеалов, неизбежно происходящей по ходу их претворения в жизнь.

Ахарон Аппельфельд изображает в своих рассказах послевоенные скитания евреев — перемещенных лиц, еще не оправившихся от ужасов, пережитых ими в нацистских лагерях смерти. Четкий языковой ритм и эпическая отчужденность повествования вызывают в читателе ощущение роковой неизбежности происходящего, своего рода физического закона, неумолимо движущего героев от бытия к небытию.

Наиболее значительные писатели второго поколения — Амос Оз и Аврахам Йехошуа, а также представители третьего поколения — Ицхак Бен-Нер, трактуют личностные проблемы индивидуума в экзистенциально-универсалистском плане; однако, хотя их герой не

* Краткая еврейская энциклопедия (на русском языке). Иерусалим, 1982, т. 2, кол. 627.

столько еврей и израильтянин, сколько человек вообще, человек как таковой, экзистенциальная ситуация, в которой он находится, показана на фоне повседневной жизни Израиля, рисуемой в реалистических красках. И в условиях израильской действительности вечные общечеловеческие проблемы приобретают особый колорит, особое психологическое выражение и особую историческую глубину. Это применимо к целой веренице героев И. Бен-Нера. Герой рассказа "Закат в деревне" не может найти применения своим незаурядным душевным и физическим способностям. Похож на него и герой рассказа "Кино" — покинутый женой владелец маленькой типографии, одержимый страстью к романтическим кинофильмам. В рассказе Аврахама Иехошуа "Начало лета — 1970" отец, получивший извещение о гибели сына на Суэцком канале во время "войны на истощение", вдруг осознает всю глубину отчуждения, существовавшего между ним и его сыном, которому идеалы отца казались наивными и примитивными. Героиня рассказа Якова Шавита, многие годы получавшая регулярные посылки от сестры из Америки, неожиданно обнаруживает, что ее сестра живет в крайней нищете.

Д. Шахар в тонком рассказе под заглавием "О тенях и образе" дает портрет юноши из религиозного квартала Иерусалима, которому вдруг открывается мир светских интеллектуалов, мир неведомых ему дотоле эстетических переживаний и ценностей. Герою другого его рассказа — "Смерть маленького божка", неожиданно во сне является покойный отец, бывший известный сионист. Их разговор происходит в комнате, где на одной стене висит карта Эрец-Исраэль, на которой помечены участки, принадлежащие Керен Каемет, а на другой висят портреты Т. Герцля и М. Нордау. Вдруг отец подходит к столу, расстилает на нем карту мира и эта карта начинает неудержимо увеличиваться... "Ну-ка, сынок, расскажи мне, что делается на свете", — просит отец. И слышит ответ своего сына, иерусалимского

мистика-мечтателя: "Мир все увеличивается, папа, а бог все уменьшается..."

В рассказах авторов этого сборника нашел отражение вечный антагонизм между новым и старым, материей и духом, мистическим и рациональным. Этот антагонизм начинается с первых же шагов человеческой цивилизации и находит яркое воплощение в библейской литературе — от истории о золотом тельце, сотворенном во время скитаний народа по пустыне, до страстно обличающих речей пророков древнего Израиля. И потому не случайно израильские писатели последних поколений обращаются к библейской тематике, которая зачастую предоставляет в их распоряжение конфликтные ситуации, удивительно сходные с современной действительностью Израиля.

В своей повести "Ненавидевший чудеса" Шуламит Хар-Эвен пытается понять душу своего героя, бескомпромиссного индивидуалиста, ищущего себя и свое место в ходе болезненного процесса превращения сброда рабов, покинувших Египет, в народ, объединенный единым языком и единой целью под предводительством единого вождя — Моисея. Этот процесс диалектичен — безжалостно подавляя личность, он, вместе с тем, формирует и закаляет ее. Борьба за личную свободу, отвержение авторитетов, отречение, бунт и отшельничество — таков путь героя, приводящий его в конечном итоге на ту же дорогу в Землю Обетованную, по которой идет его изнуренный мытарствами народ. Библия не только не приукрашивает испытания и тяготы, выпавшие на долю "поколения пустыни", но, напротив, по-видимому, в дидактических целях, сгущает краски. Но в то время, как библейское повествование рассматривает события с точки зрения духовных вождей народа и их идеалов, Ш. Хар-Эвен пытается увидеть происходящее глазами самих участников событий, тех, на чьи плечи легло бремя повседневной жертвы во имя идеалов, провозглашенных вождями. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии", как сказал русский поэт, и поэтому писательница обраща-

ется к далекому прошлому своего народа, желая лучше понять его настоящее.

С той же целью обращается к историческому прошлому и Амос Оз в рассказе "На этой недоброй земле". Время действия — эпоха Судей, всего лишь столетие спустя после Исхода и столетие до образования Израильского царства, эпоха, когда израильские племена, поселившиеся в Эрец-Исраэль, еще вели с соседями вооруженную борьбу за обладание Землей Обетованной. В этих беспрестанных войнах складывались временные племенные союзы, во главе которых стояли харизматические вожди — "Судьи". Увидеть события так, как их видел такой вождь, понять его поиски себя и его душевные конфликты, бремя жертв, принятых им на свои плечи во имя движения по тернистому пути к созданию национального государства, — вот основа исторической новеллы А. Оза.

Четкие параллели между древними и современными событиями — рождением и возрождением нации, рождением и возрождением национального государства — убеждают читателя в исторической значимости сегодняшних событий, их чреватости будущим. Именно этими параллелями и ценны прежде всего произведения, вошедшие в настоящий сборник.

И. Орен (Надель)

Амос Оз родился в Иерусалиме в 1939 г. С 15-летнего возраста он — житель кибуца "Хулда". Изучал еврейскую литературу в Еврейском университете в Иерусалиме и в Оксфорде. Автор нескольких сборников рассказов и многих романов. Английский перевод романа "Мой Михаэль" снискал А.Озу особую популярность за рубежом, а в 1975 г. он был экранизирован в США. Сочинения А.Оза часто и много переводят на другие языки. Удостоен премии им. Бялика (1986).

НА ЭТОЙ НЕДОБРОЙ ЗЕМЛЕ

I

Ифтах родился на краю пустыни. На краю пустыни вырыта ему могила.

Много лет ходил Ифтах по пустыне с кочевыми народами у пределов Аммона. Даже когда пришли к нему старейшины и упросили стать судьей в Израиле, не вышел Ифтах из пустыни. Был он сыном пустыни, и за это избрали его старейшины Гиладские начальником над Израилем, потому что были то мятежные времена.

Шесть лет правил Ифтах. Во всех войнах взял он верх над врагами. Но и тогда лицо его не просветлело: не любил он Израиль и врагов его не ненавидел. Был он сам по себе, но и себе был как чужой. Никогда, даже укрытый стенами дома, не распускал Ифтах узкого прищура, будто защищал глаза от пыли пустыни и раскаленного добела света. Или, может, глаза его были обращены вовнутрь, потому что вокруг — на что им смотреть?

В день победы над Аммоном Ифтах вернулся в

надел своего отца. Народ собрался, чтобы воздать ему почести, девушки пели: поверг и сразил, Ифтах же стоял сонный и безучастный. И был среди старейшин колена один, который подумал: "Морочит нас этот человек. Сердце его не с нами, а далеко".

Отца его звали Гилад Гилады. Рожден был Ифтах от блудницы-аммонитянки по имени Питда дочь Эйтама. Дочь свою Ифтах также нарек Питда. И в старости, перед смертью, видел Ифтах обеих, будто одну.

Мать умерла, когда Ифтах был ребенком. Сводные братья, сыновья отца, прогнали его в пустыню за то, что был он сыном другой женщины.

В пустыне собрался вокруг Ифтаха бродячий народ, угрюмый и отчаянный, но признали они Ифтаху своим начальником, потому что от него исходила власть. Когда хотел, он умел говорить с ними добром, когда хотел, голос его становился холодным и злым. И еще — стреляя из лука, объезжая лошадь или ставя палатку, Ифтах в движениях казался неповоротливым, нерасторопным или усталым. Но обманчив был его вид, как безобидность ножа в складках шелковой ткани. Он мог приказать: встань и иди, и вставали, и шли, а Ифтах даже звука не произнес, только губы сложились в приказ. Говорил Ифтах скупно, потому что не любил слов и не доверял им.

Много лет провел Ифтах в горах среди пустыни. Терся возле него разный люд, шумливый и панибратский, но Ифтах к себе никого не приближал. Однажды пришли к нему старейшины Израиля просить, чтобы он сразился с аммонитянами. Подобрав полы одежд, чтобы не трепать их в пыли, они стали на колени перед сыном пустыни. Ифтах слушал их молча. Молча смотрел он на попанную гордыню, как смотрят на рану. Потом в глазах его отразилась боль, но не боль преклоненных старейшин, а может, и вовсе не боль, а будто бы мягкость. Он мягко сказал:

- Сын блудницы станет над вами вождем.
- И старейшины отозвались:
- Станет вождем.

Было это в пустыне, за пределами земли Аммонитянской, за пределами земли Израильской, в безмолвии мертвых и зыбких песков, тумана, мелких колючих кустов, белых гор и черных камней.

Ифтах поразил аммонитян, возвратился в отчий надел и обет свой исполнил. До последней минуты надеялся, что послано ему испытание, которое он выдержать в силах, до последней минуты верил, что, когда свяжет дочь и положит на жертвенник, скажут ему: не поднимай руки на отроковицу.

Потом вернулся Ифтах в пустыню. Он любил Питду и верил в ночные голоса, приходящие из пустыни.

Ифтах Гилады умер в горах в земле Тов, а Тов значит Добро. Люди рождаются, чтобы воочию увидеть свет дня и свет ночи и назвать свет светом. Но бывает, что человек приходит в мир безотрадным, проживает свой век в скорби и оставляет после себя ярость. Когда умер Ифтах, вырыл отец ему могилу и над могилой сказал:

— Шесть лет правил мой сын Израилем по милости Божьей.

И добавил:

— Милость Божья неисповедима.

Четыре дня в году ходят девушки оплакивать Питду, дочь Ифтаху. В отдалении бредет за ними слепой старик. Сухие ветры пустыни выклевыывают слезинки из глубоких морщин. Но не под силу им выветрить соль, и она высыхает и разъедает кожу. Девушки уходят в горы. Днем их плач уносит в пустыню, в земли лис, ехидн и гиен, снедаемые белым слепящим светом. Ночью слышат его утрюмые кочевники земли Тов, и тогда начинают они свои песни, в которых горечь и страх.

Место, где родился Ифтах, лежало на самой окраине. Владения Гилада Гилады были последними в наделе колена, и пустыня обгладывала здесь пашни, пробиралась в сады, а временами поражала людей и скот. Утром солнце пробивалось из-за восточных гор и принималось сжигать землю. В полдень, казалось, шел палящий град, губивший все, что встречалось ему на пути. На исходе дня солнце склонялось на запад и перед заходом бралось за вершины западных гор. В течение дня камни меняли цвет, и изда- лека казалось, что они мечутся по земле и сгора- ют заживо.

К ночи земля успокаивалась. Свежие ветерки ка- сались ее то здесь, то там, поглаживали, удержи- вались подольше. На склонах выступала роса. И, на- конец, сжалившись, спускалась ночная прохлада. Преходяща была эта милость, но ведь давалась она из ночи в ночь, а чередуется все: рождение и смерть, ветер и вода; ненависть сменяется тоской, а тень приходит и уходит.

Хозяин надела Гилад Гилады был высок и доро- ден. Солнце обуглило кожу на лице Гилада. Всеми силами сдерживал он нрав, но прослыл самовласт- ным. Слова, срываясь с уст Гилада, звучали как ок- рик. Временами получался шепот — ядовитый и злой, будто он напрягался в этот момент, чтобы заглушить какие-то другие голоса. Если он клал тяжелую уро- дливую ладонь на голову сына, загривок лошади или чресла женщины, то знали, не глядя — это Ги- лад. Случалось, он трогал какой-то предмет не по- тому, что о нем заходила речь, и не потому, что он нужен для дела, а чтобы рассеять приступ сомнений — материальность вещей удивляла Гилада. Иногда ему хотелось коснуться рукой того, что как будто не существует на ощупь — звуков, запахов, печали. Когда наступала ночь, Гилад говорил порой: насту-

пила ночь, как будто это было не ясно без слов. Вечером он призывал к себе кохена*, чтобы тот читал ему из Писания. Гилад весь подбирался и внимательно слушал. Даже в мелких делах он обращался к Богу, прося, чтобы родился бычок или чтобы Бог помог починить два треснувших глиняных сосуда. Временами Гилад смеялся без всякой причины.

Все это наводило ужас на рабов. Если в летний день Гилад поднимал к небу свое опаленное лицо и по полю разносился его гулкий и хриплый хохот, рабы от страха вторили ему. По ночам его охватывала вдруг холодная ненависть к далекому и холодному свету звезд. Тогда криками он будил и созывал всех во двор — мужчин и женщин. Он наклонялся, обеими руками отрывал от земли тяжелый камень и поднимал его над головой. Глаза Гилада белели в темноте, и казалось, что он вот-вот разможжит кому-то череп. Но он вдруг сникал, лицо искажалось судорогой, как от удушья, он опускал камень, медленно наклонялся и мягко возвращал его на землю, как ставят стекло на стекло, чтобы не причинить боль ни камню, ни земле, ни тишине ночи. А ночи были в тех местах вправду безмолвны, и голоса, если скользили они в темноте, были похожи на черные тени, которые ходят в глубине под водой.

Жена Гилада, женщина белая-белая и напуганная, была из рода священников и торговцев. Звали ее Нехушта дочь Звулуна. В девичестве знала она мечты и мрак отчего дома. Очень любила маленькие вещи и мелкую живность — бабочек и булавки, сережки, росинки, яблоневою завязь, подушечки кошачьих лап, шерстистость молочного ягненка, отблески света в брызгах воды.

Гилад взял ее в жены потому, что учуял в ней

* Кохен (ивр.) — представитель священнического рода Ааронидов (потомков Аарона).

жажду, которую не утолить, не смягчить. Когда говорила Нехушта: вот камень, небо, долина — ее губы, казалось, звали: приди. Потребность прикоснуться к этой жажде, попробовать ее на ощупь мучила Гилада, как вдруг навязавшаяся мысль или чувство, пока не испытаешь их до конца.

Нехушта пошла за Гиладом потому, что видела его уныние и силу. Она хотела расколоть силу, пробить брешь в унынии, а потом отдаться им на милость.

Но ни ему, ни ей не суждено было познать другого, потому что есть тело и есть душа, а дойти до их сути, лежащей на дне, не суждено никому из живых. И вот не прошло и нескольких месяцев, а Нехушта стояла уже у окна и высматривала, не привидятся ли ей за безжизненной далью, окаймленные горами, равнины черной тучной земли, откуда она была взята в пустыню. По вечерам она спрашивала Гилада:

— Когда ты увезешь меня?

— Да ведь я увез тебя, — отвечал Гилад.

— Когда мы оседлаем коней и уедем отсюда?

— Все места едины.

— Но я не могу больше. Хватит.

— Кто может, — отвечал Гилад, — принеси мне вина и яблок, а сама ступай в комнату или сиди себе у окна, только не смотри в темноту такими глазами.

За многие годы, родив Ямина, Емузля и Азура, совсем заболела Нехушта. Что-то неотступно разъедало, размягчало ее изнутри. Кожа ее не знала загара и оставалась влажной и тонкой. Она ненавидела пустыню, которая днем дышала в окно ее комнаты, а по ночам шелестела: пропало, или пропала; ненавидела дикие песни пастухов и рев скота в загонах и в снах. О муже временами говорила как о покойнике, детей называла сиротами. А иногда и про себя говорила: "Ведь я давно умерла", и по три дня просиживала у окна без еды и питья. Место было

глухое, и из окна она видела днем только песок и горы, а ночью — звезды и темноту.

Трех сыновей родила Нехушта дочь Звулуна Гиладу Гилады — Ямина, Емуэля и Азура.

Не могла она вынести нрава Гилада, его приливов, бурь и отливов. Если жаловалась она и плакала, взрывался Гилад, грохотал его голос и звенели осколки разбитого кувшина. Если тихо сидела у окна, глядя кота или перебирая сережки и булавки, Гилад останавливался невдалеке и смотрел на нее, а потом хрипло смеялся и шел от него козлиный дух. Сжалившись, иногда говорил:

— Может, услышит Царь твою беду и пошлет за тобою кареты. Может статься, что сегодня или завтра придут факельщики, а за ними гонцы.

— Нет Царя и не будет гонцов. К чему им спешить. Нет ничего, — отвечала Нехушта.

Тогда сердце Гилада переполнялось состраданием и яростью. Он казнил себя за боль, что ей причинил, бил себя в грудь и проклинал себя и весь свой род. Потом из жалости вырастало отвращение — к ней, к себе, к жалости, и он надолго закрывался в своих покоях. По многу дней не видела его Нехушта, пока в одну из ночей, перед рассветом, не приходил Гилад и не обрушивался на нее. В любви напрягал губы как человек, силящийся разорвать руками железную цепь. Приливы, бури, отливы и бездна.

Если ночью падал на лицо Гилада свет факела, то было оно похоже на одну из масок, в которых пляшут перед костром жрецы язычников. Бывает, что достается человеку жизнь отверженного в чужой стране, куда он неизвестно как попал и откуда не может выбраться.

Зимой душа Гилада опустошалась, он лежал, уставившись в свод потолка, смотрел или не смотрел, но не видел. Тогда Нехушта неслышно приходила в его опочивальню и касалась его бледными пальцами, как домашний зверек, губы ее белели, как болезнь, и он отдавал ей свое тело — усталый кочевник

женщине из придорожного шатра. В комнате было тихо.

Но когда просыпалась сила в Гиладе и поднимала тело на бунт против него, Нехушта пряталась в комнатах, а Гилад неистовствовал в пристройке для наложниц, вымещая на них бурю кипучего яда. Всю ночь не спадал приглушенный дрожащий гул, доносившийся оттуда, и вскрики наложниц. На заре выскакивал Гилад из пристройки, поднимал с постели кохена, чтобы, распростершись у его ног, отплакать: нечист. Не успевали слезы высохнуть, а он уже отталкивал кохена тыльной стороной уродливой ладони так, что тот падал навзничь; Гилад седлал коня и скакал к гребням восточных гор.

Среди наложниц была одна — маленькая аммонитянка по имени Питда дочь Эйтама. Люди Гилада захватили ее в одном из набегов на аммонитянские города, что лежат за пустыней. Питда была невысока, узка в кости, но сбита добротнo. Глаза ее большей частью скрывались в тени ресниц. Но если зеленоватые искры пробивались сквозь ресницы и попадали на губы Гилада или ему на грудь, если останавливалась она против него, еле заметно поигрывая кончиками пальцев руки, упертой в бедро, — дрожь проходила по коже Гилада, и он клял аммонитянку на все лады. Рот его извергал проклятия, а огромные ладони сгребали руки наложницы. Захлебываясь, он кусал ее губы, и оба смеялись. Бедрa ее не останавливались ни на мгновение. Даже, когда задерживалась Питда у входа в конюшню, чтобы вдохнуть запах конского пота, бедра продолжали свой танец, направляемый и сдерживаемый изнутри. Огонь и лед горели зеленым пламенем в ее зрачках. Ходила Питда всегда босиком.

С течением дней стало известно, что Питда занимается колдовством. Из уст наложниц — соперниц Питды — все узнали, что по ночам она смешивает

разные зелья и при этом глаза ее светятся во тьме. Питда умела призывать умерших и говорить с ними, потому что с детских лет была посвящена в жрицы аммонитянского бога Милькома. В темноте из сада доносились шорохи, заглушаемые скрипом дверей внутри дома. Питда скрывалась в подвалах, зелье кипело и пенилось, и женская тень колыхалась на догнивающих седлах, бочках с вином, молотильных досках и железных цепях.

Когда дошло это до Гилада, он велел выдать ей мех с водой и услать в пустыню к мертвым, которых она призывает по ночам, потому что не место колдуньям в Гиладе. Но с первым светом он оседлал коня, догнал ее и вернул домой. Во дворе он осыпал проклятиями ее богов и бил ее по лицу тыльной стороной широкой уродливой ладони. Дыша ему в лицо, Питда честила в ответ и его, и женщину, которая его родила, и бога, которому он служит. Горячие зеленые искры металась в ее зрачках. Потом вдруг оба расхохотались и вошли в комнату. Дверь за ними закрылась. В стойлах ржали кони.

Не могла больше вынести Нехушта, жена Гилада, и стала она возмущать сыновей против наложницы-аммонитянки. Стоя у окна, в белом платье, спиной к сыновьям и лицом к пустыне, шептала она: "Ваша мать умерла, а вы спускаете с рук. Не спускайте".

Но Ямин и Емуэль боялись отца, и лишь младший Азур затаил зло против аммонитянки.

Целые дни Азур проводил на псарне. Он кормил и поил собак, учил их слушать команду и, если прикажут, вгрызаться в горло. В Мишпе, а так назывались владения Гилада, говорили про Азура: этот понимает собачий язык и умеет лаять и выть в темноте, как один из их породы. Был у Азура щенок волчьих кровей, с одной тарелки ели, из одной чашки пили, и острые зубы обоих блестели на солнце.

Однажды, в начале осени, когда Гилад уехал на дальнее поле, Азур натравил своих собак на аммонитянку. Стоя в тени дома, издал он гортанный вскрик-перелив, и псы, глодавшие кости на свалках, бросились на аммонитянку. Еле отбили Питду от собак, готовых разорвать ее на мелкие части.

К ночи вернулся Гилад и отдал младшего сына в руки раба с морщинистым недобрым лицом и лысой макушкой, велел увести Азура в пустыню, как поступают в Мицпе с убийцами. Вечером заголосили звери пустыни, и за изгородью стали вспыхивать желтым светом чьи-то глаза.

И на сей раз на исходе ночи поскакал Гилад вдогонку и вернул сына. Он бил его по лицу и осыпал проклятиями, как прежде наложницу-аммонитянку.

А потом заговорила Питда Азура: сорок дней мальчик лаял и выл по-собачьи и не мог вымолвить слова.

На Гилада нагнала Питда черную хандру за то, что пожалел сына. Была она беспощадна к щадящему. Жгучая тоска объяла Гилада, и, чтобы отогнать ее, нужно было очень много вина.

Когда родился Ифтах, Гилад не выходил из подвалов четыре дня и пять ночей. Он наполнял по два кубка, сводил их вместе, выпивал оба и наливал снова. На пятую ночь свалился Гилад. Во сне явился ему черный всадник на черном коне. Копье его горело черным огнем. Коня вела под уздцы женщина, не Питда и не Нехушта — другая. Всадник и конь покорно шли на поводу, а она вела их, не касаясь земли. Гилад запомнил свой сон, потому что верил, что сны посылаются нам из тех мест, откуда пришел человек и куда он вернется по смерти.

Когда Ифтах немного подрос и стал выходить из пристройки, он научился прятаться от отца. Он быстро постиг, что лучше ему схорониться за стогом, пока не пройдет по двору этот тяжелый, большой человек. Дожидаясь, когда стихнет грозящий недобрым шаг Гилада, мальчик жевал соломинку, посасывал палец и говорил себе шепотом: тихо, тихо.

Если, замечтавшись, не успевал укрыться, отец подхватывал его под мышки, зажимал между жутких ладоней и раскачивал на весу. При этом Гилад, раздувая щеки, мычал, и в нос Ифтах бил острый козлиный запах. Ребенок крепился, потом кричал от боли, а больше от страха, и тщетно пытался вонзиться зубами в плечо отца, чтобы высвободиться из его хватки.

III

Ифтах родился против пустыни. Земли Гилада были последними в наделе колена, за ними начиналась пустыня, а за нею лежал Аммон.

Были у Гилада отары овец, были поля и виноградники, края которых желтила пустыня. Жилые постройки были обнесены высокой стеной, сложенной из камня. Из того же черного камня вулканической породы был построен и дом. Но весною казалось, что люди, входящие в дом, исчезают в непролазных сплетениях лоз дикого винограда, который так разросся за многие годы, что листва его надежно скрывала весной черные камни.

На рассвете позванивали колокольцы скота, свирель пастуха рассыпала смутные грезы, вода чуть слышно журчала в каналах. Покой лежал на землях Гилада. Но сквозь рассветный покой кое-где пробивался страх прошедшей ночи и наступающего дня. В тени ветвистых деревьев прятались холодные сумерки.

Каждую ночь пастухи в темных накидках с капюшонами, низко надвинутыми на глаза, охраняли надел от кочевников, медведя и разбойника-аммонитянина. На крыше всю ночь горели факелы, между деревьями в темноте сада рыскали тощие собаки. То здесь, то там мелькала вдоль стены тень кохена, заклинавшего злых духов.

С детства Ифтах научился различать звуки ночи.

Он чувствовал их нутром — ветер, волков, ночных птиц, человека, который, пытаясь подобраться неслышно, маскирует свой шаг под шорохи ветра, завывание лис или всполохи птиц.

По ту сторону стены простирался другой мир, который силился стереть с земли жилье человека и с бесконечным терпением и хитростью денно и нощно подтачивал его устои, как воды реки по крупнице размывают свой берег. Все совершалось бесшумно и мягко — мягче пера, бесшумнее ветра, но неуклонно и явно для всех.

За Ифтахом ходили следом черные козы. Он научился водить их на выпас и мог часами следить за тем, как они с остервенением объедают редкий колючий кустарник или, рискуя сломать шею, перепрыгивают в высоте с камня на камень в поисках клочка травы, затерявшегося в расщелинах гор. С мальчиком водили дружбу костлявые собаки его брата Азура, собаки-волки, собаки-шакалы, в подобострастии которых всегда проглядывало неприрученное звериное нутро. Привечали Ифтах и птицы пустыни, кричавшие ему на ухо: чужак, чужак.

Утро начиналось далеким пересвистом невидимых птиц. Вечером, с наступлением сумерек, вступал сверчок, который был так взбудоражен своим неотложным сообщением, что никак не мог выговорить его до конца. Темнота была полна для Ифтах шорохов и шелестов, которые пронзало вдруг завывание лисы или шакала. А потом хохотала гиена.

Время от времени под покровом ночи во владения Гилада вторгались кочевники. Пастухи в темноте подстерегали врага, и он приходил неслышно, как дыхание. Посеяв смерть, беззвучно растворялся во мгле; встретив смерть, беззвучно умирал. Утром под оливковыми деревьями находили человека, лежащего на спине — рука обнимает рукоятку кин-

жала, вонзенного в грудь, глаза закатились. Из пастухов или из кочевников.

Разглядывая белки мертвеца, Ифтах размышлял: зачем мертвец поворачивает глаза внутрь? Может, там ему открываются иные миры?

Иногда Ифтах мечтал о своей смерти: сильные добрые руки поднимают его. Сладко и легко касается его теплый дождь, и маленькая девочка-пастушка говорит: посидим здесь, отдохнем, пока не кончится дождь, пока не стемнеет.

Летом в садах закипало цветение. Созревающий плод наливался и набухал. В яблочных жилах бродили кипучие соки. Виноградные лозы дрожали от биений нектара, который прорывался к гроздьям, расправлял их и грозил разорвать. Козлы бесновались от разбиравшей их страсти, бык ревел и метался в загоне. Пристройка наложниц и шалаши пастухов дышали по ночам глубоко и порывисто, и на рассвете мальчик слышал сквозь сон хрипы, будто поблизости испускал дух большой и тяжелый зверь.

Женщины были и в снах: сердце мальчика сжималось от прикосновений чего-то теплого, растопляющего — шелка не шелка, воды не воды, кожи не кожи, волос не волос, а может быть даже не прикосновений, а струения вод, запаха, цвета, но нет — не струения, не запаха и не цвета. Названия нежным силам, которые он мечтал изведать, Ифтах найти не умел. Он не любил слов, и поэтому был молчалив. В летние ночи он плыл вверх по течению, мягко рассекая встречную рябь.

Утром брал нож и терпеливо, упрямо пробовал все, что попадалось под руку: землю, кору, шерсть, настриженную с овец, камень, воду.

Переменчивый нрав отца не прорывался наружу у сына. Ифтах был тонок и крепок. Цвета, звуки, запахи и предметы влекли его куда больше, чем слова и люди. В двенадцать лет он умел держать топор,

овцу, дубинку, повод. В умелой хватке Ифтах чувствовалась сдерживаемая радость.

Время шло, и ненависть братьев Ямина, Емуэля и Азура сгущалась вокруг Ифтах. Они не могли примириться с тем, что он был сыном другой, что молчал, как казалось им, из гордыни, что был невозмутим и что за невозмутимостью угадывались какие-то затаенные настырные мысли, не терпящие соучастия. Изредка братья звали его поиграть, и он шел и играл с ними без слов. Если побеждал, не радовался и не торжествовал, а молчал, и молчание было для братьев еще обидней и ненавистней. Если брал верх один из них, всегда казалось, что Ифтах уступил победу по расчету, или по пренебрежению, или потому, что мысли его рассеялись в самом разгаре состязания.

Все трое — Ямин, Емуэль и Азур были широкоплечи и коренасты. По складу характера — шумливы, легко и громко смеялись. Ифтах же был тонок, и кожа его отливала желтизной. Даже когда смеялся, смех будто отгораживал его от других. И еще, бывало, устремит взгляд на кого-то, смотрит в упор и не отводит глаз, когда казалось, давно пора бы отвести. Иногда проскальзывал в его взоре желтый стремительный блеск, вспыхивал и гас, но успевал заставить других отступить, уступить.

То ли ворожба матери охраняла Ифтах, то ли боялись братья отца, но не осмеливались они исполнить злые помыслы, которые лелеяли втуне. Только издалека сквозь зубы цедили: погоди.

Однажды Питда сказала сыну: "Плачь, взывай к нашему богу Милькому. Он услышит тебя и оградит от их шипения и жала". Но в этом Ифтах не послушался матери. Он не взывал к Милькому, богу Аммона, а только кланялся Питде и величал ее: "Госпожа моя мать", будто в его глазах была она хозяйкой дома.

Питда видела свою смерть и хотела, чтобы сыну,

которому жить среди чужих, осталось от нее в наследство благословение бога Аммона. Поэтому она варила зелья и по ночам поила ими Ифтах. Ифтах не верил в зелья, но не отказывался их пить. Он любил их странный горьковатый запах, который знал с детства, потому что так пахли руки матери. Питда рассказывала сыну о том, как аммонитяне приносят на алтарь Милькома вино и шелка, как в отличие от черствого бога Гилада, который посылает мучения тем, кто предан ему, Мильком любит шумные сборища, веселье, вино, безудержные песни и музыку, доводящую до иступления. Про Элохим, Бога Израиля, говорила, что Он Бог-бобыль, что Он жесток и к тем, кто согрешил перед Ним, и к тем, кто верен Его заветам; что Он причиняет боль и тем и другим, чтобы показать им, насколько они ничтожны.

Летними ночами Ифтах любил разглядывать звезды над пустыней и землями Гилада. Для него каждая звезда была сама по себе, независима от других. Одни блуждали всю ночь от края до края черного небосвода, другие застывали, навечно прикованные к месту. В них не было ни радости, ни печали. Если одна вдруг падала, другие просто не замечали и продолжали безучастно излучать ровную синеватую прохладу. Упавшая звезда оставляла за собой шлейф холодного огня, но он гас и возвращалась темнота. Если стать босиком на землю, сжаться и замереть, можно было услышать безмолвие между набегающими волнами тишины.

Кохен, наставлявший братьев, обучал грамоте и Ифтаху, читая с ним Священные книги. Однажды мальчик спросил его, почему Бог выбрал Эвела, Ицхака, Якова, Иосефа и Эфраима, предпочтя их первородным — Каину, Ишмаэлю, Эсаву и Менашше*.

* При передаче библейских имен переводчик руководствовался целью их максимального приближения к языку первоисточника, то есть к ивриту. В случае, когда такая транскри-

Значит, от Бога пошло все зло, описанное в Книге, значит, к Нему взывает из земли кровь Эвела? Кохен был крепким, здоровым мужчиной, но всю жизнь он сгибался перед гневом своего господина Гилада и поэтому казался ниже и уже в плечах. В его глазах постоянно гнезвился страх. На вопрос Ифтах кохен ответил: "Пути Господни неисповедимы, и кто мы, чтобы спрашивать: почему?"

Ночью Бог пришел к Ифтаху — грузный и волосатый, бог-медведь с хищными челюстями. Он навалился на Ифтах, тяжело дыша, будто слабел от голода или исходил злобой. Не просыпаясь, Ифтах закричал. Люди часто кричали со сна в доме Гилада, потом крик замирал и воцарялось безмолвие.

В сны Ифтах проскальзывал летними ночами и Мильком. Сладкая истома разливалась теплом по жилам, когда кожи его касались шелковые пальцы, ласковые токи пронизывали тело. После таких снов Ифтах как потерянный слонялся по огромному двору из тени в тень, и даже желтые искры не зажигались в зрачках.

С четырнадцати лет Ифтаху стали являться знамения. Они обрушивались на него, когда мальчик выходил в поле или гнал скот по дну пересохшего русла. Ифтах чувствовал, что они посылаются ему и что он призван, однако, в чем смысл знамений и кто его призывает, понять не мог. Тогда он падал на колени, как учил его кохен, и бился лбом о камень, умоляя: сегодня, сейчас.

В мыслях Ифтах клал на разные чаши весов милость Милькома и милость Элохим. Первая казалась ему легковесной, и снискать ее ничего не стоило, как привязанность собаки — поиграй с ней, почеси

пция значительно расходится с искаженным вариантом, закрепившимся в русской традиции, дается соответствующее примечание: Эвел — Авель, Ицхак — Исаак, Ишмаэль — Измаил, Менашше — Манассия.

за ушами, и она виляет хвостом, готова лежать у ног и даже охранять твой сон, примостившись под боком на краю поля. Милости Элохим просить не осмеливался, потому что не знал как подступиться к ней. Бывало, вспенится горделивая мысль в сердце Ифтах: пусть я последыш, а кем были Эвел, Ицхак, Яаков? Но тотчас же гас огонек: что за сравнения, ведь я сын другой, как Ишмаэль, рожденный от египтянки?

В память Ифтах врезались слова, услышанные от Гилада: чтобы приблизиться к Богу, надо уподобиться бабочке, но не тогда, когда она подлетает к цветку, а тогда, когда летит на огонь. После этих слов Ифтах не упускал случая испытать силы и волю. Он пробовал себя на отвесных скалах, в песчаных смерчах, в глубоком колодце и в единоборстве с волком. На волка Ифтах вышел однажды ночью, подстерег его у входа в логово и голыми руками сломал волчий хребет. Из этого испытания он вынес только следы волчьих когтей и зубов. Ифтах хотел заслужить расположение Элохим, и осенью приучил себя, сцепив зубы, водить рукою в огне.

За одним из таких занятий Ифтах застиг кохен и тотчас же донес своему господину, что маленький аммонитянин держит руку в огне. Гилад выслушал кохена, и лицо его исказилось от раздражения. Глаза еще источали ярость, а рот дико расхохотался и обрушил потоки брани на голову кохена. Потом Гилад протянул руку, и кохен, как подкошенный, опрокинулся навзничь.

В тот же вечер Гилад распорядился разыскать сына наложницы и привести к нему. В комнате горел огонь, потому что ночной воздух в пустыне холоден, сух и колюч. На стенах висели седла, медные цепи, гладко отполированные щиты и дротики. Металл улавливал и сливал воедино мигающие отсветы, чтобы вернуть их в комнату светом тоскливым и тусклым.

Гилад уставил серые глаза на вошедшего и некоторое время не мог вспомнить, зачем понадобился ему сегодня сын аммонитянки и о чем лают собаки за окном. Когда молчание иссякло, спросил:

— Говорят, ты опускаешь руку в огонь, водишь ею и не кричишь.

— Это правда, — ответил Ифтах.

— Для чего? Ведь это трудно и больно.

— Я готовлюсь, господин мой отец.

— К чему?

— Не знаю, отец.

Отвечая, Ифтах не сводил глаз с широкой и уродливой ладони Гилады, распластавшейся на глиняной табличке. Его собственные руки, желтоватые и худые, отяжелели, будто вобрав в себя все чувства Ифтаха — благоговение и тягу. Может, представлял Ифтах, что отец откроет перед ним свое сердце, может ждал, что от него потребуют ответной любви. В тот момент, единственный раз в жизни, Ифтаху безотчетно захотелось стать женщиной. В глиняной переносной печи посреди комнаты пылал огонь. Огненные блики догорали в металлических доспехах, развешанных по стенам. Одна из искр мерцала в глазах Ифтаха.

Гилад тихо сказал:

— Что ж, посмотрим, как ты кладешь руку в огонь.

Ифтах хотел найти взгляд отца, но по лицу Гилады бежали тени, сменявшие отблеск языков пламени, которые извивались в печи.

— Прикажи, и я исполню твою волю, — ответил подросток.

— Опустит руку в огонь, — приказал Гилад.

— Если этим я завоюю любовь.

Ифтах протянул руку, и зубы его обнажились, будто в усмешке, но он не смеялся.

Тут не выдержал Гилад и вскричал:

— Хватит! Не смей! Не касайся огня!

Но Ифтах не послушал и не отвел глаз. Огонь ко-

снулся плоти, а за оградой простиралась пустыня, уходившая за гряды далеких холмов.

Потом Гилад сказал:

— Ты нечист, и порода твоя нечиста, но я не в силах ненавидеть тебя.

Он наклонил глиняный сосуд, разлил вино в две грубые кружки и сказал:

— Выпей со мной, сын.

Ни отец, ни сын не доверяли словам и не любили их, поэтому остаток ночи они провели в полном молчании. Когда стало светать, Гилад поднялся и изрек:

— Теперь, сын, иди. И запомни: отца не надо ни любить, ни ненавидеть. И вообще, глупо, что каждый или сын для отца, или отец для сына, или муж для жены. Ведь дали не сблизить. Ну, иди же, хватит пялиться на меня.

IV

После того дня случалось, что отец и сын седлали поутру коней, выезжали по дну пересохшего вадя и по склонам гор поднимались на открытую безводную равнину. По ней они ехали медленно, словно во сне. В расселинах упрямо и отчаянно пробивался колючий кустарник. Казалось, что это не растения, а волосяной покров, под которым скрывается чрево камней. Белый беспощадный свет, сливавший воздух с песком, истреблял все, что тянулось к нему из земли. Отъехав подальше, Гилад нарушал молчание, и на минуту их сводил разговор.

— Ну, Ифтах, куда бы ты хотел направить коней? — спрашивал он.

Прищурив глаза от слепящего света, Ифтах отвечал:

— Туда, где мне место. Туда, где мой дом.

Лицо Гилада прорезала трещина — он улыбался, трещина затягивалась, и он продолжал:

— Почему же нам не повернуть коней и не вернуться домой?

Улыбка словно переходила к Ифтаху. Голос его звучал рассеяно, как будто издалека.

— Это не мой дом.

— А где то место, которое ты называешь своим?

— Этого-то я еще не знаю, отец.

Разговор замирал, к каждому возвращалось молчание и вновь замыкало свой круг. Но сейчас круги совпадали, и получалось, что молчание у них теперь одно на двоих. Сердце Ифтаху переполняла любовь, и он мягко гладил гриву коня. Однажды, когда они въехали в черную базальтовую долину, он спросил отца:

— В чем смысл пустыни, о чем думают ее безжизненные пространства, почему ветер вдруг налетит и исчезнет, каким слухом слушать многоголосье, а каким — тишину?

— Ты сам по себе, — ответил Гилад, — и я сам по себе. Каждый сам по себе.

И, смягчившись, добавил:

— Вон ящерица. А вот ее уже нет.

И оба погрузились в молчание, ставшее общим.

На обратном пути Гилад Гилади иногда протягивал широкую уродливую ладонь и брал под уздцы коня Ифтаху. Некоторое время они скакали рядом, плечом к плечу. Потом он убирал руку, они въезжали в границы надела и спешили к конюшни. Ифтах оставался во дворе, а Гилад входил в дом.

Наступила зима. Питда по ночам часто приходила в комнату Ифтаху. Примостившись на краю постели, она говорила с ним шепотом, и, если смеялась, Ифтаху обдавало теплом. Мальчик крепился, но низкий смех матери брал верх, и он беззвучно смеялся вместе с ней. Питда пела сыну нежные аммонитянские песни о тихих заводях и бурных разливах, об оленях

в оливковых рощах, о душевных муках и милосердии.

Она брала его руку и медленно, так, что кончики пальцев едва касались кожи, проводила ею по тыльной стороне своей ладони, от запястья до плеча и выше к мягкому шелковистому затылку. Питда не оставляла надежды поручить сына жизнерадостному богу Милькому. Быстрым шепотом она пыталась поведать ему тайны, хранимые телом, рассказать, на что способна плоть, в чем ее слабость и сила. Слова ее звучали странно и непривычно. Она заклинала Ифтах бежать от пустыни туда, где тень и вода, пока пустыня не иссушила его кровь.

Ифтах никогда в жизни не видел моря, не знал, как оно пахнет, как шумит по ночам прибой, но мать называл: госпожа моя море.

Однажды после ухода Питды Ифтаху приснился сон. Раб с морщинистым лицом и лысой макушкой стриг овцу. Гора настриженной шерсти росла, а он все стриг, пока не показалась кожа, розовая и болезненная, изрешеченная тысячей жилок, а раб стриг и стриг. Потом он заколол овцу, но не перерезал ей горло, а вспорол живот, и черная кровь забила струей, пузырясь и обдавая Ифтах. В сон вошел Элохим, в медвежьих шкурах, огромный, краснолицый, пышущий жаром. На подстилке из виноградных лоз лежал уже Мильком в золоте и шелках. Ифтах видел, как Элохим прорывается сквозь шелка, словно баран, который пробивает себе путь, набрасываясь на овцу. Глаза его налиты кровью, а овца, одуревшая от ярости, обрушиваемой на нее, давно уже сметена и покорна.

Ифтах проснулся в поту. Его лихорадило. Он открыл глаза и увидел темноту. Закрыв и остался в крошечной тьме. Шепотом он прочитал молитвы, которым его учил кохен, но темнота не рассеивалась; попробовал песни, слышанные от матери, — вокруг по-прежнему было темно. Ифтах лежал, боясь пошевелиться, потому что ему представилось, что,

пока ему снился сон, отец, мать, кохен, наложницы, скот, пастухи, сводные братья, собаки и даже кочевники, жившие за стеной, собрались в одном месте, легли на землю и их взяла к себе смерть, а он остался один в пустыне, которой нет ни конца, ни края.

В одну из ночей на исходе той зимы умерла Питда. Утром наложницы говорили: "Умерла колдунья, блудница аммонитянская".

В день, когда ее хоронили за стеной кладбища, на горизонте появился серый песчаный смерч, который рос, но не приближался. Земля покрылась тонким слоем чего-то, напоминающего пепел. Воздух стал гуще от пыли и запаха надвигающейся бури. Кохен бросил горстку земли на могилу и произнес заклинание: "Встань и выйди от нас! Возвращайся туда, откуда ты родом, будь проклято это место, откуда в недобрый час взята была к нам. Не тревожь нас ни в темноте, ни во снах. Остерегись: если нарушишь наказ, то и в смерти настигнет тебя проклятие Бога и бесы нагонят на тебя страх преисподней. Прочь, нечистая, прочь! Дай нам покой! Амен".

Ифтах стоял рядом. Он водил камешком по губам, пробуя его твердость, и в душе умолял: "Ну, Элохим, ну, пожалуйста, протяни надо мной Свою руку, и я буду служить Тебе верой и правдой. Коснись меня, а потом можешь сделать самой тощей и самой паршивой овцой в Своем стаде. Только не оставляй одного".

Когда могилу засыпали, небо посерело и как бы осело на землю. В воздухе появились какие-то черные сгустки. Ветер гнал их к далеким восточным кряжам, чтобы расшибить, разможить о скалы или пробить ими брешь в горной цепи. Потом через все пронеслась белая молния, обогнавшая на мгновение низкий рокочущий гром. Дом, сложенный из темного вулканического камня, стоял среди бури,

как остов, как руины уже сгоревшего дома.

Вернувшись с кладбища, Ифтах решил пройти в дом. Трое братьев Ямин, Емуэль и Азур стояли в полумраке арки на входе, плотно вжавшись в серые стены. Пройдя под узкими сводами, Ифтах едва не задел их плечами. Ни один из братьев не шелохнулся. Только волчьи взгляды ощупали кожу Ифтах. Слов не было — ни у него для них, ни у них для него. Он прошел, а братья по-прежнему стояли молча, и даже шепот не проскользнул между ними. Весь день они ходили втроем по коридорам, ступая мягко и бесшумно, а ведь ноги их привыкли чувствовать под собой землю. На цыпочках ходили Ямин, Емуэль и Азур, как будто брат их Ифтах был тяжело-тяжело болен.

В сумерках поднялась с постели Нехушта и из своих покоев прошла к облюбованному окну. Но на этот раз она не стала смотреть на пустыню, а повернулась к окну спиной и подняла глаза на Ифтах. Рукой, белой, как боль, она провела по волосам и сказала:

— Теперь и этот детеныш осиротел.

А сыновья ответили:

— Да, ведь его мать умерла.

Но она сказала еще:

— Вы большие и темные, а он, один из вас, желтый и очень худой.

— Худой и желтый. Но не один из нас, — ответил старший Ямин. — Смотрите, день подходит к концу.

Той же ночью Нехушта, мать других, пришла проведать Ифтах. Она пришла босиком, как приходила Питда, только в руке ее была белая свеча, пламя которой дрожало и извивалось. Ифтах видел, как, слабо улыбаясь, Нехушта приблизилась к постели. Потом по лбу Ифтах скользнули пальцы, прохладные, как мох.

— Спи, сирота, закрой глаза и усни, — мягко прошептала Нехушта.

Ифтах не знал, что ответить, а она продолжала:

— Теперь ты мой, худой и одинокий детеныш. Закрой глаза и усни.

Кончиками пальцев она коснулась груди Ифтаха и убрала руку. Выходя из каморки под крышей, где он ночевал, Нехушта потушила светильник. Забрала она и свечу, оставив за собой кромешную тьму.

Всю ночь за окнами неистовствовала буря. Ветер, разгулявшийся не на шутку, проверял, выдержат ли стены его бешеные наскоки. Подпоры дома стояли от напряжения. Деревянные потолки скрипели на разные лады. Во дворе бесновались собаки. Ревел перепуганный скот.

Ифтах провел эту ночь, притаившись за дверью. Держа в зубах нож, он ожидал: пусть только придут. Ему чудилась мягкая поступь, не стихающая по ту сторону двери, шелест ткани, цепляющей о камень. Верхняя ступенька лестницы, ведущей под крышу, слегка поскрипывала и шуршала. Снаружи хохотала гиена, пронзительно кричали ночные птицы, и на исходе всех звуков звенел металл. Дом, сады и поля стояли окруженные стеной молчания и вражды.

С первыми лучами света Ифтах выскользнул из окна и, не выпуская ножа из зубов, спустился по виноградным лозам во двор, где в тот час не было еще ни души. Он запасся водой, взял хлеба и длинный кинжал, украдкой вывел коня и убежал в пустыню, спасаясь от братьев Ямина, Емуэля и Азура.

Господин и повелитель, хозяин надела Гилад Гилади не пришел на могилу Питды, похороненной за стеной кладбища, ни после погребения, ни вечером, ни ночью.

Взошло солнце. Буря утихла. Ненасытные поры пустыни, вобравшие за ночь лавины воды, закрылись, и пески как ни в чем ни бывало излучали свой обычный нестерпимо сверкающий зной. Бескрайняя белизна не знала ни компромиссов, ни милосердия.

Только в трещинах и лунках камней стояли еще кое-где мелкие лужицы, и, чтобы ослепить их, солнце вонзило в каждую по лучу. В какой-то момент у Ифтах мелькнула мысль, что, может быть, на дне этих выемок прячутся осколки молний, которые кружились ночью на небе. Все эти картины Ифтах видел раньше во сне. И все звало его: приди.

Уже несколько часов конь уносил его все дальше и дальше от отчего дома, и вдруг сердце Ифтах прояснилось и подсказало: в Аммон. Сейчас он найдет пристанище в Аммоне, но пробьет час, и он вернется с полчищами аммонитян и выжжет ненавистную землю. А когда займется огонь и примется пожирать все вокруг, спешится Ифтах Аммони, войдет в поля и вынесет на руках полумертвого старца. Он уложит его на землю, запорошенную пеплом, и склонится над ним, чтобы смочить его губы и перевязать раны. Когда Гилад потеряет все: жену, надел, сыновей, что останется ему, кроме последнего сына, который вынес его из огня?

И тогда наконец они смогут выйти вдвоем в поисках моря.

Ночью того же дня писец в доме Гилада при свете глиняного светильника записал в свою книгу: "Не жить Ифтаху в доме отца, потому что он рожден от другой". И еще: "Тьма и ярость порождают ярость и тьму. Злосластно свершившееся. Злосластен бегущий, злосластны те, кто остались. Злосчастливым будет конец. Да простит Господь раба Своего".

V

Долго прожил Ифтах среди аммонитян в городе Авел-Крамим. Их наречие, законы и песни он знал с детства, потому что его мать была аммонитянкой, которую захватили люди Гилада в одном из набегов на аммонитянские города.

В Авел-Крамим он отыскивал старейшин рода Пит-

ды и всех ее братьев. Люди знатные и почтенные, они приняли Ифтах и ввели его в замки и храмы. Князя Аммона уважали Ифтах, потому что голос его звучал холодно и властно, потому что в зрачках его зажигалась желтая искра и потому что Ифтах был скуп на слова.

Про него говорили:

— Этот рожден быть господином.

Говорили:

— Ведь правда, кажется, что покой его невозмутим?

И еще говорили:

— Кто знает?

В стрельбе из лука, на веселой пирушке людям казалось, что Ифтах медлителен, нерасторопен или устал. Но обманчив был его вид, как безобидность ножа в складках шелковой ткани. Была в нем сила приказать: встань и иди, и люди, видевшие его впервые, вставали и шли, а Ифтах еще звука не произнес, только губы сложились в приказ. Даже когда обращался к старейшему из старейшин города Авел-Крамим, мог сказать: "Говори. Я готов тебя слушать" или "Не надо. Потом", и что-то внутри заставляло вельможу ответить:

— Пусть будет по-твоему, мой господин.

Многие женщины Авел-Крамим искали любви Ифтах. Как отец его Гилад, Ифтах был наделен силой, идущей от уныния, и силой, идущей от силы. Женщины тянулись к нему, потому что хотели расколоть силу, пробить брешь в унынии, а потом отдать им на милость. Ночами на шелковом ложе они шептали ему на ухо: чужой, чужой. Когда тела соприкасались, коротко вскрикивали. Не нарушая безмолвия и течения своих далеких мыслей, Ифтах заставлял их взмывать до кипучих стремительных созвучий, изнывать на одной томительной ноте, наливаясь теплом, как почка, грозящая лопнуть от распирающих соков, и медленно еженощно плыть вверх по течению до изнеможения всех жизненных сил.

В те дни правил в земле аммонитян Гатаэль, царь-юноша, царь-подросток. Когда предстал перед ним Ифтах, царь стал разглядывать его, как слабый больной ребенок, увидевший возницу самой быстрой колесницы в стране. Потом попросил: пусть чужестранец расскажет ему какую-нибудь сказку, чтоб усладить царский сон.

Вечерами Ифтах проходил в покои царя, чтобы поведать о том, как безоружными ходят на волка, как враждуют между собой пастухи и кочевники, как белеют в пустыне иссохшие кости, как беспокойно ночное дыхание пустыни в часы полуночной вахты. Иногда царь-подросток просил: еще, расскажи мне еще; иногда умолял: не уходи, Ифтах, посиди со мной, пока сон не укроет меня от темноты; иногда заходилась тоненьким смехом и не мог остановиться до тех пор, пока Ифтах не клал руку ему на плечо и не говорил:

— Хватит смеяться, Гатаэль.

Тогда царь переставал смеяться, смотрел на Ифтах скорбными голубыми глазами и просил: еще, расскажи мне еще.

С течением времени царь Гатаэль приблизил Ифтах и всегда с опаской следил за тем, чтобы в зрачках чужестранца не зажигались желтые искры. Придворные Гатаэля роптали: раб, пришедший в Авел-Крамим из пустыни, опутывает сердце царя, а мы бездействуем и молчим.

Гатаэль проводил дни за чтением летописей. В мечтах он видел себя одним из тех грозных царей, которые наводили страх на многие народы. Но царь Аммона слишком любил слова: Гатаэль больше думал о том, что запишут о его делах летописцы, чем о том, как довести задуманное до конца. Поэтому его вечно одолевали сомнения даже в вопросах незначительных и простых. Когда ему приходилось выбирать себе лошадь, распорядиться о строительстве башни на углу городской стены или отдавать предпочтение какому-то образу действий, царь всю ночь не нахо-

дил себе места, потому что в каждом решении он видел всегда две стороны.

Если, походя, Ифтах намекал, какой поступок хорош, а какой несет в себе вред, сердце Гатаэля затопляла благодарность и теплота. Он хотел бы высказать Ифтаху хоть немного из многого, но слова не давались ему, как бывает с теми, кто слишком заботится о словах. Он говорил:

— Поскачем вместе в Арозр или Раббат-Аммон. Посмотрим, созрел ли инжир.

А потом:

— Нет, лучше не ехать — расположение звезд не предвещает сегодня добра.

И еще:

— Всю ночь у меня болели ухо и колено. Сейчас — зуб и живот. Расскажи мне еще о том мальчике, который знает собачий язык. Не уходи.

Все сходились на том, что царь Гатаэль влюблен. Это смущало и его самого, но он не мог не топтать ногой от досады и нетерпения, если Ифтах не приходил в какое-то утро. Во дворце повеяло подспудным злым холодком. Между собой говорили:

— Царская блажь не сулит нам добра.

Город Авел-Крамим был большим и шумным. Вина вспенивались и лились в пиалы; женщины были благоуханны, их бедра округлы и тяжелы; рабы были услужливы и расторопны; наложницы доступны; кони резвы. Кмош и Мильком рассыпали щедроты над городом. Каждый вечер трубы давали сигнал к веселью. Всю ночь не смолкала музыка, продолжались игрища и пиры. Факелы на площадях горели до самого утра, когда из городских ворот начинали выходить караваны.

Ифтах не избегал соблазнов Авел-Крамим. Он перевидел и перепробовал все, но всего словно касался кончиками пальцев, потому что мыслями был далеко и в душе говорил: в иные игры будут играть предо мной аммонитяне. Три, а то и четыре женщи-

ны услаждали его по ночам. Ифтах любил буйные ласки. Любил овладевать ими одна за другой, любил наблюдать, как они доводят до исступления друг друга, и он между ними — хлыст, разжигающий страсть. Иногда, когда шквал убывал, женщины пели ему аммонитянские песни о тихих заводах и бурных разливах, об оленях в оливковых рощах, о муках и милосердии. Память разъедала сердце, хотелось детства, и случайные женщины были ему в тот момент матерью, морем. С первым светом Ифтах говорил: "Хватит. Идите", а сам подходил к окну посмотреть, как бледнеют горы, как загорается горизонт и как в конце концов появляется солнце.

Наступило лето, миновало лето. Осенние ветры принялись ошипывать кроны деревьев. Старые кони вставали на дыбы и пронзительно ржали. Ифтах сидел у окна в городе Авел-Крамим и вспоминал дом из черного камня на краю пустыни. Ему хотелось оказаться сейчас в конюшне вместе с братьями Ямином, Емуэлем и Азуром, вместе с кохеном, который читал бы им Священные книги; чтобы в каналах журчала вода, сады окутала влажная дымка, а в винограднике по-осеннему пахли опавшие листья. Стрела рассекала ткани тела и проникала все глубже.

Он встал — лицом к Авел-Крамим, спиной к комнате, где на шелковом ложе спала одна из женщин, пришедших к нему в эту ночь. Длинные волосы спадали ей на лицо, дыхание было спокойным и ровным. Ифтах обернулся и поглядел на нее с удивлением, потому что не мог вспомнить, кто эта женщина, был ли он с ней или ему еще предстоит, и, если предстоит, то зачем и откуда возьмется желание.

Ифтах присел на кровати и запел спящей женщине песни матери, аммонитянки Питды. Голос Ифтах был груб, и плавные напевы звучали тревожно и заунывно. Он погладил девушку по щеке, но и тогда она не проснулась. Ифтах вернулся к окну. Серые облака, толкаясь и суетясь, уносились на восток,

будто бы там, за горизонтом, решается в эти минуты чья-то судьба, и нужно вставать и идти, чтобы не опоздать. Но Ифтах не знал, куда и когда надо идти и кто зовет его на восток. Он понимал лишь одно: только не здесь.

Брат мой Азур не Эвел, — думал Ифтах, — и я не Каин. Бог ехидн, живущий в пустыне, не прячь Свой лик от меня. Позови меня, позови; призови к Себе и меня. Если я недостоин стать избранным сыном, сделай меня Своим наемным убийцей. В полночь я буду являться с занесенным мечом и поражать неугодных Тебе, а Ты, если угодно, отворотись, сделай вид, что Ты скрыт и далек от меня, как свет ненаступившего дня, что нет между нами и тени союза. Ты Бог ястребов и лисиц, и я люблю Тебя за Твой гнев. Я не прошу Твоих милостей и щедрот, подари мне от ярости Твоей, от одиночества и от страданий. Не озлобление ли и не печаль были знамением мне, что я создан по образу Твоему, что я весь для Тебя и что Ты призовешь меня в одну из ночей, потому что я сотворен по образу ненависти Твоей, Бог волков, снующих ночами в пустыне? Ты утомлен и измучен, Ты сжигаешь тех, кого приближаешь к Себе, потому что сказано о Тебе: Ты Бог-ревнитель. А я говорю: окаянна любовь Твоя, как окаянна любовь, которая приковала меня к Тебе. Мне известны тайны Твои, ибо мы заодно. Ты призрел Эвела и принял его дары, но сердцу Твоему был близок Каин, и Каина Ты возлюбил. Над ним, а не над праведным братом его, Ты простер Свою гневную милость. Каина, а не Эвела, послал Ты скитаться по этой недоброй земле. На него возложил Ты печать, чтобы ходил он по миру, утверждая Твой образ перед людьми и вершинами гор. Ты Бог Каина, Бог Ифтах сына Питды. Каин — свидетель, и я покажу, в чем Твой подлинный образ, Бог лесных гроз; Бог огня, который съедает зерно на току; Бог лая собак, беснующихся по ночам. Я знаю Тебя, ибо Ты во мне. Мать моя была аммонитянкой, и я любил свою мать. Из

глубин тянулась она к отцу, а он из глубин надрылся, взывая к Тебе. Бог, дай мне знак.

Город Авел-Крамим лежал на перепутье караванных путей. С наступлением сумерек в городские ворота вступали караваны, держащие путь из далеких земель. Они доставляли в Авел-Крамим дары земли Египетской, благовония, ароматические масла и медь из Месопотамии, стекло из Сидона и Тира, дичь с юга из страны Эдом, из Иудеи виноград и оливки, вина из Арам-Нахараим, шелк из Арам-Цовы, голубоглазых мальчиков с голубых островов в океане, блудниц-хеттеянок, браслеты и мирру. До темноты не прекращался поток, а ночью запирались тяжелые ворота, и город наполнялся факельным светом и исступлением. Отблески пламени разбивались о золотые купола и разлетались по сторонам кровавыми брызгами. Из храмов вырывалась на улицы музыка, берущая за душу.

Казалось, что Ифтах входит в самую пучину, но винная пена, водоворот женских ласк и увеселений царского двора доходили ему лишь до плеч. Страсти касались и лица Ифтахы, но лицо его было словно обожжено в огне. Ночью прекраснейшие из женщин Аммона ласкали тело Ифтахы, их губы скользили по его груди. Они впивали угрюмые силы Ифтахы и, как птицы, кружащие над головой, щебетали: чужой. Ифтах безмолвствовал, его глаза смотрели вовнутрь, потому что вокруг им не на что было глядеть.

С каждым днем все выше всходила ревность в Авел-Крамим. Князья Аммона ревновали жен, дочерей, ревновали и царя своего Гатаэля. Старейшины говорили на совете: Аммон подчинен Гатаэлю, царь же как женщина в руках пришельца из Гилада. Сей Ифтах не один из нас, он сам по себе.

Злая молва донесла эти слова до царя. Гатаэль и сам стыдился своей размягчающей душу любви к Ифтаху. Иногда ночью он представлял: завтра я

встану и прикажу убить этого желтого человека. Но приказа не отдавал, потому что, как всегда, видел и пользу и вред. Когда Гатаэль узнал, что старейшины уподобляют его одной из блудниц, распростертых у ног чужестранца, на глаза его навернулись слезы.

Всю жизнь Гатаэль мечтал стать великим завоевателем, как грозные цари, о которых он читал в летописях. Но воевать Гатаэль не умел: когда он выходил из покоев на солнечный свет, у него кружилась голова, от запаха конского пота сводило зубы. Поэтому в один из дней он призвал к себе Ифтах и объявил:

— Отбери себе воинов — пеших и конных, я дам тебе сколько захочешь колесниц и коней, возьми с собой заклинателей и жрецов и иди на Гилад. Завоюй мне землю, куда увезли твою мать, чтобы сделать наложницей. Если ты не пойдешь, я пойму, что правду сказали старейшины: ты не наш, ты нам чужой. Такова воля царя. А сейчас подай мне скорее воды.

В ту ночь Ифтаху снилась пустыня. Во сне он взбирался по отвесной скале посередине пустыни и в какой-то миг повис между небом и землей, потому что над ним был валун гладкий, как стекло из Сидона. Хотелось зажмуриться, так как вниз смотреть было страшно — под ногами разверзалась пропасть, со дна которой просвечивали белые зубы камней. За плечами, как плотоядный зверь, рычал ветер. Вдруг Ифтах почувствовал легкое прикосновение — женская рука погладила его по спине. Тело обмякло, ослабли пальцы, цепляющиеся за скалу. Захотелось уступить, распустить хватку и последовать туда, куда зовет его женщина. Из ущелья тянуло сыростью и пробивался ядовито-зеленый свет, но там с ним будет она, будет отдых, прохладный ручей и покой.

Проснувшись, Ифтах понял, что истекли его дни в этой стране и что пришла пора уходить. Город тя-

нулся к небу всеми своими пальмами, всеми башнями, увенчанными золотом куполов. Когда рассветное солнце тронуло купола, город зажегся червонным огнем. Ифтах не ждал, что сердце защежит. Он верил, что сможет встать и уйти, не бросив ни взора назад. Сейчас Ифтах готов был пойти на попятный. Авел-Крамим цеплялся острыми когтями, рвал одежду, не отпускал. Но царь Гатаэль уже слал гонцов торопить Ифтаху: когда ты устроишь войну, Ифтах, когда порадуешь царское сердце? День прошел, а войны еще нет, и нет ничего. Доколе ты будешь медлить, Ифтах? Не медли.

И Ифтах рассудил, что медлить нельзя. Он встал и убежал в пустыню. Но на этот раз Ифтах ушел не один — он взял с собой дочь, которую родила ему одна из женщин Авел-Крамим, искавших его любви.

Семь лет исполнилось Питде, когда посадил ее отец перед собой на коня и увез в пустыню из города Авел-Крамим. Аммонитянской и дочерью аммонитянки была маленькая Питда. Детство ее прошло среди наложниц, евнухов и атласных шелков, потому что десять лет провел Ифтах в Авел-Крамим.

Когда они выезжали из города через Навозные ворота*, смеялась Питда. Она любила ездить на лошади и думала, что ее покатают по солнечным безлюдным равнинам, а вечером привезут домой к маме и кошке. Но когда подкралась к ней ночь, первая ночь в пустыне, испугалась Питда. Она расплакалась, раскричалась, стала просить и ругать Ифтаху. Маленькие крепкие ножки Питды били по крупу коня, губы сердито и жалко кривились.

Питда не унималась до тех пор, пока ее не убаюкали ночные голоса пустыни. Утром Ифтах подарил ей дудочку, которую сделал из тростникового стебля. Девочка умела насвистывать мелодии Авел-Крамим, песни, которые пели по ночам на площадях жрицы любви. Знала она и песни матери Ифтаху Питды.

* Ворота, через которые из города вывозят мусор.

Она играла на дудочке, а Ифтаху слышалось журчание воды в каналах, орошавших сады в наделе Гилада. Сердце Ифтах сжималось, когда Питда просила его: папочка, папа. Он сдерживал поступь коня и весь день, всю дорогу рассказывал ей все что знал: о волке и безоружном подростке, о брате Азуре, который понимает собак. Чтобы отвлечь Питду от тягот пути, чтобы помочь ей забыть о жаре, Ифтах сказал в этот день столько слов, сколько не приходилось ни на один другой день его жизни — ни после, ни до.

Спустя некоторое время Питда перестала звать маму и проситься домой. Ифтах рассказал ей, что они едут к морю. На вопрос о том, что такое море, ответил:

— Это страна высоких круч, только кручи не из песка, а из воды.

Когда Питда спросила его: а что там, в море, ответил: наверно, покой. Тогда она захотела узнать, почему земля не глотает море, как любую другую воду, которая исчезает с нее в один миг. Ифтах ответить не смог и только сказал:

— Уже припекает. Прикрой голову, Питда.

Она спросила:

— Когда мы доедем до этого моря?

— Не знаю, — ответил Ифтах. — Я там не был. Смотри, Питда, вон ящерица. А вот ее уже нет.

Иногда она поднимала глаза, пристально глядела в лицо Ифтах, и зрачки ее светились усталым светом. Может, нездоровилось Питде, может, просто не могла прийти в себя от песков и от солнца. Ночью Ифтах брал ее к себе под бурнус, чтобы укрыть от укусов холодного ветра.

К тому времени, когда месяц стал убывать, Ифтах привез дочь в пещеру среди горных хребтов в земле, носящей название Тов. Перед пещерой в самые знойные дни не пересыхал источник, а вокруг стояли дубы,

дающие мягкую разлапистую тень. От источника уходил каменный желоб, и кочевники приводили сюда на водопой свой едва плетущийся скот. Придя, разбивали на склоне палатки из черных козьих шкур. Здесь Питда научилась собирать хворост и разводить костер у входа в пещеру. К вечеру Ифтах возвращался с охоты и коптил над огнем ногу антилопы-сайги или жарил в костре мясо черепахи.

Ночью щербатый месяц катился по остриям горных вершин, снижался и пробовал почву, будто выбирая место, с которого залить землю безмятежным матовым серебром. В лунном свете зубчатые гребни были похожи на челюсти зверя, которого мучает голод и жажда.

Каждое утро Питда ходила по воду к источнику, черпала ее из желоба и возвращалась будить Ифтаху. Она набирала полные пригоршни и брызгала на отца. Когда он вставал, Питда брала дудочку, а Ифтах присаживался и, затаив дыхание, слушал, пил ее игру, как вино.

Кочевники пустыни, населявшие землю Тов, слыли людьми угрюмыми и крутыми. Ифтаху они были сродни. Их костлявые женщины привечали Питду и были рады скрасить ей день, потому что в этих краях не рождались дети. Кочевники жили в седлах, а временами земля Тов наводнялась полками Аммона или ратниками Израиля, пришедшими сюда убивать. Обитали же здесь люди, забытые Богом: убийцы и жертвы, бегущие от убийц; злыдни, чью ненависть не вмещала обжитая земля, и изгои, по следам которых пущены своры собак; и прорицатели, и какие-то чудные, питавшиеся одними кореньями, чтобы не умножать боль в мире.

Над землей Тов простиралось небо — расплавленный металл. Сама же земля была словно медь, опаленная и растрескавшаяся. Но и в ночах была здесь своя сила, как в темной пенящейся браге. Тихая, милосердная прохлада опускалась на отверженных

людей, их измученный скот и на саму пустыню, сознающую свою безысходность.

В один из дней Ифтах с дочерью привели к старейшине кочевников. Старец был сморщен и костист, лицо его обтянуто пергаментом, и только линия скул сохраняла память о былой силе или коварстве.

В устье пересохшей реки стоял Ифтах перед старцем. Он молчал, ожидая, что скажет ему старейший из кочевников. Старик же, казалось, дремал на сером горбу верблюда — он тоже выжидал, желая услышать вначале слово пришельца. Так и застыли они друг против друга, упорно и терпеливо меряясь силой молчания. Со склонов гор за ними наблюдали костлявые женщины кочевников.

Старик распластался в седле, как ящерица под солнцем. Ифтах, будто окаменев, врос в землю перед верблюдом. У ног его копошилась Питда. Она рылась в песке, пытаясь найти, откуда выходят на свет муравьи. Тишина была неподвижной. Только тени — человек верхом на верблюде и другой — пеший, стоящий вблизи — медленно крались друг за другом, потому что солнце совершало свой неизменный путь на белом высоком небе. Молчание переполнило чашу, и нарушил его прокленный пустыней голос старейшины:

— Кто ты, пришелец?

— Сын Гилады Гилады, мой господин, — ответил Ифтах, — рожденный ему наложницей-аммонитянской.

— Что мне имя твое и имя отца. Я спрашиваю: кто ты, пришелец.

— Я пришелец, как ты сам изволил сказать, мой господин.

— Зачем же ты явился сюда? Кто послал тебя — Аммон или Израиль, чтобы ты ходил среди нас, а потом отдал в руки ищущих нашей крови?

— Нет мне доли в Израиле и нет удела в Аммоне.

— Так выходит, ты изуверился в жизни, пришелец. Глаза твои обращены внутрь как у людей, потерявших надежду. Кому ты служишь?

— Не Милькому.

— Кому ты служишь?

— Элохим, Богу волков, которые рыщут ночами в пустыне. По образу ненависти Его я создан.

— А девочка?

— Это Питда, моя дочь. Она с каждым днем становится все больше и больше похожа на пустыню.

— Я вижу, ты человек отчаянный и способный к войне. Ты будешь вместе с нами грабить и убивать, как все наши мужчины. Готовься, выходим, как только стемнеет.

— Я пришелец, мой господин, среди чужих прошли все мои годы.

VI

Ифтах прижился среди кочевников.

Вместе с ними он давал отпор нападавшим, вместе с ними ходил несколько раз за добычей и жизнями в обжитые земли, потому что кочевники ненавидели живущих оседло. Ночью они проникали сквозь изгороди и забирались внутрь — неслышно и мягко, как злые духи. Встретив смерть, умирали беззвучно; убив, беззвучно растворялись во мгле. Приходили с ножами и дротиками. Несли огонь. Утром только головни шипели и дымились на месте цветущих владений на краю Аммона или Израиля. Ифтах же все возвышался среди кочевников, потому что был наделен чертами вождя. Была в нем такая сила, что, не повышая голоса, не напрягая мышц, он мог навязать свою волю, перешибив и подмяв волю других. В те дни, как всегда, говорил он немного, потому что слов не любил и не доверял им.

В одну из ночей нагрянули люди Ифтаха в надел

Гилада Гилади на краю земли Гилад на границе с пустыней.

Долго скользили тени по темным тропинкам среди фруктовых садов и зарослей винограда, стекаясь к дому, сложенному из обожженного вулканического камня. Но Ифтах не позволил сжечь дом со всеми его обитателями, потому что сквозь ненависть пробила вдруг тихая грусть, и он вспомнил слова, услышанные от отца в те далекие ночи, в те далекие дни: "Ты нечист, и порода твоя нечиста. Ты сам по себе, и я сам по себе. Каждый сам по себе. Вон ящерица, а вот ее уже нет". Ифтах стал на четвереньки и напился воды из канала. Поднявшись, он свистнул полуночной птицей, и люди, пришедшие с ним, собрались в условленном месте и один за другим скрылись в пустыню. Горизонт за их спинами не полыхал.

Полюбилась кочевникам и Питда. Была она хороша неяркой пепельной красотой, двигалась легко, почти невесомо, как во сне, словно вся она из хрупких материй, а земля под ногами и предметы вокруг только и ждут одного ее неуклюжего жеста, чтобы тут же разлететься на мелкие части. Женщины, тянувшие лямку от зари до зари, отдавали Питде весь запас нерастраченных материнских ласк, потому что в земле Тов не рождались дети. Питда не расставалась с дудочкой, которую вырезал ей Ифтах. Если вокруг никого не было, она играла каменистым склонам и застывшим на них валунам. Когда Ифтах слышал издалека дудочку Питды, ему казалось, что он различает в ее переливах шелест ветра и журчание воды в тенистых садах на землях Гилада. Питда видела сны, бывало, грезилла она наяву, и сердце Ифтахавало помочь, защитить, когда она пересказывала ему свои сны или вдруг без причины говорила: папа, мой папа.

Ифтах любил дочь безудержно, неукротимо. Глядя ее по волосам или обнимая за плечи, он старался не

сделать неловкого жеста, потому что помнил себя самого, зажатого между ладоней Гилада. Он говорил:

— Я ведь не делаю тебе больно, Питда. Дай мне руку.

А девочка отвечала:

— Но ты так смотришь на меня, что я не могу не смеяться.

Ифтах любил дочь безудержно, неукротимо. При мысли о том, что чужой мужчина придет когда-нибудь за Питдой, кровь закипала в жилах Ифтах. Низкорослый, а то и мясистый, он облапит ее волосатыми руками, обдаст запахом пота и лука, будет слюнявить и кусать ее губы, запустит змеиные пальцы в святая святых ее девичьих тайн. Ифтах весь набычивался. Глядя на него, Питда заливалась безудержным смехом, а он прикладывал к пылающему лбу прохладный клинок кинжала и бормотал: "Играй, Питда, играй". Потом, как человек, теряющий зрение, он вслушивался в ее игру до тех пор, пока гнев утихал, и только в горле, как привкус пепла, оставалась сухая бесплодная горечь. Иногда от избытка любви Ифтах мычал, раздувая щеки, как мычал в свое время Гилад; иногда жалел, что не умеет варить по ночам чудотворные зелья и не знает слов, которые нужно сказать, чтобы оградить дочь от всякого зла.

Так росла Питда под настороженным взором Ифтах, под взорами кочевников, населявших пустыню. Когда хворост был собран и скот напоен, она спускалась к руслу реки и из гальки строила башни, крепостные стены, ворота и замки. Потом, в сердцах, вдруг все разрушала, а разрушив, смеялась. Когда на колючих кустах появлялись цветы, плела венки. Что бы ни делала Питда, казалось, что она смотрит нескончаемый сон — губы слегка округлены, рот приоткрыт. Иногда она находила белую отполированную кость, брала ее загорелыми руками, подносила к лицу, пела ей, обвевала дыханием, прикладывала к волосам. Питда умела мастерить фигурки из веточек: конь

на скаку, лежащая овца, черный сгорбленный старик, опирающийся на посох. Многие из того, над чем не принято смеяться, вызывало смех у дочери Ифтах. Если одна из женщин навьючивала на верблюда свои пожитки, а он пугался, шарахался, и тюки валились на землю, Питда смеялась до слез. Увидев мужчину, который, наклонив голову, неподвижно стоит к ней спиной, будто погруженный в раздумье, и мочится между камней, Питда заходилась смехом и не могла остановиться, даже если он злился и выговаривал ей.

Если кто-либо из кочевников исподтишка поглядывал на нее — глаза слегка выпучены, рот полуоткрыт, кончик языка зажат между зубов — Питду смешил его вид, и она хохотала. Если Ифтах перехватывал взгляд и глаза его начинали высекал холодную ярость, Питда переводила взор с одного на другого, словно протягивая невидимую нить, и смеялась все пуще. Она не унималась даже тогда, когда Ифтах кричал ей: "Хватит. Довольно". А иногда кончалось тем, что она заражала отца и он тоже не мог сдержать нахлынувший смех. Те, кто помоложе, считали: если Питда смеется, значит в душе ее радость. Но жены кочевников видели: это не радость, а что-то иное, что не сулит ей добра. Они научили ее пряхсть, готовить пищу, доить коз и умирять ошалевшего козла. Все у Питды получалось легко, как бы само собой, а мысли, казалось, были рассеяны.

Однажды она сказала отцу:

— Ночью ты воюешь и побеждаешь врагов, а днем ты спишь, и даже мухи, сидящие у тебя на лице, сильнее тебя, если ты спишь.

— Ведь все люди время от времени спят, — ответил Ифтах.

— А вот змея не спит никогда. Она и глаз не может закрыть, потому что у нее нет век.

— В книгах написано, что змеи самые хитрые из зверей.

— Грустно, наверное, быть самой хитрой. А еще

грустнее не спать, не закрывать глаз и никогда не видеть снов. Если бы змея и вправду была такой хитрой, она исхитрилась бы и придумала, как закрывать глаза.

— А ты?

— Я люблю смотреть, как ты спишь на земле после ночных ратных дел и мухи расхаживают у тебя по лицу. Я люблю тебя. И себя. И места, куда ты не ве- зешь меня и где заходит солнце по вечерам. Ты, на- верное, забыл про море, отец, а я его помню. А те- перь набрось на голову свой бурнус и помычи, что- бы мне стало смешно.

Во сне к Ифтаху приходили князья и вельможи просить руки Питды. Все они были остролицы и урод- ливы, и, как собак, их приходилось гнать палкой или камнями, потому что никому из них не увидеть Питды. Грузный и неуклюжий, вваливался в сны Ифтаху отец его Гилад. Питда ускользала от его широ- ких уродливых ладоней и пряталась за желоб, Гилад гнался за ней, и Ифтах, не просыпаясь, кричал. Набе- гали и молодые — Азур, Ямин, Гатаэль, Емуэль. Они кружили возле Питды, протягивали к ней рой пухлых и белых пальцев, пытаясь сорвать одежды. Она сме- ялась вместе с ними, а Ифтах видел все и кричал, потому что у них не было век. Они, не мигая, тара- щились на Питду, сужая свой круг, и Ифтах просы- пался от собственного хрипа, сжимая кинжал в дро- жащей руке.

”Ну, коснись же меня, Элохим. Доколе нам ждать, когда Ты выберешь час простереть надо мной Свою огненную десницу? Вот я пред Тобой на вершине горы, и в руке моей агнец для всесожжения, вот огонь и дрова, где же нож? Ночью и днем я повсюду ищу Твою тень. Если Ты над горой, пусть буду я прахом горящих вершин. Если Ты явишься в излу- чине месяца или в его отражении, упавшем под воду, я буду и там — в белых песках, в воде, омывающей дно. Если, исходя лаем, рвутся с цепи собаки, не

знак ли это того, что в гневе Ты даришь любовь? Пролей на меня Свою ярость, порази меня ею. Ты Бог-бобыль, и я одинок; не предпочти другого рабу Своему. Я Твой сын, и Тебе не обмануть меня миражами Своих кошмаров. Ведь Ты подобен рыси, которая еженощно мечется в мертвых ущельях, подстерегая добычу”.

С годами стал Ифтах вождем у кочевников. Говорил он мало, и голос его был тих. Чтобы расслышать ответ Ифтах, приходилось наклоняться и вслушиваться изо всех сил.

В те дни вступил царь Аммона на землю Израиля. Он захватил города, заполонил земли, людей же, населявших их, обратил в рабов. Бежавший бежал, а тот, кто остался, склонил голову перед царем Аммона. Гатаэль же не выходил из дворца, только слал депеши за депеши своим полководцам и слагал повесть о войнах царя Гатаэля.

В один из дней пришли в пустыню, в землю Тов, во владения Ифтах три брата — Ямин, Емуэль и Азур. Они бежали сюда от аммонитян потому, что имя Ифтах уже было известно в Израиле. Он и его люди не давали покоя аммонитянам: подстерегали отставших, нападали с тыла, грабили караваны, шныряли перед носом аммонитянских дозоров, как птицы, дразнящие медведя.

Ифтах не отвернулся от братьев, но и не раскрыл объятий. С годами будто дозрели старшие двое. Ямин стал еще кряжистей и тяжелее, но походил не на отца и не на мать, а на кохена в доме Гилада. Емуэль по-прежнему не мог согнать с губ слащавой и верткой усмешки, которая вместе со скверным подмигиванием, казалось, звала: пойдем ко мне, дружок, вывалиемся в блюде. Только младший из братьев Азур набрал торопливость свистящего лета стрелы, поспевающей к цели, и похож был больше на сводного брата — сына аммонитянки, чем на сыновей Нехушты, дочери Звулуна.

Когда они преклонили колени и распростерлись у ног вождя кочевников, Ифтах сказал:

— Встаньте, бежавшие от Аммона. Не падайте ниц передо мной. Я не Иосеф, и вы не сыны Яакова. Поднимитесь.

Первым, будто читая по писанному, заговорил старший Ямин:

— Господин, мы пришли к тебе, чтобы сказать: аммонитянская нечисть заплонила надел отца твоего. Наш отец стар и не в силах бороться. И вот мы, рабы твои, взываем к тебе: встань, Ифтах, и избавь от нее отчий дом и отчую землю, ибо ты один можешь одолеть аммонитянского змея, а другие не могут.

Братья увещевали Ифтаху, но он оставался безмолвен и только в конце отдал приказ принять их в стане. Изодня в день они теребили: доколе же будет медлить наш господин. Ифтах не давал ответа, но и не одергивал братьев. Про себя говорил: Элохим, дай мне знак.

Люди Ифтаху наводили страх на полки Аммона. По ночам Авел-Крамим мучили кошмары: виделся ему люди Ифтаху, идущие по пятам за караваном. Были они легконоги и хитры, потому что хитер был их господин и поступь его в ночи была легка, как пар или как ласка. К князьям Аммона посылал убийц Ифтах, нож бесшумно взлетал и бесшумно разил свою жертву. Дрожь пробирала солдат Гатаэля от шороха ветра, воя волков или всполохов птиц — уж не кочевники ли подражают во тьме птице ночной ветру ли, волку? За стены Раббат-Амона проникали люди Ифтаху, на площади Авел-Крамим и в его храмы; днем входили они с караванами в обличии простодушных торговцев, ночью сеяли страх, а утром уносило их ветром. И напрасно снаряжал им вдогонку полки Гатаэль — настигнешь ли ветер? В книге войн писал Гатаэль, царь Аммона:

— Не удел ли то малодушных — ужалить и отско-

чить? Пусть они явятся днем, пусть сойдутся со мной. Я разобью их и буду крушить до тех пор, пока не устану... а потом отдохну.

Но люди Ифтах не хотели являться засветло. Ежедневно всходил их господин на холм и стоял там один, отвернувшись к пустыне, словно ждал какого-то запаха или звука.

Тогда послал царь Аммона гонцов к Ифтаху, чтобы сказать:

— Ведь ты аммонитянин, Ифтах. Мы братья, к чему нам сражаться? Пожелай, и я дам тебе вторую из своих колесниц. Приходи, и ни один человек ни в Аммоне, ни в Израиле пальцем не шевельнет без твоей на то воли.

Ответ царю Гатаэлю передал Ифтах через своего оруженосца Азура:

— Не брат я тебе, Гатаэль, не от одного отца ведем мы свой род. Известно тебе: я чужой. Не на израильской стороне веду я войну, а на стороне Того, Кого вам знать не дано. Во имя Его я и тебя повергну мечом и врагов твоих не пощажу. Ведь чужим я прожил все годы.

VII

Ночью в палатке в земле Тов Питде приснился сон. Во сне она видела себя невестой в брачном наряде. Девушки играли на арфах и танцевали. На запястьях ее были браслеты.

Когда Питда рассказала свой сон отцу, Ифтах пришел в неистовство. Он тряс ее за плечи и сдавленным шепотом умолял: скажи, кто был жених. Он все допытывался, и руки его тяжело давили ей на плечи, когда Питда вдруг рассмеялась, как смеялась всегда — ни с того, ни с сего, без всякой причины. Взлютовав, Ифтах ударил ее по лицу тыльной стороной ладони и закричал:

- Кто был жених?
- У тебя ведь в глазах убийство, отец?
- Кто он, скажи мне, кто он?
- Я не видела лица, только его дыхание обжигало мне кожу. У тебя на губах пена, отец. Уйди от меня. Окунь голову в воду.
- Кто он?
- И не бей меня больше, отец, а то я засмеюсь во весь голос так, что услышат вокруг.
- Кто он?
- Да ведь ты знаешь, кто мой жених. Зачем же ты кричишь на меня и почему ты дрожишь?

Питда смеялась. Ифтах не мог прийти в себя. Зажмурившись, он беззвучно шевелил губами: да ведь я знаю, почему меня бросило в дрожь? Так и стояли они друг против друга, когда в землю Тов пришли старейшины Израиля, чтобы простереться у ног Ифтах.

Он открыл глаза и, оглядев пришедших, увидел среди них и Гилада. Тяжелый и широкоплечий, отец был устрашающ как прежде, только борода его поседела. Подобрал полы одежд, чтобы не трепать их в пыли, старейшины пали ниц перед вождем кочевников. Только Гилад остался стоять и не склонил головы перед сыном.

Радость закипела в Ифтахе, и ликование разбушевалось в жилах. Такой неистовой радости он не знал никогда — ни после, ни до. С трудом совладал с нею Ифтах и сказал:

— Встаньте, старейшины. Перед сыном блудницы вы преклонили колени.

Но они не захотели встать, не распрямили согнутых спин и только поглядывали друг на друга, не зная, как начинать. На исходе молчания сказал Гилад Гилад:

— Ты мой сын, который избавит Израиль от аммонитян.

Издаലെка смотрел Ифтах на их поспранную горды-

ню, как смотрят на рану. Потом в глазах его отразилась боль, но не боль преклоненных старейшин, а может и вовсе не боль, а будто бы мягкость, мягкость пепла недавних пожаров.

— Чужой я вам, старейшины Израиля. Негоже, чтобы вел вас на войны чужой, ибо нечистым станет все войско.

Услышав эти слова, встали старейшины и заговорили наперебой:

— Брат ты нам, Ифтах. Ты наш брат. Сегодня поставили мы отца твоего Гилада судьей над Израилем, ты же будешь начальником отцовского войска и сразишься за нас с Аммоном. Ты пойдешь впереди наших армий и будешь князем в Израиле. Ты — из всех своих братьев, ибо с детства ты умел воевать. До сих пор говорят пастухи у костра о подростке, разорвавшем руками волка, говорят и будут говорить.

— Ведь вы ненавидите меня, старейшины. Когда я сокрошу для вас аммонитян, вы будете травить меня, как травят взбунтовавшегося раба. И тот же отец закует меня в цепи, потому что он судья, а я чужой человек, кочевник и сын блудницы.

— Ты мой сын, Ифтах. Ты мой отпрыск, который проводил рукой по огню и не кричал, который голыми руками одолел волка. Если ты пойдешь сражаться за нас с Аммоном, я благословлю тебя, предпочтя всем твоим братьям, и сердце мое будет открыто для себя во все мои дни.

— Почему вы не отступите от меня, старейшины? И ты, судья Израиля, перестань взывать ко мне. Зачем вы, как дети, играете передо мной? Соберитесь с силами, сами смойте позор с ваших седин — вы, и ваши кохены, и ваши писцы. А меня оставьте. Не будет Ифтах гарцевать перед израильскими рядами, неся на себе к победе и власти этого старца.

Тогда заговорил Гилад Гилади, и губы его напрягались, будто руками он рвал железную цепь.

— Не будет отец твой судьей в Израиле. Ты воюй, ты и суди.

От этих слов онемели старейшины.

Голос Ифтахы был вкрадчив и тих, в зрачках полыхнули желтые искры.

— Если и вправду вы выбираете меня в судьи, вы ведь можете поклясться в этом именем Бога?

— Господь свидетель: ты избран судьей.

— Сын блудницы станет над вами вождем, — сказал Ифтах и захохотал так, что в стойлах вздрогнули кони.

И старейшины отозвались:

— Станет вождем.

— А теперь закройте в цепи этого старца. Так велит судья Израиля!

— Сын мой!

— И бросьте его в темницу. Такова моя воля.

На следующий день Ифтах осмотрел свое войско и назначил начальников тысяч и сотен. Старшим братьям Ямину и Емуэлю он велел объехать колена Израиля и передать: все, кто годен к войне, должны без промедления собраться к нему. Младшего — оруженосца Азура Гилади, Ифтах послал к царю Аммона, чтобы сказать:

— Уходи.

Еще приказал судья Израиля разбить посреди стана большой шатер, как для именитых гостей, освободить Гилада из темницы, поместить в этом шатре и дать ему вина и наложниц. Дочери своей сказал Ифтах:

— Если бросит старик кувшин с вином оземь, вели слугам поскорей дать ему новый. Если разобьет и этот, пусть принесут еще и еще, потому что ему бывает приятен возмущенный звон стеклянных сосудов, которые разлетаются вдребезги. Пусть бьет. Только ты не смей заходить в шатер. Хватит смеяться, Питда.

Не знал покоя Гатаэль, царь Аммона: люди Ифтах кромсали день за днем его войско, будто земля поглощала отставших, ушедших вперед и прикрывающих фланги. Пробовал посылать за ними вдогонку, но настигнешь ли ветер? В пределах Моава потешались над Гатаэлем, в Эдоме имя его стало насмешкой: медведь, который места себе не находит из-за назойливой мухи.

С Азуром передал Гатаэль:

— Оставь меня в покое, Ифтах. Зачем ты мне делаешь зло? Ведь ты аммонитянин, Ифтах, и я тебя очень любил.

Но Ифтах хорошо знал царя Гатаэля, который в мечтах видел себя одним из легендарных грозных царей, но не мог сдержать головокружения, когда издали доносился до него запах конского пота. Не спеша вел судья Израиля тяжбу с Аммоном о том, чья по правде эта земля, чьи праотцы первыми вступили в нее, что об этом записано в книгах, чье право и чей суд. Гонцы спешили в оба конца, пока ни прельстился царь Гатаэль утешительной мыслью, что перед ним война слов, и ни стал еще с большим усердием громоздить заслоны депеш.

Старейшины Израиля приходили в шатер Ифтах и именем Бога просили: иди. "Время течет, — говорили они, — аммонитянин гложет страну и, если ты медлишь, то, кто нас спасет?" Ифтах слушал их молча.

И еще говорили: "Обратись к эдомитянам и к аравитянам, в Египет и Дамаск. Самим нам не одолеть Аммон, потому что он могуществен и укреплен". И на это ничего не отвечал им Ифтах, только в душе повторял:

— Элохим, дай мне еще один знак, и в поле будет ждать Тебя падаль, до которой Ты так охоч, Бог волков, которые рыщут ночами в пустыне.

Однажды ночью Питда увидела сон: в темноте пришел к ней жених и тихо сказал: "Приди, возлюблен-

ная, ибо настал час". Наутро Ифтах выслушал дочь, не проронив ни звука, и лицо его помрачнело. На всем пути подстерегали его сны. И, как отец его Гилад, Ифтах верил, что сны присылаются нам из тех мест, откуда пришел человек и куда он вернется по смерти. В сердце забилося: сегодня, сейчас. Посмотрев на отца, Питда расхохоталась.

Через час затрубил шофар*. Все полки собрались на склоне, и солнце играло в стали мечей и щитов. Страх охватил старейшин: одним мановением бросит сейчас этот дикий кочевник весь Израиль на стены Аммона, а Аммон укреплен и могуч. Разобьется Израиль о камни и не встанет после падения. Попытались старейшины найти слова, которые смогут остановить Ифтаху, но судья не дослушал молений. Он вышел к армии, и рядом с ним у входа в шатер стояла Питда. Ифтах положил руку ей на плечо и, когда заговорил, в голосе его звучал голос матери, аммонитянки Питды:

— Элохим, если Ты предашь аммонитян в мои руки, то, кто бы ни вышел навстречу из ворот моего дома, когда я благополучно вернусь из Аммона, тот будет Господу, и вознесу его на сожжение.

— Он предаст их в твои руки, а вы, девушки, шейте мне брачный наряд, — сказала Питда.

Народ ответил воинственным кличем, кони заржали, Питда рассмеялась и смех ее не утихал.

Из земли Тов, где он скрывался многие годы, ринулся Ифтах Гилады на стены Аммона, смял их, смешал их с землей. Он пронесся над деревнями, опрокинул башни, храмы предал огню, расколол золотые купола, а наложниц и блудниц аммонитянских сделал добычей птиц, кружащих над полем.

К полуденной жаре поверг Ифтах Гатаэля и порази́л Аммон — от Ароэра до Минита двадцать городов

* Рог, в который трубили для созыва войска и для объявления о наступлении праздников.

и до Авел-Крамим. К ночи вовсе смирился Аммон, Гатаэль был убит, Ифтах отшумел и умолк.

VIII

Жизнь человека, как вода, ускользающая сквозь песок. Не станет человека, и будто не приходил он на свет и не убыли дни его, как сокращается тень, а угасшую тень не расправишь и не вернешь. Но по ночам приходят к нам сны, и из них мы узнаем, что на самом-то деле ничто не минует, не забывается и все, что было, то сохранилось, то есть.

В снах возвращаются домой мертвые. Дни, которые, казалось, промчались бесследно и давным-давно стерлись из сердца, предстают во всей полноте — ни черточки не утеряно, ни крупинцы. Запах влажной земли далеким осенним утром; дома, которые давно сожжены, а их пепел развеян по ветру; округлые бедра женщин, что умерли годы назад; лай на луну прапрадедов наших собак — все возвращается, дышит, живет.

Как во сне, стоял Ифтах Гилады на рубеже надела отца, где он родился, где впервые был призван и откуда бежал, спасаясь от братьев. Как прежде открывались перед Ифтахом высокие изгороди и сады; виноградные лозы все так же цеплялись за стены, обвивали их и почти скрывали вулканический черный камень, из которого сложен был дом; вода журчала в каналах, и у подножья деревьев пряталась сероватая сумеречная прохлада — ни черточки не было утеряно, ни крупинцы.

Как замороженный стоял Ифтах перед домом. Невидящим взором смотрел, как выходит ему навстречу с песней Питда. За ней идут девушки с тимпанами. Пастухи дуют в рожки. А вот и Гилад, угрюмый, широкий в кости. По тропинке спускаются братья Ямин, Емуэль и Азур, а в окне их мать Нехушта дочь Звулуна, женщина белая-белая, в белом

наряде, с улыбкой на бледных устах. Собаки лают, скот мычит. Это писец, это кохен, это раб с облысевшей макушкой. Все как во сне, ничто не забыто.

Девушки шествовали за ней в белых одеждах. Они били в тимпаны и пели: поверг и сразил. И народ ликовал, и факелов было не счесть.

Она шла навстречу отцу, словно скользя над тропинкой, словно ноги ее не хотели касаться земли, словно лань спускается на рассвете к воде. Было на ней лилейное платье невесты, тень ресниц скрывала глаза. Но, когда она подняла их и когда он услышал ее смех, то в зрачках Питды Ифтах увидел зеленое пламя, будто горел в них лед и огонь. А девушки пели: поверг, поверг и сразил; и бедра Питды не знали покоя, они продолжали свой танец, направляемый изнутри. Шла Питда, как всегда, босиком.

Как в полудреме стоял судья Израиля на рубеже надела отца. Лицо его было обветрено и обожжено; глаза обращены внутрь: будто он смертельно устал. Будто смотрит сон.

Толпа, не смолкавшая и дотоле, всколыхнулась, встретив раскатом носилки, на которых полусидел Гилад Гилады. По сторонам, придерживая их, шли Ямин, Емуэль и Азур. Солдаты грянули дважды: "Слава отцу". Все Мицпе тонуло в факельном свете и звоне тимпанов, которые от радости рвались из рук.

До чего хороша была Питда своей неяркой пепельной красотой, когда возлагала она венок победителя на голову Ифтах. Потом она мягко прикрыла руками глаза Ифтах и мягко сказала:

— Отец.

Как утес, сверкающий солнцем пустыни, принимает прохладную влагу, которая невеста откуда досталась ему, так стоял Ифтах Гилады, когда замерли на его веках пальцы дочери. И не хотелось ему просыпаться.

Был он устал, иссушен, и тело его не отмыто от

крови и гари. На мгновение прихлынула к сердцу тоска по городу, который сегодня он сжег. Как тянулся к небу Авел-Крамим всеми башнями в золоте куполов; как касалось этого золота предрассветное солнце; как умолял его слабый подросток — царь Аммона: не уходи, Ифтах, расскажи мне еще, я боюсь темноты; как звенели колокольчики на шеях верблюдов, когда с наступлением сумерек в городские ворота начинали входить караваны; женские губы скользили по телу и шептали: чужой; а огни по ночам, а музыка, песни... и как рассек кроваво-красный меч шею царя Гатаэля и как вышел, дымясь, из затылка, и как успел он сказать: до чего безобразна эта история; и как город горел; и как женщин в пылающих одеяниях сбрасывали с крыш; а запах горелого мяса, а крик... — Ифтах без движения стоял на рубеже надела отца, глаза его были закрыты.

Тут поднял руку Гилад, чтобы утихомирить поющих, играющих и веселящихся — пусть говорит судья. Все застыли, ожидая слова Ифтаха. Только огни дрожали в неслышном веянии ветра. Судья Израиля набрал воздух, чтоб обратиться к народу, и вдруг повалился на землю, воя, как волк, пораженный стрелой.

— Госпожа моя мать, — прошептали уста.

И был среди старейшин колена один, который подумал: "Морочит нас этот человек. Он не из нас".

IX

Два месяца попросила Питда, а он, будто забыв про все, сказал:

— Уходи, Питда, далеко-далеко и никогда не возвращайся ко мне.

Но девушка засмеялась:

— Набрось на голову свой бурнус и помычи, — отвечала она, — а мы посмотрим, и будет смешно.

И он, потеряв надежду, сказал:

— Вон на заборе ящерица, Питда. А вот ее уже нет.

Два месяца бродила Питда по горам, и подруги ее шли за ней. Пастухи уступали им путь. Если проходили они деревней, жители прятались по домам. Тихая белая вереница шла по ущельям, залитым светом луны. Что означает эта смертельная бледность, мертвое серебро на мертвых холмах? Хищные звери не трогали их. Оливковые деревья, искореженные годами, не смели царапать их кожу. Шаги их вплетались в шорохи земли, как шелест листьев, шуршащих от ветра. Как слушать многоголосье, а как — тишину? Муж и жена, отец, мать и сын, отец, мать и дочь, братья, зима и осень, весна и лето, вода и ветер — ведь дали не сблизить, и, если молчать, или кричать, или смеяться, все без разбора и различия уносится вверх и умножает безмолвие звезд и скорбь этих холмов.

До чего хороша была Питда своей неяркой пепельной красотой, когда в венке, какие носят невесты, шла она и смеялась, а кочевники из угрюмой земли Тов, завидев ее издалека, говорили: вот идет чужая и дочь чужого; никто из живых не может приблизиться к ней и остаться в живых. И бросали ей вслед: шеула*, потому что была она послана не навсегда, а на время, с возвратом.

Через два месяца вернулась Питда. На одной из вершин устроил жертвенник Ифтах, развел огонь, взял в руки нож. Долго рассказывали странники у костров, что в движениях обоих была превеликая радость: она — невеста на брачном ложе, он — юноша, простирающий руку, чтобы впервые коснуться любимой. Оба смеялись, как в ночи заливаются смехом хищные звери; оба молчали, и только Ифтах напомнил ей: море.

— Меня Ты выбрал, меня освятил из всех моих

*Шеула (ивр.) — данная или полученная взаймы.

братьев. И не предпочтешь Ты другого рабу Своему. Вот уж нож занесен, и не щажу я для Тебя свою единственную дочь. Теперь дай мне знак. Ведь испытываешь Ты раба Своего.

Потом между скал закричали ночные звери, и одиноко застыла пустыня, понурив вершины далеких холмов.

Х

Шесть лет был Ифтах Гилади судьей в Израиле. Руки его были по локоть в крови, когда подчас наущал он Гилад против Эфраима*, чтобы опустошить Израиль. Ведь говорил он в юные годы царю Гатаэлю: нет мне доли в Израиле и нет удела в Аммоне; и тебя я повергну мечом и врагов твоих не пощажу. Ведь чужим я прожил все годы.

После шести лет устал Ифтах и возвратился в пустыню. И не приближался к нему ни один человек, потому что какая-то жуть окружала его и не подпускала кочевников. Только сводный брат Ифтах Азур выходил к нему и оставлял в отдалении воду и хлеб. С Азуром приходили его костлявые собаки.

Год провел Ифтах в пещере в земле Тов. Год постигал голоса, которые доносились из ошетилившейся на ночь пустыни. Через год научился Ифтах подражать всем этим голосам и тогда решил про себя: довольно.

Писец в доме Гилада записал в свою книгу:

“После него был судьей Израиля Ивцан из Бет-Лехема**, и было у него тридцать сыновей и тридцать дочерей”.

* См. примечание на стр. 235. Эфраим — одно из колен Израиля.

** См. примечание на стр. 235. Ивцан — Есевон; Бет-Лехем — Вифлеем.

ЧУЖОЙ ОГОНЬ*

Ночь простерла крылья над обитателями вселенной. Природа прядет свою пряжу и поминутно вздыхает. У мироздания есть уши, но слух его сливается с услышанным. Лесные звери рыщут в поисках добычи, домашние стоят у яслей. Человек окончил труды. Вот отложил он дела, а любовь и грех уже готовят ему пир. Бог обещал сотворить землю и населить ее. И сошла плоть с плотью...

*М. И. Бердичевский.
"В недрах грома".*

I

Вначале старики шли молча.

Выходя из хорошо освещенного и протопленного клуба, они помогли друг другу надеть пальто. Иосеф Ярден упорно не раскрывал рта, а доктор Клайнбергер долго пытался прочистить горло, надсаживаясь в мокром, лающем кашле, и в конце концов чихнул. Речь выступавшего вызвала у обоих досаду. Пустые разговоры. Болтовня. К чему все это? Ни к чему.

На собраниях немногочисленной либеральной партии, к которой оба принадлежали уже десятки лет, на всем лежал отпечаток усталости и бессилия. Что могут дать эти собрания, когда вокруг все кипит, разбегается в разные стороны и увлекает страну в пу-

* Выражение, которое встречается в книге Левит 11:1, и означает "огонь, взятый не от жертвенника", "неудобная жертва"; в переносном смысле: "дурное, злое начало". (Прим. перев.)

чину сытого самодовольства? Кто услышит голос рассудка, благоразумия и умеренности на этом шабаше? Что при всей своей культуре и образованности могут сделать несколько десятков немолодых людей, которые понимают преимущества трезвой и здоровой политики, потому что повидали на своем веку результаты самых разных политических экстазов? Горстка просвещенных доброжелателей не в силах остановить разгул масс и их залихватских бесшабашных вожakov, которые под звон фанфар ведут народ на край пропасти.

Пройдя шагов тридцать, Иосеф Ярден остановился там, где узкий переулок, по которому они шли, сливается с одной из самых красивых и тихих улиц района Рехавия. Ни о чем не спрашивая, замедлил шаг и доктор Клайнбергер. Иосеф Ярден порылся в карманах, нашел и ценой больших усилий извлек сигарету. Доктор Клайнбергер поднес ему зажженную спичку. Ни один пока не произнес ни слова. На несколько секунд их руки — узкие, с тонкими пальцами прикрыли от ветра едва теплившийся огонек: осенние ветры в Иерусалиме порывисты, порой просто свирепы. Иосеф Ярден кивнул в знак благодарности и глубоко затянулся. Но через три шага сигарета погасла, потому что была плохо прикурена. Он с досадой бросил ее на тротуар и растоптал. Потом передумал, поднял потухший и раздавленный окурок и выбросил в урну, приделанную иерусалимским муниципалитетом к железному столбу на автобусной остановке.

— Коррупция, — произнес он.

— Помилуйте, — тут же откликнулся доктор Клайнбергер, — согласитесь, что ваше определение упрощает, пожалуй, даже вульгаризирует действительность, которая по определению же всегда намного сложнее.

— Коррупция и наглость, — упорно стоял на своем Иосеф Ярден.

— Кому, как не вам, уважаемый Иосеф, знать,

что любое упрощение в некотором смысле означает капитуляцию.

— Надоело, — сказал Иосеф Ярдэн и поправил кашне, защищающее горло от колкого холодного ветра, — надоело. Отныне я хочу называть вещи своими именами. Болезнь — болезнью, коррупцию — коррупцией.

Доктор Клайнбергер облизал губы, как всегда, потрескавшиеся к зиме, сузил глаза, словно припустил люки танка, и стал возражать.

— Коррупция — явление сложное, Иосеф. Если бы не было коррупции, бессмысленно было бы и понятие нравственности. Здесь существует некая цикличность, вечный круговорот. И это хорошо понимали наши мудрецы, говорившие о "дурном начале" и, после соответствующей разделительной паузы, позвольте упомянуть также отцов христианской церкви. На первый взгляд кажется, что коррупция и нравственность диаметрально противоположны. На самом же деле одно влечет за собой другое, служит почвой, дает рост. На это и остается уповать, допустив, что сейчас мы переживаем период упадка.

Резкий забористый ветер гулял по улицам Рехавии. Фонари отбрасывали неровный, желтоватый свет. Некоторые были разбиты хулиганами и слепо раскачивались на перекладинах. В разбитых фонарях гнездились ночные птицы.

Основатели Рехавии сажали деревья, разбивали сады, прокладывали аллеи, мечтая отвоевать у раскаленного иерусалимского камня уголок тени и затишья, где днем играл бы рояль, а вечером вступала скрипка или виолончель. Квартал утопает в сплетениях крон. Днем небольшие дома преспокойно дремлют на дне озера тени. Но по ночам в гуще деревьев оживают мохнатые темные создания, которые хлопают крыльями и резко, надрывно кричат. В них не попасть камнем. Как в фонари. Ка-

мень пролетает мимо и исчезает во тьме, а с крон нисходит в ответ лишь молчаливое презрение.

Но ведь и эти контрасты не так уж просты. На самом деле одно влечет за собой другое, и нет одного без другого и т. д. и т. п. Доктор Эльханан Клайнбергер — египтолог, он холост, его работы известны в узком кругу, главным образом, в той европейской стране, откуда он, спасаясь, бежал лет тридцать назад. По образу жизни и убеждениям Эльханан Клайнбергер — стоик. Иосеф Ярден — специалист по дешифровке древнееврейских рукописей. Он вдовец и собирается в ближайшее время женить старшего сына Яира на Дине Даненберг, дочери своей старой приятельницы. Что касается ночных птиц, то они действительно обитают в центре квартала, но первые лучи солнца загоняют их каждое утро в гнезда на скалах и в рощицах за пределами города.

Старики шли молча, потому что ни одному из них нечего было добавить к сказанному и услышанному. Они миновали канцелярию премьер-министра на углу Ибн-Гвириля и Керен каемет, прошли мимо здания Еврейской гимназии и приостановились на углу улицы Усышкина. Этот перекресток не защищен с запада, и через него на Рехавию набегают с каменистых пустошей волны холода. Здесь Иосеф Ярден достал еще одну сигарету, и доктор Клайнбергер вновь поднес ему огонь, на этот раз надежно, по-морскому прикрывая его от ветра.

— Ну что, через месяц будем гулять на свадьбе? — спросил он, слегка подтрунивая.

— Я сейчас к Лили Даненберг. Нужно составить список гостей, — ответил Иосеф Ярден. — Пригласим самых близких. Мать Яира всегда хотела, чтобы сыновья женились скромно, без помпы. Так и сделаем. Отпразднуем в семейном кругу. И вы, конечно. Что за вопрос — вы ведь для нас как член семьи.

Доктор Клайнбергер снял очки, подышал на них, протер платком и, не торопясь, вернул обратно.

— Разумеется, разумеется. Но как же госпожа Даненберг? Она ведь ни за что не согласится. Не тешьте себя иллюзиями. Она наверняка захочет, чтобы свадьба ее дочери стала тотальной демонстрацией сил, чтобы был приглашен весь Иерусалим, чтобы все были повержены и восхищены. И вы, конечно, уступите и, как миленький, пойдете на поводу.

— Не тут-то было, — ответил Иосеф Ярден. — Меня не так уж просто подбить на то, к чему у меня не лежит душа, тем более в этом случае, когда речь идет о воле моей покойной жены. Госпожа Даненберг — женщина чуткая, и, как говорится, ничто человеческое ей не чуждо.

Говоря о том, как нелегко навязать ему чужую волю, Иосеф Ярден стал машинально разминать сигарету, которая гнулась, расплющивалась и рассыпалась на глазах, но продолжала гореть.

— Вы ошибаетесь, — возразил Клайнбергер, — Даненберг не откажется от представления. Конечно, она женщина чуткая, — это вы удивительно точно подметили, — но и твердости ей не занимать. Кстати, между этими качествами тоже нет никакого противоречия. А вам, мой друг, я рекомендую — будьте готовы к препирательствам или даже к скандалу.

Общий знакомый, а может быть, просто похожий на него человек прошел по другой стороне улицы. Оба дотронулись до шляп, человек повторил их жест, но не остановился. Втянув голову, он яростно вышагивал против ветра и вскоре исчез в темноте. Потом промчался парень на мотоцикле, прогремывав на всю Рехавию.

— Безобразия, — возмутился Иосеф Ярден, — ведь этот гангстер специально снял глушитель, чтобы нарушить покой десяти тысяч человек. Вы спросите, зачем ему это. Да только затем, чтобы самоутвердиться. Чтобы доказать самому себе, что он вообще суще-

ствуется. Хулиганство придает ему вес в собственных глазах. Шутка ли, все услышат. Профессора. Президент, премьер-министр. Писатели, художники, девушки. Этому безумию нужно положить конец, пока еще не поздно. Силой.

Доктор Клайнбергер ответил не сразу. Он тщательно обдумал сентенцию, произнесенную Иосефом Ярденем, повернул ее и так и эдак, еще помолчал и наконец произнес:

— Во-первых, уже поздно.

— Отвергаю как форменное капитулянство. А во-вторых?

— Во-вторых? Да-да, есть и во-вторых. Простите меня за прямоту, но, вы преувеличиваете. Как всегда.

— Я преувеличиваю? — не выдержал Иосеф Ярден, сжав зубы от накопившейся злости. — Я не преувеличиваю. Я просто называю вещи своими именами. Всего-навсего. У меня, например, сигареты, у вас спички, и мы неразрывно связаны. Пожалуйста огоньку. Вот так. Спасибо. Вещи нужно называть своими именами.

— Но, помилуйте, многоуважаемый Иосеф, помилуйте, — протянул с деланным долготерпением ментора доктор Клайнбергер. — Кому как не вам знать, что у каждой вещи, как правило, бывает более чем одно имя. Здесь мы, наверное, разойдемся. Вам пора к сватье, а то опоздаете и получите выговор. Она, конечно, женщина чуткая, но ведь и твердости ей не занимать. Позвоните мне завтра вечером. Закончим недоигранную партию. Всего хорошего. Возьмите спички. Да. Мой скромный дар. Не за что.

Они разошлись. Снизу, со стороны Эмек ха-Мацлева доносилась веселая ребячья разноголосица. Там собрались, наверное, воспитанники молодежных движений. Темнота вносила в их игры будоражащее чувство опасности. Старые оливковые деревья служили укрытием.

Голоса и запахи с низины проникают в ухоженные кварталы Рехавии. Чем-то подспудным тянет от оливковых деревьев. Невидимые потоки достигают Рехавии и оседают на ее пустоцветах, посаженных для украшения улиц. Дело в ночных птицах. Они сознают ответственность и, преисполненные ею, хранят молчание, сберегая свой крик на случай настоящей опасности. Оливковым же деревьям суждено расти в вечном безмолвии.

II

Дом госпожи Лили Даненберг стоит в одном из тихих переулков между Рехавией и отпочковавшимся от нее, устремившимся вверх кварталом Кирьят Шмуэль. Мотоциклист, взбудораживший весь город, не нарушил покоя Лили Даненберг, потому что его, то есть покоя, не было у нее весь вечер. Она сновала по квартире, переставляла вещи, наводила порядок, а потом, передумав, возвращала все на прежнее место. Будто и впрямь собиралась остаться дома и после уборки сесть поудобнее в ожидании гостя. В половине десятого должен прийти Иосеф Ярден, чтобы вместе с ней составить список приглашенных на свадьбу. Но ведь это не к спеху, — сегоднешний визит, свадьба, список гостей. Ведь не горит. Между прочим, он явится точно, секунда в секунду. В этом нет ни малейшего сомнения, но дом будет пуст, двери закрыты, в окнах темно. Жизнь полна неожиданностей. Что за выражение будет у него на лице — удивленное, обиженное, чуть ли не потрясенное. А записка, которую он непременно напишет и оставит в двери. Есть люди, и среди них Иосеф, которые, пережив удивление, обиду, чуть ли не потрясение, становятся на какое-то время почти привлекательными. Так уж они устроены. Иосеф — человек на редкость добропорядочный. Он всегда

рассчитывает на хороший конец и испытывает неловкость от плохого.

Мысли, складывавшиеся по-немецки, не отражались на лице, которое оставалось холодным и безучастным. Лили Даненберг зажгла настольную лампу, села в кресло и занялась скруглением чересчур заострившихся ногтей. Без двух минут девять ногти приняли желаемую форму. Не вставая, она включила приемник. Отрывки из Библии, которые ежедневно читают перед девятичасовыми известиями, уже закончились, выпуск новостей еще не начался и оставшееся время заполняли какой-то сентиментальной, до противности знакомой мелодией, монотонно повторяемой четыре-пять раз. Лили покрутила ручку настройки, в один присест пронеслась по гортанно проурчавшему Ближнему Востоку, без задержки миновала Афины и поспела в Вену как раз, когда там передавали краткий выпуск новостей по-немецки. Потом начали исполнять Героическую симфонию Бетховена. Она выключила приемник и пошла на кухню варить себе кофе.

Ну, удивится он, ну, будет задет, мне-то какое дело? Какое мне дело до этого человека и его сына Яира? У некоторых чувств нет пока названия на иврите, язык не стал еще достаточно гибким. Если сказать это Иосефу или Клайнбергеру, они непременно накинутся на меня и затеют полемику о неповторимых особенностях иврита. Причем, можно представить себе, сколько будет самых малоприятных дигрессий*. Кстати, ведь и слова "дигрессия" нет на иврите. Кофе надо пить без сахара. Нет, нельзя ни крупинки. Горько? Конечно, горько, но стимулирует. Можно позволить себе печенье на десерт? Нет, давно решено, что я не ем мучного и, стало быть, никаких компромиссов. Уже четверть десятого.

* Искаженное в соответствии с традицией оформления на иврите иностранных слов немецкое "digression", обозначающее "отклонение от темы".

Надо успеть, пока он не пришел. Обогреватель. Свет. Ключ. До свидания, всего наилучшего.

Лили Даненберг разведена. Ей сорок шесть лет. Она свободно могла бы скостить семь-восемь лет, но это идет вразрез с ее моральными принципами, и поэтому она не скрывает своего возраста. Лили Даненберг держится прямо, она стройна и тонка. Ее волосы (Лили — натуральная блондинка) стали чуть ломкими, но по-прежнему складываются в плотную тяжелую прическу. Нос прямой, резко очерченный. В линии рта постоянное влекущее беспокойство. Глаза едкого синего цвета. Единственное неброское кольцо как бы подчеркивает задумчивое одиночество, заключенное в удлиненных линиях пальцев.

Дина не вернется из Тель-Авива до двенадцати. В кофейнике я оставила ей кофе на утро, в хлебнице есть свежий хлеб. Если девочка захочет в двенадцать ночи принять ванну, ей хватит горячей воды. Значит, все в порядке. А если все в порядке, то почему на душе все же беспокойно, как будто бы что-то осталось невыключенным или незапертым. Но ведь все выключено, все закрыто, и я отошла уже на два квартала от дома. Здесь я уже не попадусь на глаза Ярдену и не позволю ему все испортить.

Левантийские юноши на первый взгляд кажутся красавцами, все как на подбор. Но лишь немногие выдерживают испытание, если помотришь на них повнимательнее. Дух всегда сам изводит себя, изнутри подтачивает тело, корежит черты лица, как ливень, размывающий известняк. Поэтому, если в человеке что-то есть, это "что-то" написано, а порой и выжжено у него на лице, и сложением такой человек обычно не блещет. Левантийские же юноши не испили из горькой чаши, потому у них симметричные лица, крепкие, будто на изготовке тела. Как манекены в витринах мужских магазинов. Два-

дцать две минуты десятого. Птица, прокричавшая сейчас что-то пронзительное, но очень путаное и невнятное, по-немецки называется "ойле", а на иврите, кажется, "яншуф"* , впрочем, какая разница. Ровно через семь минут Иосеф позвонит в мою дверь. Его пунктуальность не подлежит сомнению. Точно в ту же секунду я нажму на кнопку звонка его собственной квартиры на улице Альфаси. Хватит, ойле, молчи, все эти доводы мне известны. И Яир откроет мне дверь.

III

Тот, кто происходит из разбитой семьи, продолжает начатое и, став взрослее, разбивает чужие семьи. Это не случайно, но и закономерности здесь вывести нельзя. Иосеф Ярден — вдовец. Лили Даненберг разведена. Ее муж умер то ли от тоски, то ли от болезни печени через три месяца после развода. Даже доктор Клайнбергер, египтолог и по убеждениям стоик, герой второстепенный, — старый холостяк. В каком-то смысле можно сказать, что он одинок. Остаются Яир Ярден и Дина Даненберг. Дина поехала в Тель-Авив оповестить теток о предстоящем радостном событии, кое-что купить, уладить кое-какие дела и не вернется до полуночи. Что же касается Яира, то он вместе с братом Ури, учеником Иерусалимской гимназии, сидит в уютной гостиной квартиры Ярден по улице Альфаси. Он дал себе слово посвятить сегодняшний вечер занятиям, подогнать все, что накопилось, а накопилось немало: три практических, реферат, стоящий как кость поперек горла, гора непрочитанных статей. Занятие политической экономией Яир считает важным и многообещающим, но слишком уж утомительным. Если бы он мог выбирать свободно, то пошел бы,

*Сова (ивр.).

наверное, на восточное отделение: Япония, Китай, загадочный Тибет. Или Латинская Америка — Рио, инки. Или "Черная Африка". Но что ожидает потом молодого специалиста? Перспектива построить иглу и жениться на гейше? К сожалению, именно политическая экономия обладает множеством практических применений, выходов и ответвлений. Почему-то не читается. Буквы и цифры прыгают перед глазами. Дина в Тель-Авиве. Может, там она немножко поостынет и забудет вчерашнюю дурацкую ссору и то, что я ей наговорил. С другой стороны, она и святого выведет из себя. Отец у тещи и не вернется раньше одиннадцати. Если бы был хоть малейший шанс, хоть какой-нибудь способ убедить Ури не ковырять все время в носу. Фу, гадость. В девять пятнадцать начнется радиовикторина "Мы ищем клад", которая поможет мне скоротать этот бездарный вечер. Послушаем передачу, потом доделаем третью практическую и на сегодня хватит.

Братья включили приемник.

Ночные птицы не откладывают своих проделок до четверти десятого. Еще не сгустились вечерние сумерки, а совы и другие птицы, оживающие в темноте, уже начинают стекаться с окраин к центру квартала. Мертвыми остекленевшими глазами недоуменно, осуждающе смотрят они на птиц, живущих при свете, — щебечущих, беззаботных, болтливых, ловящих последние отблески дня. Что за безумство, что за дурацкая радость? На краю Рехавии, где последние дома едва не соскальзывают с каменистого западного склона, птицы, летящие в город, встречаются с птицами, покидающими его. При свете, который уже и не день, но еще и не ночь, лагеря минуют друг друга, разлетаясь в разные стороны. И тем, и другим тревожно в непривычном освещении. Но никаким полумерам не устоять в Иерусалиме, вечернее свечение сдает на глазах и быстро гаснет. Стемнело. Солнце ушло, скрылись за горизонт и его арьергарды.

В половине десятого Лили собиралась позвонить в дверь квартиры Ярденa. Но на углу улицы Радака она увидела на каменном заборе кота, который, распушив хвост, завывал на все лады от разбиравшей его страсти. Лили сочла нужным остановиться и потратить несколько минут на разглядывание распалившегося кота.

Братья тем временем уже слушали начало викторины. Голосом, говорящим о том, что и ему эта игра по душе, диктор сообщил участникам викторины, собравшимся в студии, и всем радиослушателям, что ключ к разгадке следует искать в стихотворении Бялика из цикла "Народные песни".

Днем ли, ночью ли — как знать?
Тихо выйду погулять.
То ль на горке, то ль в долине
С дней неведомых доньне
Там акация стоит...

Сразу появился азарт. Яир и Ури стали лихорадочно думать: ключевое слово, конечно, "акация", но ведь есть еще "то ль на горке, то ль в долине", и это несколько усложняет дело. Яира осенила мысль. Надо посмотреть в большом сборнике Бялика, найти продолжение, и тогда все, может быть, прояснится. Он бросился к полкам, пробежал глазами по книгам, выхватил том, оказавшийся вовсе не Бяликом, поставил на место, поискал еще, нашел и вот уже открыл книгу на нужной странице. На все ушло меньше трех минут. Но следующие строки не дали ответа, а только еще больше разожгли в нем охотничий азарт.

Там акация стоит
И что сбудется сулит.

Вот это да. Если весь секрет в акации, как же она может еще знать какие-то секреты, да еще предсказывать будущее. Дальше. Нет, следующие строки

тут ни при чем. Нерелевантны. И все стихотворение ни при чем. И Бялик вообще. Значит, искать нужно в другом направлении. Минута на размышление. Т-р-р-р, и ответ готов: "шита" на иврите не только название дерева. "Шита"* — это еще и "метод", "система". Заключение, которого не постыдился бы сам старик Клайнбергер. Теперь пойдем дальше. Молчи, Ури, не мешай. Итак, уважаемый Уотсон, скажите на милость, как вы понимаете первую строчку "Днем ли, ночью ли — как знать?". Не понимаете никак? Разумеется, не понимаете. Ну, пораскиньте умом. Между прочим, и я пока ничего не понимаю. Но позвольте мне минуту подумать, и ответ не замедлит...

Раздался звонок.

На пороге стояла нежданная гостья. Лицо ее было невозмутимо, и только углы нервных губ слегка поджаты. Было в ней что-то непонятное и манящее.

Уличный кот, существо извращенное, готов отказаться от всего на свете ради человеческой ласки. Даже в разгар любовных томлений. Когда Лили дотронулась до него, кот мелко задрожал. Левой рукой она с силой гладила его по спине, а пальцами правой мягко перебирала мех возле шеи. От сочетания мягкости и силы блаженство разлилось по телу животного. Он перевернулся на спину, подставил живот ласковым пальцам и замурлыкал — сладко и громко. Щекоча кота, Лили приговаривала:

— Приятно? Конечно, приятно. И не спорь даже, — повторяла она по-немецки.

Кот зажмурился, оставив от глаз только узкие щелки, и продолжал мурлыкать.

— Лежи тихо. Тебе не надо ничего делать, только наслаждаться.

Кошачий мех был мягким и теплым. По нему

* Речь идет об омонимах. (Прим. перев.)

волнами проходила легкая дрожь. Лили потерла кольцом о шерсть возле уха.

— А кроме всего, ты еще и глуп.

Вдруг кот вздрогнул и забеспокоился. Может, каким-то чувством угадал, что его ожидает. Щелки расширились, блеснула желтизна глаз. Рука Лили сжалась в кулак, описала широкую дугу и ударила по меху на животе. Кот перевернулся в воздухе и бросился наутек. В темноте он наткнулся на дерево, вонзил когти в ствол и взлетел по нему до первых веток. С высоты он по-змеиному зашипел. Шерсть на нем встала дыбом.

Лили повернулась и пошла к Ярденам.

— Добрый вечер, Яир. Ты, наверное, не занят. И, наверное, дома один.

— Нет, мы тут с Ури... А разве отец не собирался зайти к вам сегодня вечером?

— А... И Ури здесь? Конечно, как я забыла? Добрый вечер, Ури. Как ты вырос. И по тебе уже сходят с ума девицы? Нет, нет, меня не нужно приглашать в комнату. Я только хотела кое о чем спросить тебя, Яир. И вовсе не собиралась вам мешать.

— Что вы, госп... что вы, Лили. Какой может быть разговор? Вы нам никогда не мешаете. Заходите. Только я был абсолютно уверен, что вы сейчас дома и пьете кофе с отцом. И вдруг...

— И вдруг твой отец обнаруживает, что дверь закрыта и в окнах темно. Он в недоумении, он раздосадован, он встревожен, — и от всего этого выглядит почти привлекательным. Жаль, что я не притаилась там за деревьями и не вижу сейчас выражения его лица. Неважно. Я объясню тебе и это. Пойдем, Яир, выйдем на пару минут, пройдемся по воздуху. Я должна кое-что выяснить. Да, именно сегодня. Терпение.

— Что, что-нибудь случилось? Дина не поехала в Тель-Авив или...

— Поехала, поехала как послушная девочка и вер-

нется как послушная девочка, но попозже. Пойдем, Яир. Куртку можешь не брать. На улице не холодно. Ветер приятный. А Ури нас извинит. Правда, Ури? Какой ты стал высокий, Ури. До свидания.

Во дворе возле перечного дерева Лили сказала:

— Да ты не волнуйся, Яир, ничего принципиально важного не произошло.

Но Яир уже убедился в своей ошибке: несмотря на все уверения Лили, нужно было взять куртку. На улице холодно. А позже станет еще холоднее. Еще сейчас можно извиниться и сбегать за курткой. Сама Лили была в пальто, пошитом по моде, даже с вызовом. Но возвращаться домой за курткой почему-то казалось ему зазорным и даже трусливым. На куртку пришлось махнуть рукой.

— Да, вечер и вправду приятный, — сказал он.

Поскольку Лили не торопилась с ответом, Яир успел задуматься над вопросом, есть ли акация в Иерусалиме, если есть, то где, а если нет, то не служит ли слово "шита" намеком на глагол "лешатот"*.

Кто знает, может, клад в одной из низин, окружающих Рехавию с запада и с юга? Жаль, конца передачи теперь не услышать. Так ничего и не узнаешь.

IV

После некоторого замешательства, смущения и двух-трех бесплодных попыток как-то объяснить случившееся, Иосеф Ярден решил идти к доктору Клайнбергеру. Если Эльханан дома, я извинюсь за столь поздний и неожиданный визит, и расскажу ему об этом странном инциденте. Кто бы мог подумать? Да она буквально испепелила бы меня взглядом, опоздай я на несколько минут. А сейчас уже десять, даже две с половиной минуты одиннадцатого, а я все стою и жду. Если бы что-то случилось,

*Подтрунивать, дурачить (ивр.).

она ведь могла позвонить. Просто непостижимо.

— Тем самым она избавила вас от малоприятных и даже тягостных сцен, — усмехнулся Эльханан Клайнбергер. — Лили не уступила бы ни за что. Она разошлет приглашения всему городу. Всему университету. Президенту. Мэру Иерусалима. А по сути дела, Иосеф, почему вы считаете, что она должна пойти наперекор собственному желанию, чтобы удовлетворить ваше? Почему на свадьбу единственной дочери ей нельзя пригласить хоть папу Римского с супругой? А, Иосеф?

Гость начал пространно и терпеливо объяснять: времена нынче нелегкие — я имею в виду, для всех. И не мы ли сами уже который день устно и письменно проповедуем: жить нужно скромно. Кроме того, мать Яира всегда хотела, чтобы свадьбу устраивали в тесном кругу. Это как бы ее завещание, по крайней мере, в плане духовном. Да и... средства. Где это видано, чтобы влезали в долги ради роскошной свадьбы.

Доктор Клайнбергер, казалось, давно потерял нить. Он налил кофе, предложил сахар и молоко. В какой-то момент вставил замечание о том, что противоположности-де часто сходятся. Разговор быстро перешел на другие темы. Поговорили о египтологии и литературе на иврите, произнесли немало горьких слов по адресу иерусалимского муниципалитета. Доктор Клайнбергер славится тем, что он умеет с удивительной тонкостью проводить параллели между сферой своих профессиональных занятий — египтологией — и литературой на иврите, которую он называет своей тайной любовью, а себя — ее пылким любовником. Повозражав, Иосеф Ярден принимает обычно точку зрения Клайнбергера, однако зачастую отвергает его формулировки. Поэтому разговор в большинстве случаев кончается заключением, которое сформулировано Иосефом Ярден, а не его старым приятелем Эльхананом Клайнбергером.

Если бы не холод, они по обыкновению вышли бы на балкон поглядеть на ночной пейзаж — холмы в звездном свете. Внизу лежала Эмек ха-Мацлева. Там, в горьком покое, растут старые оливковые деревья.

Жадно, ненасытно, едва ли не свирепо тянут они отростки корней в плотные темные недра. Корни, как когти, пробиваются сквозь каменистую подпочву, пронзают или огибают невидимые глыбы и припадают к влаге и прохладе. Но наверху, на ветру, в переливах зелени и серебра, колышутся кроны — им покой, им и почет.

И еще: оливковое дерево нельзя убить. Сгоревшие деревья пускают вдруг новые, сочные побеги. Вульгарное, бесстыдное цветение, как сказал бы Эльханан Клайнбергер. Оливы, в которые попала молния, постоят-постоят и опять обрастают пухом. И так в иерусалимских горах, на холмах, окаймляющих прибрежную низину, и в тиши монастырских подворий, обнесенных высокими каменными заборами. Из поколения в поколение утолщаются их суковатые стволы и гуще переплетаются ветви. Оливковые деревья не обуздать. Они живучи, как хищные птицы.

Севернее Рехавии — район Нахлаот — квартал бедноты с узкими, уютными улочками. В одном из кривых переулков растет здесь старое оливковое дерево. Сто семь лет назад возле него поставили железные ворота, так, что их верхняя перекладина подходила вплотную к оливе. С годами дерево привыкло опираться на железо, а железо вошло в его сердцевину, проткнуло его, как вертел. Терпеливо годами древесный ствол втягивал, впитывал инородное тело. В железных объятиях дерева железо расплющилось, смялось, края разреза сомкнулись, рана зарубцевалась. И за все это время ни на йоту не поблекла и не убыла благородная зелень его макушки.

Яир Ярден молод и красив. Он невысок, широкоплеч, гибок и крепок в поясице, приятно квадратен в спине. Подбородок у Яира решительный, энергичный, с глубокой ямочкой. Многим девушкам хочется дотронуться до нее. Некоторые из них при этой мысли краснеют или бледнеют и говорят про него: "Воображает о себе невесть что, а сам чурбан чурбаном".

Руки у Яира крепкие, покрытые густой черной порослью. Нет, о нем нельзя сказать, что он грузен, но некая тяжесть, некая медлительная увесистость заметны в каждом его движении. Лили Даненберг назвала бы это "массивностью" и тем самым как бы вновь намекнула на бедность иврита, который не в состоянии передать тонких нюансов. Разумеется, для Эльханана Клайнбергера не составило бы никакого труда доказать, сколь беспочвен этот едкий намек. Он мог бы в один миг предложить соответствующее определение на иврите, а то и два, и мимоходом щегольнуть ивритской идиомой, передающей понятие "нюанса".

Не исключено, что молодцеватая, подкупающая основательность, которой наделен Яир, довольно скоро уступит место почтенному домашнему брюшку, как у его отца Иосефа Ярдена. Острый глаз уже сейчас может заметить первые признаки, но пока, — Лили Даненберг не станет кривить душой, — пока Яир Ярден — парень складный и очень привлекательный. Густые пшеничные усы, в которых застревают иногда крупинки табака, придают его облику особую весомость.

В университете Яир занимается экономикой и наукой об управлении производством. Перспективы неограниченные. Романтические причуды — киббуцы и пограничные поселения не увлекают Яира. В политике он сторонник умеренных взглядов, перенятых у отца. Только Иосеф Ярден любит сравни-

вать нынешнюю политическую ситуацию с бесплодной пустыней, где царят коррупция и карьеристское чванство, Яир же видит здесь перед собой широкое поле деятельности.

— Может быть, предложишь мне сигарету, Яир? — сказала Лили.

— Ясное дело. Хотите сигарету, Лили?

— Спасибо. Свои я второпях забыла дома.

— Спичку, Лили?

— Спасибо. Дина Ярден. Вполне музыкальное имя, почти как Дина Даненберг, только, может быть, чуточку попроще. Когда у вас родится ребенок, можете назвать его Дан. Как в этой экзотической песне о колокольчиках и верблюдах: Дан Ярден. Значит, быть мне бабушкой. Сколько времени вы мне дадите, какую отсрочку? Год? Или меньше? Можешь не отвечать. Это вопрос риторический. Интересно, Яир, как сказать на иврите "риторический".

— Не знаю, — ответил Яир.

— Да я и не спрашиваю тебя. Это я так, риторически.

От замешательства Яир начал пощупывать мочку уха: "Что это с ней? Тоже еще. Чего ей от меня надо? Что-то тут нечисто — темнит-темнит, а в чем дело, не разберешь".

— А сейчас ты ищешь, что бы такое сказать, и не можешь найти. Не трудись. Твоя галантность не подлежит сомнению, и ты, слава Богу, не перед экзаменационной комиссией.

— Что вы, Лили, я вовсе не считаю вас экзаменационной комиссией. Совсем наоборот. То есть...

— Ты очень импульсивен, Яир. Мне неважно, насколько ты находчив и остроумен в ответах. Меня куда больше интересует твое, как бы это сказать... эспри.

В темноте Лили улыбнулась.

Они поднялись к центру Рехаии и повернули на север. Навстречу им попался прохожий — худой, в очках, должно быть, студент, горящий огнем социаль-

ного экстремизма и неразделенной любви. На ходу он слушал транзистор. Яир замедлил шаг, повернул голову и наострил уши, пытаясь уловить хотя бы обрывок захватывающей радиовикторины, которую помешала ему слушать Лили.

То ль на горке, то ль в долине
С дней неведомых доныне
Там акация стоит...

Из-за нее он вышел из дома без куртки, и сейчас ему холодно. И неловко. И самое интересное в передаче он пропустил. Нет, пора переходить к делу. Хватит.

— Хорошо, — сказал Яир, — ладно, Лили. Может быть, вы все-таки скажете, что случилось?

— Случилось?! — изумилась Лили. — Ничего не случилось. Просто мы с тобой вышли погулять, потому что Дина уехала в Тель-Авив, а твоего отца нет дома. Ведь есть много вещей, о которых стоило бы поговорить. Много я хотела бы узнать о тебе, а может, и тебя интересует что-нибудь, связанное со мной.

— Вы сказали, — Яир потрогал себя за мочку, — сказали, что хотели о чем-то...

— Да, но это просто формальность. В общем-то мелочь. Но все-таки лучше, если бы ты сделал это поскорее, завтра-послезавтра или, на худой конец, в начале недели.

Она потушила сигарету и отказалась от второй, предложенной Яиром. Много лет назад известный архитектор наметил планировку Рехавии, водя карандашом по бумаге, он видел тенистые переулки-аллеи, такие, как улица Аль-Харизи, ухоженный бульвар, получивший название Сдерот бен-Маймон, площади-скверы, такие, как площадь Магнеса, где в самый знойный день задумчиво шуршат сосновые кроны. Зеленое дачное предместье, квартал-укрытие, квартал-санаторий для беженцев, на долю которых выпали тяжелые испытания. Улицам дали имена сре-

днеевковых еврейских мыслителей, чтобы добавить еще одно измерение, — глубину времени, а вместе с ней атмосферу учености и умудренности.

Но постепенно новый город раскинул руки и заключил Рехавию в кольцо безобразных построек. Ее улочки стали выходить из берегов под напором потока автомобилей. А когда открыли западную магистраль и районы Шейх-Бадр и Неве-Шаанан превратились не только в центр города, но и в эпицентр всего государства, Рехавия перестала быть зеленым дачным предместьем. Стройки с головокружительной быстротой перескакивали с пригорка на пригорок. Маленькие виллы были пущены на снос, на их месте выросли дома в несколько этажей. Исходный замысел был смыт приливом новых кипучих сил.

Только ночи возвращают Рехавии малую толику ее несбывшихся надежд. Вбирая темноту, уцелевшие деревья приобретают былую осанистость и временами ведут себя так, будто они лес. Обитатели Рехавии, уставшие от дневных трудов, неторопливо выходят на вечернюю прогулку. С Эмек ха-Мацлева поднимается другой воздух, а вместе с ним горьковатый запах сосен и ночные птицы. Оливковые рощи взбираются по склонам, вступают в переулки, заходят во дворы. В окнах в электрическом свете видны полки, уставленные книгами. В некоторых домах женщины играют на рояле. Может быть, сыну, чтобы развеять печаль.

— Видишь, по той стороне улицы идет человек, ощупывая палочкой тротуар? Это профессор Шацкий, — сказала Лили. — Ты, наверное, и не знал, что он еще жив. Ты, наверное, думал, что он из девятнадцатого века. И, наверное, был прав. Он был язвителен и элегантен, и верил в милосердие. В своих трудах он беспощадно требовал, чтобы каждый проникся состраданием к ближнему. Даже жертва к убийце. Сейчас он совсем слепой.

— Первый раз слышу, — ответил Яир. — Это, как говорят, не совсем в моей сфере.

— Тогда, если ты будешь настолько любезен, что предложишь мне еще сигарету, мы перейдем к тому, что, как говорят, в твоей сфере, Яир.

— Пожалуйста. Только скажите уже, что вы хотели выяснить?

Лили прищурилась, постаралась сосредоточиться, припомнила те неприятные минуты, которые ей пришлось пережить еще до того, как этот кавалер, этот крепыш появился на свет. Что-то подступило к горлу. Еще немного, и Лили передумала бы. Но, справившись с минутной слабинкой, она сказала:

— Это насчет проверки. Я хочу, чтобы ты как можно скорее и уж, конечно, до официального объявления о свадьбе, прошел медицинское обследование.

— Не понял, — сказал Яир, и рука его замерла на полпути к уху. — Не понял. Я абсолютно здоров. Зачем мне обследоваться?

— Речь идет не более чем о профилактическом обследовании. Болезнь, от которой умерла твоя мать, была наследственная. Между прочим, если бы она своевременно обратилась к врачу, то могла бы, наверное, провести с нами еще несколько лет.

— Я проходил осмотр два года назад, когда поступал в университет. Сказали, что я здоров как бык. А о матери я почти ничего не знаю. Я был еще маленький.

— Стоит ли устраивать шум из-за такого пустяка? Не стоит. Будь хорошим мальчиком. Как говорят, чтобы душа была спокойна. Если бы ты немножко знал немецкий или хотя бы умел читать по-немецки, я подарила бы тебе книги по экономике, которые остались после Эриха Даненберга. Его ты тоже, конечно, не помнишь. Как говорят, страница перевернута. Придется искать для тебя другой подарок.

Яир молчал.

На улице Ибн-Эзры за ними увязалась старуха. Одетая она была чуть ли не с шиком.

— Все на свете увязано-перевязано, — говорила она. — Бог сердается, человек не замечает. Делай благо, делай зло, на поверку все одно. Бредущим в темноте увидеть свет пора, но не завтра, а вчера. Горло горячее, острый ножик, все в этой жизни одно и то же.

Яир ускорил шаг, чтобы отделаться от безумной старухи. Лили поотстала, но, не сказав ни слова, тут же догнала Яира. Ее лицо исказилось, на нем промелькнула какая-то болезненная желчная гримаса. В Иерусалиме эту расфуфыренную старуху прозвали "Все одно". Она говорила басом, с сильным немецким акцентом.

Сумасшедшая Рехавии прокричала им вслед свое благословение:

— Благословением небес, благословением воды да будут все благословимы, от Дюссельдорфа до Иерусалима. Построить или разрушить дотла, в корне всего — причина одна. Избавления, удачи и мира — всем страждущим и всем гонимым. Шалом, шалом далеким и близким.

— Шалом, — тихо ответила Лили.

До школы имени баронессы Ротшильд они прошли в полном молчании. Вначале Яир напевал, или, вернее, бубнил про себя: "Днем ли, ночью ли — как знать?" Потом перестал.

— Не спорь со мной из-за проверки, — сказала Лили, — даже если, по-твоему, это каприз. Твоя мать умерла только потому, что болезнь была запущена, и твой отец опять остался один. Да и ты с малых лет рос сиротой.

— Да ладно, я сделаю. Далась же вам эта проверка, — сказал было Яир.

Потом он почувствовал, что в словах Лили было что-то еще. Слизнув с усов табачную крошку, он сосредоточился и нашел нужное место.

— Опять? Вы сказали, отец о п я т ь остался один?

— Да, его вторая жена умерла от рака, когда тебе было шесть лет. Что касается первой, то она вообще

не переселилась в мир иной, а просто отселилась от нсго. Развелась с ним. Ты вот-вот женишься, и твоему отцу давно пора бы перестать скрывать от тебя элементарные вещи, будто ты еще маленький.

— Не понимаю, — прервал ее Яир, — не понимаю. Что, отец был женат раньше?

От обиды голос Яира прозвучал громче, чем позволяли время и место. Лили сейчас же постаралась вернуть разговор в допустимые пределы. Продолжая на той же ноте, ответила на вопрос Яира.

— Твой отец был четыре месяца женат на женщине, которая потом вышла замуж за Эриха Даненберга.

— Не может быть, — сказал Яир.

Он остановился. Достал сигарету и сунул ее в рот, но прикурить позабыл. Забыл он и о спутнице, и сигарету ей не предложил. Задумавшись, он устался в темноту. Потом выдал из себя:

— Ну и что? Причем это сейчас?

— Ты неучтив, — улыбнулась Лили, — предложи сигарету и мне. Свой я забыла дома. А в остальном ты прав. Мне самой трудно представить, что такой брак был, что он вообще мог быть заключен. Я и сама, кажется, не верю в то, что сейчас рассказала. Но ты должен узнать и извлечь из этой истории урок. А теперь зажги, пожалуйста, обе сигареты, — мою и свою. Или дай спички, я прикурю сама. Не принимай это близко к сердцу, Яир. Это ведь дело давно минувших дней. И продолжалось-то все каких-то четыре месяца. Даже меньше. Так, нелепый эпизод. Пойдем, Яир, пройдемся еще немного. Иерусалим поразительно хорош в эти часы. Пойдем.

Так и не разобравшись в путанице мыслей, Яир потянулся за ней. Лили захлестнуло безудержное веселье. Проезжавшая машина дала один короткий гудок. Ночная птица обратилась к ней с криком — Лили не ответила. Перед глазами мелькали носки ее туфель и ботинок Яира, идущие по тротуару. Пальцы рассеянно приняли протянутую зажигалку и поднесли ее поочередно к двум сигаретам.

— А мне никогда об этом не рассказывали. Надо же, — сказал Яир.

— Ну, а теперь рассказали. И хватит об этом, — сказала она ласково, словно успокаивая капризного ребенка. — И нечего придумывать себе всякие страсти.

— Но все-таки как-то... странно, что-то в этом не то.

Лили потрепала его по затылку, слегка запустила руку в волосы. Ладонь была теплой, прикосновение — приятным. Они дошли до конца Рехавии и вступили в Нахлаот. Закругленные улочки сменились остроугольными переулками. А вот и оливковое дерево, которое сдавило и расплющило в своих объятиях железо ворот.

VI

Эльханан Клайнбергер и Иосеф Ярден были погружены в шахматную игру. Над столом висела лампа, стилизованная под один из тех фонарей, которые горели много лет назад на улицах баварских городов. Свет ее был тускловат. На корешках книг поблескивали золоченые буквы, отражавшие еще более тусклый свет, чем отбрасывала на них лампа. Книжные полки занимали все стены — от угла до угла, от пола до потолка. Одна полка была заставлена альбомами, в которых хранилась коллекция марок. Целая секция была отведена еврейской литературе — тайной страсти Эльханана Клайнбергера. В редких просветах пристроились африканские вазы и примитивные статуэтки, в которых сквозил откровенный эротизм. Статуэтки тоже служили вазами, и в них стояли разноцветные невянувшие бумажные цветы.

— Нет, Иосеф, — сказал доктор Клайнбергер, — в любом случае вам придется отдать коня за выигранную ладью.

— Минутку, Эльханан, дайте мне спокойно поду-

мать. У меня по-прежнему есть некоторое преимущество в этой партии.

— Преимущество мимолетно, мой друг, — усмехнулся доктор Клайнбергер. — Но думать вам никто не запрещает. Сколько угодно. И чем дольше вы будете думать, тем яснее вам станет, насколько преходяще ваше преимущество. Преходяще и эфемерно.

Доктор Клайнбергер откинулся на спинку кресла.

— Надо сосредоточиться, — решил Иосеф Ярден. — Все его рассуждения о слабости моей позиции не более чем психологический прием. Надо сосредоточиться, потому что следующий ход будет решающим”.

— Следующий ход определит исход встречи, — сказал доктор Клайнбергер, — а посему, может, объявим десятиминутный перерыв и выпьем чаю?

— Это политика Макиавелли. Предложение, которое сделало бы честь дьяволу-искусителю. Я привык называть вещи своими именами. Ведь ваша цель — рассеять мои мысли. И вы этого уже добились. Но как бы то ни было, мой ответ: ”Благодарю вас. Нет”.

— Мы же совсем недавно говорили о том, что у каждой вещи есть более чем одно имя. Прошло два три часа, и вы об этом забыли. Жаль.

— Более того, я уже забыл, что я собирался делать с вами в этой партии. Значит, ладья... Вы совсем меня запутали, Эльханан. Пожалуйста, дайте мне сосредоточиться. Так... И так... Я иду сюда, вы — туда. Прекрасно. Ну, что вы теперь скажете, уважаемый доктор?

— Сейчас я не скажу ничего. Или, вернее, скажу: сделаем перерыв и послушаем новости. А после новостей я объявлю вам шах, а вскоре и мат.

Приятель расстались около полуночи. Иосеф Ярден с достоинством принял свое поражение. Некоторым утешением послужила ему рюмка коньяка, предложенная хозяином.

— В конце недели мы встретимся у меня, — ска-

зал он, прощаясь, — и уж на моей территории вас ожидает разгром. Клянусь головой.

— И это, — рассмеялся доктор Клайнбергер, — это человек, опубликовавший эссе "Против политики реваншизма" в "Вестнике социально-политических наук". Спокойной ночи, Иосеф.

На улице была ночь и ветер. Бесцеремонная сова прикрикнула на Иосефа, велев ему поторопиться. "Я забыл ей позвонить, — подумал он на ходу, — спросить, что случилось. Впрочем, это к лучшему. Подожду до завтра. Она сама позвонит и станет оправдываться, а я не приму ее извинений. Во всяком случае, не сразу".

VII

Там акация стоит
И что сбудется сулит.
Ей взмолюсь я: "Удружи,
Кто мой суженый, скажи".

Навязчивая мелодия не хотела признать, что Яиру сейчас просто не до нее. Он уже и просвистел ее, и промычал, и напел себе под нос, но мелодия не отставала. Лили расспрашивала его о профессорах, об учебе, о студентках, которые, наверное, ужасно переполошились, узнав о его предстоящей женитьбе.

"Хватит, пора домой, — думал Яир. — То, что она мне понарасказывала, может еще и неправда. А если и правда, так что? Что она от меня хочет? Что ей надо? Пора кончать, и по домам. Еще и холодно".

— Может, — сказал он неуверенно, — может, будем поворачивать? Поздно. Сырость какая-то. И прохладно. Я не хотел бы быть виноватым еще и в том, что вы простудитесь после нашей прогулки.

Он взял ее за руку повыше локтя и слегка потянул к углу, где висел фонарь.

— Знаешь ли ты, милый мальчик, — сказала Лили, — сколько терпения нужно мужчине, как, впро-

чем, и женщине, чтобы их брак не превратился через несколько месяцев в трагедию?

— Я думаю, что... Может, поговорим об этом на обратном пути? Или в другой раз?

— На первое время есть секс, и больше ничего не надо. Утром, днем и вечером, до еды и после еды, вместо еды. Но через несколько месяцев у обоих вдруг оказывается уйма ничем не заполненного времени. И тогда приходят разные мысли. Обнаруживаются привычки, которые раньше не замечались, а теперь вызывают раздражение. Тут-то и наступает момент, когда необходима душевная тонкость.

— Да вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Мы с Диной...

— Причем тут вы с Диной? Я имею в виду общий случай. А сейчас могу рассказать тебе кое-что и о частном. Обними меня за плечи — холодно. Что за неуместная робость? Будь джентльменом. Вот так. Теперь я расскажу тебе немного о Дине и немного о тебе самом.

— Да я уже знаю...

— Нет, мой мальчик. Не все-то ты знаешь. Я думаю, ты должен знать, например, что Дина любит не тебя, а твой внешний вид. О тебе она не думает. Она еще ребенок. Да и ты тоже. Я уверена, что ты ни разу не переживал приступов уныния и тоски. Нет, не надо мне ничего отвечать. Я совсем не хочу сказать, что ты толстокожий. Ты сильный. Простой и сильный — такой, как и должна быть наша молодежь. Дай руку. Ну? И не задавай столько вопросов. Я просила руку. Так. Теперь сожми. Потому что я прошу тебя. Разве этого недостаточно? Ну, сжимай. Да не так. По-настоящему. Сильнее. Еще сильнее. Не бойся. Вот, теперь хорошо. Ты очень сильный. Между прочим, заметил ли ты, что у тебя рука холодная, а у меня теплая? Еще немножко, и ты поймешь, почему. Перестань канючить: "Домой, домой". А то я подумаю, что по ошибке вышла погулять по ночным улицам с балованным ребенком,

у которого на уме только — домой и спать. Смотри, ребенок, вот луна выглядывает из-за облаков. Видишь? Тогда помолчи минутку. Не говори ничего. Ш-ш-ш...

Издалека доносится глухой вой шакалов. Он распутывает слова и будто открывает путь для чего-то другого, что пытается прорваться, установиться, но оказывается не в силах преодолеть невидимые преграды. С пустошей, примыкающих к последним домам, на улицы, мощенные каменными плитами, врывается разгулявшийся ветер. Он налетает на редких прохожих, щиплет, не дает им проходу. Окна закрыты, жалюзи опущены. Канализационные люки задраены. В подворотнях из иерусалимского камня шныряют ночные коты. На краю тротуара застыла шеренга мусорных урн. Свой сегодняшний разговор с Яиром Лили Даненберг называет дидактическим. Она изо всех сил старается соразмерять каждое слово, чтобы не растерять всего сразу. Но в висках бьется жилка, какая-то внутренняя дрожь подстегивает ее и гонит вперед без оглядки. В Нахлаот нет акаций, которые предсказывают будущее. Лабиринт закоулков кончается, и через рынок Махане-Иехуда они выходят на улицу Яффо. Лили выбирает небольшой ресторанчик, где собираются по ночам шоферы, и ведет туда Яира.

Под электрической лампой кружат бабочки. То одна, то другая подлетает поближе, чтобы выразить восхищение ее желтым светом. Госпожа Даненберг заказывает черный кофе без сахара и без сахарина. Яир просит бутерброд с сыром и, после некоторого колебания, маленькую рюмку коньяка. Лили кладет руку на его широкую смуглую кисть и осторожно перебирает пальцы. У него слегка кружится голова, и он улыбается ей в ответ. Лили берет руку Яира и проводит кончиками его пальцев по губам.

В ресторане на рынке Махане-Иехуда, куда Лили привела Яира, был один шофер — здоровенный дегтина по имени Абу. Днем Абу спит, а к полуночи, как медведь, просыпается и выходит на улицу Яффо. Для таксистов он — царь и бог. Они сами поставили его над собой, потому что Абу силен, великодушен, а когда надо — тверд. В тот вечер он сидел за одним из соседних столиков в окружении трех-четырех самых молодых из своей братии и обучал их, как "приговорить" игральную кость выпасть именно той стороной, которая нужна для выигрыша в нарды. Когда Яир и Лили вошли, Абу сказал своим ребятам:

— Смотрите, царица Савская и царь Соломон.

Поскольку Яир молчал, а Лили улыбнулась, Абу не отставал:

— Наше дело десятое. Главное — здоровье. Мадам, почему вы разрешаете ребенку пить коньяк?

Шоферы, друзья Абу, повернули головы. На предстоящее представление настроился и чахоточный меланхоличный хозяин заведения.

— А тебя, парень, я, убей меня, не понимаю. Что, сегодня бабушкин день? Почет и уважение маминей маме? Что же ты выбрал себе для ночных прогулок модель типа "антик"?

Яир встал, у него покраснели уши, он был готов защищать свою честь. Но Лили удержала его, и, когда она заговорила, голос ее прозвучал дружелюбно и весело.

— Бывают модели, за которые человек с опытом и вкусом готов отдать душу, а вместе с ней и все новомодные игрушки из жести и стекла.

— Сахтен*, — рассмеялся Абу. — Так почему бы вам не попробовать, как держат баранку руки мастера, у которого в каждом пальце больше опыта

* Сахтен (араб.). Примерно соответствует выражениям "порядок", "на здоровье".

и смекалки, чем у той мелюзги, с которой вы имеете дело?

Яир вскочил, усы его встали торчком. Но и на этот раз его опередил голос Лили, который разом притушил уже закипавшую ссору.

— Что с тобой, Яир? Этот господин вовсе не хочет меня обидеть. Наоборот, он хочет сделать мне приятное. Мы с ним прекрасно понимаем друг друга. Поэтому не кипятись, сядь и учись, что и как надо делать, чтобы доставить мне удовольствие. Вот сейчас у меня совсем легко на душе.

В порыве разбиравшего ее веселья Лили взяла его за подбородок, притянула к себе и поцеловала в ямочку.

Абу, словно теряя сознание от истомы, сказал, растягивая слова:

— О Боже, Боже милосердный, где же вы были, мадам, до сих пор, и где, где был я?

— Сегодня — день внуков, — ответила Лили. — А завтра или послезавтра бабушке, может быть, понадобится такси и, может быть, дедушка окажется поблизости или сам узнает, где обитает царица Савская, и, как водится, привезет ей в подарок попугаев и обезьян. Ну, пошли, Яир, нам пора. До свидания, мсье. Было очень приятно.

Когда они проходили мимо столика таксистов, Абу с благоговением пробормотал:

— Ступай-ка ты, парень, спать. Ты не стоишь ее ноготка. Ей-Богу.

Лили улыбнулась.

На улице Яир сердито сказал:

— Все они головорезы. И примитивны к тому же.

IX

Ее ногти впились ему в руку у локтя.

— Сейчас и мне холодно, — сказала она. — Держи

меня крепко, если ты уже научился, как это нужно делать.

Яир обнял ее за плечи. От злости и обиды его движения стали резче, грубее.

— Вот так, — сказала Лили.

— Но... Я все-таки предлагаю, давайте вернемся домой. Уже поздно, — Яир машинально зажал мочку уха между большим и указательным пальцем. "Что она хочет от меня? Чего ей надо?"

— Сейчас уже поздно идти домой, — прошептала она. — Дом пуст. В нем нет ничего, кроме отвратительных кресел. Кресел Эриха Даненберга, доктора Клайнбергера, твоего отца. Жалко их всех. Нам нечего делать дома. А здесь чего только не повстречаешь и чего только не почувствуешь. Вон совы что-то колдуют над луной. Ты же не бросишь меня среди ночи, когда вокруг одни шоферы, хулиганье и совы. Ты мой рыцарь. Нет, не думай, что у меня минутное помутнение. Рассудок мой ясен, и я совсем озябла. Не оставляй меня одну и не говори ни слова. Иврит слишком патетичен, Библия с комментариями, да и только. Ни слова на иврите, да и вообще ни слова. Только прижми меня к себе. Вот так. Не из вежливости, не для вида, а так, словно я пытаюсь вырваться, царапаюсь и кусаюсь, а ты не пускаешь. Молчи. И пусть замолчит эта проклятая сова. Ведь я ничего не слышу и не вижу, потому что ты накрыл мне голову, зажал уши и рот и связал мне руки за спиной, потому что ты намного сильнее, потому что я женщина, а ты мужчина.

X

Через квартал Макор Барух и потом вдоль каменной стены военной базы Шнеллер они дошли до последней незамощенной дороги и до зоопарка на северной окраине Иерусалима. Здесь город кончался и начиналась земля неприятеля. Дальше они не пошли.

Радиовикторина закончилась. Никто не разгадал секрета старой акации, и клад не был найден. Когда Иосеф Ярден вернулся домой от доктора Клайнбергера, Ури спал в гостиной, свернувшись в кресле. В квартире царил беспорядок. Посредине стола валялся раскрытый том Бялика. Всюду попусту горел свет. Яира не было. Иосеф разбудил младшего сына и, отчитав, отправил в постель. Яир, конечно, пошел на автобусную станцию встречать невесту. Завтра я предоставлю Лили возможность извиняться. Но ей придется долго приносить извинения, прежде чем я приму их и прошу ее. Но самое неприятное из того, что случилось сегодня — это, конечно, спор с Клайнбергером. Последнее слово, разумеется, осталось за мной, но, в целом, в споре я, как и в шахматах, потерпел поражение. Вещи нужно называть своими именами. Я не верю в то, что наша захудалая партия способна выйти из состояния уныния и апатии. Малодушие и слабохарактерность погубили все лучшее. А впрочем, все и так было безнадежно. Сейчас нужно лечь и уснуть, чтобы завтра не ходить, как эти лунатики, которых видишь среди бела дня на каждом шагу. Но стоит мне задремать, как явится Яир и поднимет шум. Тогда мне уже не заснуть до утра, и значит, меня опять ожидает еще одна кошмарная ночь. Кто там кричит? Нет, показалось. Наверное, птица.

Потушил свет в своей комнате и доктор Клайнбергер. Он так и застыл в углу у выключателя, лицом к темной стене, спиной к двери. По радио передавали полночную музыку. Доктор Клайнбергер беззвучно шевелил губами. Он пробовал слова, которые укладывались бы в лирическое стихотворение. Втайне он писал стихи. Он, который питал пылкую страсть к литературе на иврите и мог часами с пеной у рта защищать достоинства языка, стоя в темноте, шептал немецкие созвучия. Должно быть, потому он и скрывал это даже от самого близкого друга. Старый уче-

ный сознавал, что на душе его грех и, самое неприятное, это то, что его можно обвинить в лицемерии.

Губы пытались облечь в слова ускользающие образы. По темным полкам пробежали блики. На мгновение свет с улицы отразился в глазницах очков, и они полыхнули безумием или отчаянием. За окном закричала птица. В ее голосе было злорадство. По-немногу, натужно что-то стало проясняться. Но это "что-то" было по-прежнему очень далеко от слов. Покатые плечи напряглись, сдерживая наплыв. Но нужные слова не пришли, они опали, как газовая ткань, улетучились, как запах или легкая грусть. Стало ясно, что надеяться не на что.

Доктор Клайнбергер снова включил свет. "Боже мой, — вдруг подумал он, — как отвратительны все эти африканские безделушки и эротические вазы. И слова".

Он протянул руку и, не спеша, взял с полки какой-то научный труд. На кожаном переплете золотыми буквами было выбито по-немецки: "Бесы и духи в древнехалдейском культе". Слова — как потаскухи. Когда за них готов душу отдать, они изменяют, и потом ищи-свищи их по темным закоулкам.

XI

Последняя рощица, где расположился Библейский зоопарк, подступает своей северной кромкой к границе между Иерусалимом и деревнями неприятеля. Меньше четырех месяцев была Лили замужем за Иосефом Ярденем, тогда нежным юношей, мечтателем и идеалистом. Прошло много лет, но на душе все еще беспокойно. Человеку так же свойственно таить обиду, как луне медленно, с холодным и злым расчетом, плыть по ночному небу.

В зоопарке нервная, тревожная тишина.

Хищники спят. Но сон их неглубок. Они никогда не позволяют себе полностью отрешиться от запахов

и звуков, которые доносит им ветер. Ночь забирается в сны и порой извлекает из легких короткое глухое рычание. Промозглый ветер зыбит их мех. Порой по нему пробегает нервная дрожь, рябь настороженности или привидившихся кошмаров. Влажный, недремлющий нос прощупывает воздух, не пропускающая ни одного постороннего запаха. На земле роса. В шелесте сосен пульсирует затаенная грусть. Соновые иглы осторожно опускаются на землю, будто пробуя темноту, прежде чем припасть к черной росе.

Из клетки волков доносится урчание. Волк и волчица мечутся, тянутся друг к другу в ночной темноте. Самка кусает самца, но он лишь удваивает натиск. Среди любовных игр они слышат, как кричит птица и как рысь зовет на разбой.

Голубоватый пар поднимается из низин. По ту сторону границы мерцают чужие огни. Лунный свет, падая на землю, как привороженный, льнет к белизне каменных глыб — глянцевых, ядовитых наростов, излучающих тлетворный, болезненный блеск.

В низинах рыщут всполошенные луной шакалы. Из глубин тумана они зовут своих братьев, посаженных в клетку. Там земли кошмаров, и только за ними лежат, быть может, сады, которых не видел глаз, но выстрадало сердце, зовущее: домой.

Среди пугающей яви подними глаза. Бледно-лиловый нимб окутывает верхушки сосен, словно даруя прощение. Только камни сжигаются заживо. Дай им знак.

А.Б. Иехошуа родился в Иерусалиме в 1936 г. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Начал печататься в 1957 г. Он один из основателей нового течения в израильской литературе, известного под названием Поколение государства. С 1972 г. преподает литературу в Хайфском университете. А.Б. Иехошуа – автор рассказов, романов, пьес и публицистических произведений. Ряд его сочинений переведен на европейские языки.

НАЧАЛО ЛЕТА – 1970

Кажется, мне все-таки придется еще раз вернуться к тому мгновению, когда я узнал о его гибели.

Летнее утро, небо разверсто, июнь; последние дни учебного года. Просыпаюсь поздно, несколько ошалело, и ныряю прямо в солнце. Не включаю радио, не разворачиваю газету – впервые у меня словно исчезло ощущение времени.

В школу прихожу с опозданием, тщетно ловлю в зеленоватом воздухе замирающий отголосок звонка, шагаю по пустынному двору меж квадратами света и тени, отскакивающими от длинного ряда окон, мимо гудящих дверей классов. И тогда, к своему изумлению, я обнаруживаю, что за мной мчится директор, окликает меня по имени.

Но уже близок мой выпускной-А, из глубины коридора до меня доносится его приглушенный гул. Они закрыли дверь, чтобы скрыть мое отсутствие, но радостное возбуждение выдает их.

Директор снова окликает меня с того конца коридора, но я не обращаю на него внимания, открываю дверь – прямо в галдеж, хохот и разочарованно зати-

хающий визг. Они были уверены, что сегодня я уже не приду. Я стою у порога и жду, пока они прекратят возню. Лохматые, с раскрасневшимися лицами, в голубых форменных рубашках, они возвращаются на свои места, двигают табуретками, прячут Библии, и мало-помалу на столиках появляются чистые листы бумаги: они готовы к контрольной.

Кто-то стоит у доски и стирает очередную гадость, какую-то карикатуру на меня. Смотрят дерзко, прямо в глаза, улыбаются друг другу, но молчат: все-таки робеют перед моей бородой.

И тут, когда я, с вопросниками в руке, направляюсь было к столу, в класс, запыхавшись, врывается директор. Все уставились на него, но он не обращает на ребят никакого внимания, только на меня: пытается дотронуться, схватить за рукав. Он, с которым я вот уже три года не разговариваю, вне себя и шепчет чуть ли не с мольбой: одну минуточку... оставьте их... пойдите со мной... мне нужно сообщить вам что-то важное... пойдите, прошу вас...

Вот уже три года, как мы не разговариваем, а смотрим друг на друга, словно мы камни какие-то. Вот уже три года, как нога моя не переступала порога учительской, я даже не подходил к титану за чаем. В здание школы пробираюсь рано утром, а на переменах слоняюсь по коридору либо по двору: летом — в широкополой шляпе, а зимой — в тяжелом пальто с поднятым воротником; так и брожу взад-вперед вместе с ребятами. В учительскую заглядываю, когда уже никого из учителей не осталось, и то лишь чтобы оставить классный журнал и запастись мелом на завтра.

С учителями я тоже только изредка перекидываюсь словом.

Три года назад я должен был уйти на пенсию. Я уже совсем было смирился с этой перспективой, носился даже с мыслью попытать силы и написать методическое пособие по изучению Библии, но тут разрази-

лась война, и воздух огласился грохотом орудий и криками где-то вдали. Я пошел к директору и заявил, что ни на какую пенсию я не уйду, а останусь в школе до окончания войны: молодых учителей то и дело забирают, так что, небось, лишним не буду. Он, однако, не видел никакой связи между войной и мной. "Война идет к концу, — ответил он, как-то странно улыбаясь, — а вы вполне заслужили отдых".

Никакого отдыха, однако, не было, а было знойное лето и пылающие газеты. И каждый новый день войны уносил в среднем двух наших выпускников, совсем молодых. И снова я у него, сильно волнуясь, рук не унять, и заявляю ему, заикаясь, что не вижу возможности уйти сейчас, то есть в такое время, когда мы посылаем их на гибель...

Но он не видел никакой связи между их гибелью и мной.

Начались летние каникулы, а мне все нет покоя. Прихожу изо дня в день в пустую школу, околачиваюсь в секретариате, у двери директорского кабинета, дожидаясь известий, беседую с родителями, расспрашиваю их о сыновьях, смотрю на парней — они уже в военной форме, пришли узнать, какие у них оценки в аттестате зрелости, либо вернуть книги в библиотеку, — и в ноздри мне попадает запах палы. И опять кого-то убило, совсем неожиданно, способнейшего парня, еще из первых выпусков, его все так любили; и снова я у директора, подавленный, сам не свой, и говорю ему: "Вот видите!" — но теперь он так и норовит увильнуть от меня. Распорядился оформить мои пенсионные документы, хотел даже устроить банкет в мою честь; я, разумеется, и слушать не стал.

За неделю до начала занятий я заявил ему, что не хочу зарплаты, лишь бы вернули мне классы, но он подписал контракт с новым учителем, меня уже и в списках нет.

Наступает учебный год. Я прихожу в школу вместе со всеми, тащу портфель, набитый книгами и ку-

сками мела, готов начать урок хоть сейчас. Он поймал меня у учительской и в панике спросил — что такое, почему я здесь, но я ему и отвечать не стал, даже не посмотрел в его сторону, все равно как если бы споткнулся о камень. Он, верно, подумал, что я тронулся, но в суматохе первых часов нового учебного года ему было не до меня. А я тем временем нашел глазами нового учителя, тощего молодого человека с бледным лицом, и тут же пошел вслед за ним. Он вошел в класс, я выждал минутку и тоже вошел.

— Прошу прощения, — говорю я ему и слабо улыбаюсь, — вы, вероятно, ошиблись, это не ваш класс, — и не успел он опомниться, а я уже за столом, достаю свою потрепанную Библию.

Он извиняется, что-то бормочет и выходит вон, а я и обалдевшим ребятам — они никак не ожидали вновь меня увидеть — не дал раскрыть рта.

Когда через несколько минут явился директор, я уже весь ушел в урок, а ребята внимательно слушали. Просто нельзя было меня остановить.

На перемене я не вышел из класса, так и проторчал всю перемену среди окруживших меня ребят. Директор стоял у двери, но подойти не посмел. Если бы подошел, я тут же — при ребятах — разорался бы, он это хорошо знал, а скандалов он боялся больше всего на свете.

Вот так — что называется силой — я вернулся в школу. Ни с кем во взаимоотношения не вступал, только с учениками. Первые недели я старался покидать школу как можно реже, ошивался там даже по ночам. Директор буквально проходу мне не давал, бегал за мной, умолял, хватал за рукав, гладил, угрожал, обижался, напирал на принципы, на товарищеский долг, на многолетнюю совместную работу, уговаривал сесть и написать книгу, обещал даже изыскать средства на издание, подсылал ко мне людей, но я упорно молчал: опускал голову в землю или задирали ее в небо либо в потолок — так и торчал, точно застывший белый памятник: на углу ли, в

коридоре, в пустом классе, а то даже дома в кресле, когда он, бывало, наведывался сам, пока не махнул на меня рукой.

Он намеревался увести меня к себе в кабинет, но мне не хотелось бросать ребят. Сделал несколько шагов в коридоре, остановился и тут же, не спуская глаз с класса, вытянул из него все.

Часов пять или шесть назад —

В Иорданской долине —

Смерть, кажется, наступила сразу —

Жене еще не сообщили, в университет тоже —

Мне первому —

В его бумагах значилось мое имя и адрес школы почему-то.

Нельзя поддаваться горю...

И тут все померкло. Я никак не думал, что померкнет именно свет. словно свечка, погасло солнце в моих глазах. Ребята, верно, почувствовали, что погасло, но были не в силах сдвинуться с места: им просто никогда не приходило на ум, что может наступить такой момент, когда я буду нуждаться в их помощи. А директор все бубнил и бубнил, да обстоятельно так, будто он все эти три года готовился сообщить мне эту новость. Потом он слегка вскрикнул.

Но я не потерял сознания. Только на мгновение грохнулся на пол, но тут же встал, сам встал, и свет тоже начал возвращаться — правда, мутноватый поначалу, — и вот я уже в пустом классе, сижу на ученической табуретке, смотрю, как валит народ — учителя, любопытствующие ученики, работники секретариата, техработник, — люди, которые за три года слова со мной не сказали. Вот они все возвращаются, кое у кого даже слезы в глазах, стоят вокруг меня толпой, разрушают мое одиночество.

Он вернулся из США три месяца назад, после долгих лет разлуки. Прилетел с семьей поздно ночью суматошным каким-то рейсом через Дальний Восток.

Битых шесть часов я ждал его в аэропорту; думал — уже не прилетит и придется мне вернуться домой ни с чем. Но в полночь, когда я клевал носом на диване в углу, они подошли ко мне, словно не с самолета сошли, а вернулись с прогулки. Вынырнули из тьмы аэродрома, неряшливо одетые и лохматые, с тяжелыми рюкзаками, в одном из них — бледный ребенок, устремивший на меня свои мягкие глазки.

Я с трудом узнал сына. Бородатый, грузный и ласковый, в волосах уже пробивается седина; какая-то новая для меня неторопливость, какое-то спокойствие в движениях. Я уже смотрел на него как на безнадежного холостяка, и вдруг он — муж, отец, почти профессор. У меня голова пошла кругом. И вот он подводит ко мне жену, хрупкую девушку в брюках, с личиком, утопающим в волосах, в потрепанном жакете с бахромой — видно, одна из его учениц. Она бросается ко мне, ясно и ласково улыбаясь, очень красивая — то есть в ту минуту она мне показалась такой красивой, — дотрагивается до меня своей прозрачной прохладной ручкой.

А я, у меня сердце переливается через край. Встал сразу тоже, чтобы дотронуться до них, поцеловать — ну, хотя бы ребенка, — но сын-то рослый, дитя где-то высоко, и стоило мне коснуться его, как оно тут же залопотало по-английски; и тоненькая эта ученица тоже затараторила по-английски; словно благодатный дождь, они в два голоса поливают меня непонятным этим английским. Я в недоумении/поворачиваюсь к сыну, но он вроде тоже ничего не понял, слушает улыбаясь, затем говорит, что они поражены — до чего же я, мол, на него похож.

Потом таможенная проверка, длинная, беспощадная, точно их в чем-то подозревают. Я стою поодаль и смотрю, как перетряхивают все их узлы, и, когда мы наконец отправились в путь, в темном такси по весенней ночи, — впрочем, вот-вот начнет светать, — ребенок, поникший в своем рюкзаке между родителями на переднем сиденье, совсем уснул. Я же сидел сзади

с вещами: гитарой, пишушей машинкой и свернутыми плакатами — и смотрел, как узлы, только что снова и наспех уложенные, тихо трещат по швам.

Сын заснул сразу, прикрывая собой спящего ребенка, а в невестке вдруг проснулось острое ко мне любопытство. Она не выглядывала в окошко, не смотрела ни на землю, которую никогда не видела до этого, ни на звезды или новое для нее небо, а всем телом перегнулась ко мне, ее волосы даже щекотали мне лицо, и забрасывала меня вопросами: о войне, о том, что говорят люди, чего они хотят на самом деле, будто обвиняя меня в чем-то, будто эта война доставляет мне какое-то тайное удовольствие и будто в самом деле возможно что-то другое...

То есть обо всем этом я только догадываюсь, потому что понимаю ее с большим трудом; меня ведь никогда английскому не учили, и знаю я лишь то, что схватывал на лету, буквально на лету, когда в соседних классах шел урок английского, а у моих — контрольная, или когда я болтался в пустых коридорах, дожидаясь своего урока. И все же я всеми силами стараюсь понять ее, хоть и ужасно устал и измотан длинным ночным ожиданием в аэропорту. А сын знай спит себе на переднем сиденье, его грузная туша поникла, а голова качается то в одну, то в другую сторону. Так и сижу один на один с ней, вглядываясь в ее тонкое личико, в тонкие стекла очков, которые она для чего-то нацепила — сразу видно, интеллектуалка, может, даже из этих новых левых, и вместе с тем чуть-чуть надушенная: до меня доносится запах каких-то увядших цветов.

Наконец я отверзаю уста и отвечаю ей. На невозможном английском, ночном, косноязычном, доморощенном, пересыпанном еврейскими словами, без всякой грамматики. Она смутилась на мгновение, пытается понять, наконец замолкает и она. Немного погодя начинает что-то тихо напевать. И вот мы дома, и хоть они и устали, а все же проявляют какую-то туристскую сноровку, снимают обувь у порога и

ходят по квартире босые, ловко переносят багаж, отпускают шофера, вносят спящего ребенка и быстро раздевают вдвоем, натягивают на него какой-то белый балахон, сшитый, видно, специально для него, укладывают его на мою кровать. Затем, словно только сейчас почувствовав усталость, начинают раздеваться сами, прямо передо мной, ходят потом чуть ли не голые по небольшой моей квартире, а на улице уже почти светло. Стелят одеяла на ковре, и я вижу ее обнаженную грудь, очень белую, а она улыбается мне устало, и тут у меня как-то пропадает охота спать, исчезает совершенно. Я выхожу из комнаты, закрываю за собой дверь, прохаживаюсь по площади, оставшейся незанятой, и дожидаясь солнца.

Они спали тяжким сном, и, перед тем как пойти в школу, я еще раз заглянул к ним и осторожно прикрыл их оголившиеся бедра. В обед я вернулся очень усталый, они все еще спали, все трое; я думал, что тресну с досады. Ведь мне так хотелось поговорить с ним! Пообедал один, попытался прилечь рядом с ребенком и соснуть немножко, но он уже был мокренький, и ничего у меня не вышло. Я встал и порылся в их вещах — может, новую какую-нибудь книгу привезли, газету, — но надоело и это.

Когда солнце начало садиться, у меня терпение лопнуло. Я тихонько открыл дверь и вошел к ним. Они лежали врозь и все так же крепко спали, словно наверстывая то, что упустили во время кругосветного своего путешествия. Я снова нагнулся, чтобы прикрыть ноги невестки, одеяло же, которым укрывался сын, я со злостью дернул.

Он проснулся нехотя и не сразу. Гольй, волосатый, грузный, он все сопел и сопел, наконец продрал глаза и, увидев меня над собой, испугался, словно не узнал.

— Ну, как ты? — спросил он с пола, когда очухался.

— Все так же хожу в школу каждое утро, директор

по-прежнему ничего не говорит, — шепнул я ему в ответ.

Он сначала не понял, хоть я ему и написал обо всем обстоятельно, как на духу. А может, он тех писем вовсе и не читал. Тишина сгущается. Слышно только дыхание молодой жены рядом. Постепенно к нему возвращается благодушие, он натягивает на себя одеяло, глаза у него улыбаются.

— Все Библию преподаешь?..

(Больше ему нечего сказать мне.)

— Да, конечно. Что ж еще?

— Ну, тогда все нормально, — не перестает он улыбаться.

— Да, нормально. — И после продолжительного молчания: — Если не считать ребят, которые гибнут то и дело, — шепотом бросаю я ему в лицо.

Он жмурится. Затем садится. Кутается в одеяло, борода торчит во все стороны, достает трубку, сует в зубы и принимается размышлять вслух, точно древний пророк какой-нибудь, объяснять, что войне вот-вот конец, разве я не чувствую, что она идет к концу? Сколько же можно! Просыпается и жена, садится с ним рядом, тоже кутается в одеяло, лучезарно мне улыбается, готовая включиться в дискуссию, изложить свою точку зрения, тут же, даже не помывшись, даже не попив водички, с глазами, еще опухшими со сна, в весенних сумерках неубранной комнаты, согретой их телами.

Шагаем по коридору в сторону директорского кабинета, небольшая траурная кучка, я посередине, словно важный гость либо пленник. Двери классов приоткрываются чуть-чуть, точно от напора занятий; учителя, классные доски и ребята — вся школа — смотрят на меня, будто открывают меня заново.

...А мы и не знали, что он у вас вернулся, вы ж ничего не сказали, вы же все молчите. А я думал, что вы вряд ли его еще помните, хотя он тоже, конечно, учился в этой школе. Сколько ему лет? То есть сколь-

ко лет ему было? Тридцать один. Господи, когда же это все кончится! Такой молодой! Ну, не такой уж молодой, я даже был поражен, когда он сошел с самолета. Постарел, конечно... И сразу на фронт? Не дав даже передохнуть? Нет, почему же? Дали три месяца. Идут-то нынче все, а он и не воевал вовсе. Но сразу в Иорданскую долину? Значит, не повезло. Признаться, я и сам не думал, что он еще годен на что-нибудь; а он был уверен, что пошлют караулить объекты там же, в Иерусалиме...

Пересекаем двор наискосок, он совершенно пуст и прямо горит на солнце.

...А как же теперь жена? Она американка, ни слова на иврите не знает. У нее кто-нибудь есть в стране? Нет, никого. А ребенок, сколько лет ребенку? Еще совсем маленький; пожалуй, годика три ему. Кто же теперь будет с ними? Как кто? Я с ними и буду...

И снова мы шагаем по коридору — уже по другому, — снова классы, двери, и парень один, весь красный, в форменной голубой рубашке бежит за нами.

В чем дело? Да вот, учитель забыл портфель и книги. Вот как! Неважно, дай сюда, я передам. А что вы там делаете в классе? Ничего не делаем... То есть сидим и ждем... мы ужасно потрясены... Может, вы все-таки допишете контрольную? Как, одни?.. Почему бы нет?..

Наконец мы в кабинете, головы опущены.

...Как давно я не заходил к вам в кабинет. Да, как это все было не нужно, эта наша размолвка... Садитесь, отдохните, наберитесь сил — впереди у вас еще много чего. Я и сам ведь не в себе, просто не мог поверить, когда мне вдруг позвонили. Может, позвонить в часть? Вы не хотите поговорить с ними? Нет, не нужно. И то. Пусть лучше приедут за вами. Может, позвонить, чтобы они сообщили жене? В университет? Нет, не нужно, я сам. Поеду вот в Иерусалим, не хочу, чтобы кто-нибудь меня опередил. Но это же невозможно! Вы один не справитесь. Нужно

позвонить в часть, они приедут за вами. Ведь и в больницу кому-то нужно будет сходить... то есть, чтоб опознать... ну, вы понимаете... Я сам и опознаю. Зачем вы встали? Сидите. Может, вам что-нибудь нужно? Вся школа к вашим услугам. Только скажите, мы все сделаем. Мне ничего не нужно, только бы скорее уйти, мне нужно идти. Хорошо, пойдемте, я провожу вас. А может, подбросить вас на машине? Ну зачем? Я ведь живу тут недалеко. Вы зря на меня так давите, как бы со мной опять не сделался приступ...

Но он все-таки провожает меня. Бросает школу, беспокойное свое царство, и идет рядом, несет мой портфель, пиджак, потрепанную мою Библию. В его глазах слезы, точно погиб не мой сын, а его. На каждом углу я пытаюсь увильнуть от него — хватит, мол; дальше я пойду один, — но он и слушать не хочет, будто боится оставить меня одного. У подъезда, под синим утренним небом, мы наконец останавливаемся. Стоим, точно две каменные скалы, покрытые белым мхом, а над нами — точно дым — выются слова утешения, в которые он не верит, а я не слышу.

Наконец он умолкает. Последнее слово замирает на его устах. Я беру свои вещи, пиджак, Библию, портфель, настойчиво прошу его вернуться в школу, но он упирается, точно боится, что я вот-вот снова упаду. Я протягиваю ему руку, он хватается ее, держит крепко и не отпускает, точно я каким-то таинственным образом приобрел вдруг сильную позицию, точно он теперь никогда уже не сможет расстаться со мной.

А я оставляю его у подъезда, вхожу в дом и застаю там какое-то незнакомое освещение, свет будничного утра. Я опускаю жалюзи (он все еще стоит у подъезда), раздеваюсь и иду мыться. Я знаю, ко мне будет подходить сегодня много народу, они будут дотрагиваться до меня, поэтому я долго стою под душем. Стою голый, сильно стучит в висках, а я пытаюсь сообщить о его смерти жене на ломаном анг-

лийском. Страхиваю воду, вытираюсь, надеваю свежее белье, достаю из шкафа толстый черный костюм и надеваю его. Опять выглядываю через щели жалюзи — директор все так же стоит у подъезда, погруженный в мысли, отрезанный от всего мира, и тогда я немного прибираю, выключаю телефон, закрываю последние жалюзи, и вдруг, точно кто-то с силой толкнул меня, валюсь на ковер, на котором они спали в ту ночь, и безудержно рыдаю. Потом я встаю, в квартире вроде темнее стало, а у меня болит голова. Слабым голосом зову директора, но его уже нет, он ушел, на улице теперь пусто; пожалуйста, проходите...

А затем ужин на веранде, весенним благоухающим вечером, под сенью дерева — ветви все в цвету. Они сидят все трое, щеки у них порозовели от сна, а я, ужасно уставший, с трясущимися коленками, ставлю перед ними хлеб и воду. Они достают из рюкзаков консервные банки, которые они привезли из своих странствий, и принимаются есть, словно они все еще в пути и сделали привал между двумя стоянками. А ребенок так и сидит в своем белом балахончике, сидит прямо, глазки блестят, болтает без умолку, соревется со сверчками в саду.

Сын весь ушел в еду; на него вдруг напал аппетит — он ковыряет в банках, отламывает хлеб, глаза у него влажные, а я тщетно пытаюсь расспросить, над чем же он работает, что именно изучает, какой предмет собирается читать здесь, не привез ли с собой новых вестей. Он посмеивается, пытается что-то объяснить, мямлит, ничего у него не получается. Он бы дал мне почитать, но я все равно ничего не пойму, тем более что все ведь по-английски. Может, все-таки пойму? Вряд ли. Это нечто совершенно новое, нечто связанное с историей и статистикой; уже один подход — целая революция...

Он продолжает есть, борода усыпана крошками, мощную шею нагнул, жует молча, а я व्यось вокруг него, тянусь к нему, сутки как не смыкал глаз, гово-

рю хрипло, с надрывом, пылающим голосом — о войне этой нескончаемой, о нашей изоляции, об утренних газетах, о том, что ребята в школе слушают плохо, о льющейся крови, о долгих часах в классе, об истории, разваливающейся на наших глазах; а рядом болтает мальчик, по-английски и без умолку, визжит и поет, бьет ножом по пустой консервной банке. Ночь тем временем вызвездила небо, невестка широко, взволнованно смотрит, улыбается мне, не понимает ни полслова, а все-таки слушает напряженно, восторженно кивает головой. Только сын слушает рассеянno, мне знаком этот его отсутствующий взгляд, он думает о чем-то другом, далеко, чужом...

А ночь опускается все ниже, каждый час я включаю приемник и слушаю последние известия; четкий голос диктора нещадно лупит в темноте, а сын ругает там кого-то, кто с ним не согласен, затем встает и начинает ходить по садику. Внук затих, сидит и рисует на огромных листах — ночь, меня, кузнечиков, которых он еще и в глаза не видел. И снова невестка рядом, я ей, видно, нужен все-таки, а английский мой ей нипочем. Она что-то медленно говорит мне, точно я тупоумный школьник, ее весенняя кофточка полуоткрыта, волосы откинута назад, на лбу черная лента, а сама — ни дать ни взять школьница, того типа, в которую я много, много лет — световых лет — назад мог бы влюбиться и бегать за ней годами — в душе.

А ночь все тянется, точно наваждение, и нас начинает обдавать росой. Вдруг она загорается, решает спать в саду, выносит одеяла и прикрывает одним малыша, опустившего голову на свои бумаги и мирно заснувшего, прикрывает и меня, и мужа, задымившего уже трубкой и крепко задумавшегося Бог знает о чем; он только время от времени перекидывается с ней парой быстрых английских фраз и целует ее с какой-то пугающей серьезностью.

Я пытаюсь уговорить их остаться еще хотя бы на один день, но они не могут, они должны устроиться,

найти жилье, садик для малыша; я беру свой транзистор, оставляю их в саду, а сам ложусь и тут же засыпаю. Лишь утром я еще вижу, точно сквозь сон, как они выносят свои узлы к черному такси, которое должно доставить их в Иерусалим.

А вот и ты едешь в Иерусалим — без всяких сборов, без сожаления, точно птица. Канун субботы, ясное утро, ты сидишь в прямом автобусе, пассажиров мало, почти все они листают газеты, и уже не ползеешь крутыми поворотами, но летишь с визгом по раздавшейся вширь долине, меж посторонившихся деревьев, так что уже и не знаешь — в гору едешь или под гору.

И вдруг как закричишь! Или тебе только показалось, что ты закричал. Так или иначе, а с изумлением смотришь, как пассажиры откидываются на высоких сиденьях, а газеты как бы на мгновение застывают в их руках. А ты встаешь и начинаешь прохаживаться по автобусу, и по одному тому, как они на тебя смотрят украдкой, ты догадываешься: опознали и тебя, и боль твою, но помочь, увы, ничем не могут. Ты чувствуешь, что вот-вот обдашь их всех блевотиной, но они что-то шепчут водителю, тот останавливает автобус, ты сходишь по металлическим ступенькам на обочину, где желтая полоса, кучки грунта и остатки асфальта, тебе кажется, что ты вот-вот облюешь весь этот ландшафт, горы, сосны, но не тут-то было: тебя обдувает свежим ветерком, дышать становится легче, а навстречу, далеко в стороне, точно по другому шоссе, летят легковые машины в долину. Ты возвращаешься в автобус, бормочешь извинения, пассажиры добродушно улыбаются: ничего, с кем не бывает...

Не проходит и часу, и вот ты уже тащишься по холмам Иерусалима, утопаешь в невыносимо, до боли, ярком солнце, пробираешься к дому убитого сына, в пограничном — еще недавно — районе, где из развалин вырос жилой квартал. Каменные переулки покрываются асфальтом, древние выгребные

ямы присоединяются к канализационной сети, руины превращены в жилые дома, а во внутренних дворах ползают на четвереньках малыши. Наконец-то нашел дом, дотрагиваешься до обитой железом двери — и она тут же открывается, зато дышать становится нечем, так как весть, которую ты принес, застряла в горле. Ты тихонькоходишь в квартиру, но там все вверх дном — идет уборка: шторы отдернуты, стулья торчат ногами вверх на столах, вазоны отдыхают в креслах, посреди комнаты валяются половая щетка и совок, ведро и тряпка. А из радиоприемника громом льются арабские марши в исполнении хора и барабанов; служанка, очень старая арабка, что есть силы выбивает красный ковер. Ни новостей нету дома, ни малыша. Ты едва плетешься, спотыкаешься об огромные, стертые прежними поколениями каменные плиты и из далеких глубин, под громовую арабскую музыку, пытаешься выжать из себя несколько арабских слов: "Я асмай... эль валад... абни... мэт..."*

Удивительнее всего то, что она нисколько не испугалась моих воплей: она сразу поняла, что я тут свой человек, что ворвался не просто так; может, сходство какое-то заметила. И вот она медленно подходит ко мне, с выбивалкой в руке, очень старая (и где только они ее нашли?), вся в морщинах и, верно, глухая — радио-то гремело на полную мощность. Я снова что-то ору, показываю рукой на приемник, она кидается к нему, приседает у очень сложного на вид аппарата с множеством динамиков, нажимает какие-то кнопки, и пение замирает; остается только приглушенный барабанный бой из скрытого динамика. Затем она возвращается ко мне — ни дать ни взять ссохшаяся обезьяна, согнутая в три погибели, закутанная во множество одежд, с огромным платком на голове; вернулась и ждет.

— Абни... — делаю я новую попытку и умолкаю.

*Послушай... дитя... мой сын... умер.

Меня душат слезы, я начинаю мотаться по квартире между опрокинутыми стульями и комнатными растениями, с которых капает вода, между картонными коробками (все еще не распакованными), трансформаторами и пластинками, разглядываю за американским этим балаганом квартиру сына, в которой мне так и не довелось еще побывать; она за мной, под бой барабана, босая, с выбивалкой в руке, поднимает с пола то один предмет, то другой, передвигает кресла, опускает шторы и еще больше усугубляет беспорядок.

И вот я в спальне, а постель там так и осталась неубранной, всюду валяются длинные платья, простыни и подушки смяты; в углу все те же картонки, одна на другой.

Надо будет подготовить квартиру к трауру...

Я сажусь на кровать, смотрю на изогнутые линии сводов, начинаю постигать план этого дома, а старушка не отходит от меня ни на шаг; думает, видно, что нельзя оставить меня одного, хочет помочь, услужить мне; ждет, может быть, чтобы я прилег, и тогда она меня укроет, и опять я пытаюсь объяснить ей все очень тихим голосом.

— Абни мэт... валди...

Наконец-то она поняла.

— Эль заир?* — спрашивает, точно у меня много сыновей.

В отчаянии я встаю, чтобы отвязаться от нее, но она смотрит так преданно — может, потому, что я такой старый, — ждет приказаний; видно, свыклась уже с мыслью, что в этом доме она никогда не поймет, что ей говорят, но она совершенно потрясена, когда я начинаю убирать спальню. Я складываю постельное белье (между скомканными одеялами обнаруживаю телефон и тут же выключаю его), набрасываю на кровать покрывало, складываю платья и заталкиваю их в картонки, а там обнаруживаю пелен-

* Маленький?

ки, совершенно новенькие, в целлофане, толстые пачки пеленок, словно они собирались произвести на свет племя целое.

А в той комнате по-прежнему бьют барабаны...

Беспокойная старуха все крутится около меня, хочет помочь, но не знает как, вдруг начинает говорить: не то рыдать, не то вопить, все снова и снова повторяет одни и те же слова, пока я понял наконец — она подумала, что речь идет о малыше.

— Нет, нет, не малыш, — наклоняюсь я к ней, и в нос мне ударяет запах дымных костров. — Его отец...

Но от этого ей не легче, наоборот, она визжит еще пронзительнее.

— Как, его отец...? — ей просто не верится, и она пятится.

Но меня внезапно охватила тревога за малыша, я хочу найти его, привести домой, она сразу поняла, схватила меня за рукав, потащила к порогу, и, размахивая руками и вопя, показала мне дорогу в сторону узких переулков, в детский сад.

И вот я в залитой солнцем комнате, дети сидят со скрещенными на груди руками на маленьких стульчиках, расставленных по кругу, все в голубых передничках — своего я почему-то не вижу, — сидят очень тихо и прислушиваются к неторопливому, уверенному, напевному голосу воспитательницы. Уже много, много лет я не видел таких спокойных детей, я даже не представлял, что они вообще способны вести себя так тихо. А тут вдруг врываюсь я, точно в бреду, весь в черном, шагаю через кучи огромных кубиков, все ищу и ищу его, и именно здесь, в детском садике, у меня что-то надрывается внутри; мне так и хочется опуститься на колени возле маленьких этих полотенец, вывешенных в ряд, у рисунков, разбросанных по стене. И тут же короткий вскрик воспитательницы.

Беда у нас случилась —

Сегодня на рассвете.

Но она, бледная вся, не услышала фамилии, думает, это я над ней насмехаюсь или попал, может быть, не в тот садик, но тут вдруг выпрямляется он сам, вырастает на своем месте, точно стебелек, очень серьезный, все еще со скрещенными на груди ручонками, молча демонстрирует, что он мой, внимательно выслушивает воспитательницу, которая вдруг все поняла, подошла к нему, обняла, говорит ему что-то по-английски, поднимает его на руки и выносит из круга. И вот уже ему надевают на шею сумочку для еды, на голову — синюю шапочку, он еще о чем-то просит на своем языке, и ему немедленно дают картинку, которую он нарисовал в это утро; сквозь туман, застилающий мне глаза, я вижу — на листочке красное солнце, разбрызгивающее лучи во все стороны. И вот уже его ручка в моей, и мои пальцы смыкаются вокруг нее. Все-таки отдали мне его, хоть я ничего им и не рассказал толком, хоть я мог быть случайным стариком, который зашел в детский сад, чтобы увести оттуда ребенка.

И снова я у них в квартире. Босая арабка ходит неслышно по кухне. Малыш тоже там, он обедает сегодня раньше обычного. Время от времени слышно несколько ласковых фраз. Она говорит ему что-то по-арабски, а он отвечает по-английски. Через открытые окна доносится далекий шум. Мы ждем теперь только его мать. Пройдет день, два, и все тут изменится: в комнаты набьется народ, а месяца через два и вовсе ничего не останется. Она запихнет малыша в рюкзак, наденет его на плечи и вернется туда, откуда приехала. Вот, над вещами, точно легкое облачко, уже вьется запах тлена. Я отыскиваю его рабочий закуток, вхожу и закрываю за собой дверь. Темновато здесь и прохладно. На полу кучи книг, а стол завален бумагами. Он оставил все как было и ушел на фронт. Безумие поколений. Я обхожу стол кругом, дотрагиваюсь слегка до его бумаг. Тут сам черт ногу ломит. Вот уже пятнадцать лет как я не проверял его тетрадей. Тщетно пытаюсь сделать,

чтобы было немного светлее. Ставень заклинило, не открывается никак. Возвращаюсь к столу. Над чем же он работал, какие у него были планы, с какого боку мне тут подойти? Тронул первый слой — и сразу на пол посыпались счета за телефон, за свет, циркуляры из университета. Он тоже что-то вроде учителя. Берусь за второй слой — опять выписки из банковского счета, толстые иллюстрированные журналы на английском языке, о которых я никогда и не слыхивал, рекламные портреты мужчин, наполовину голых, в патлах, жирные и тощие революционеры, как видно, демонстрируют новые "бабочки" либо полосатые брюки; миниатюрные электрические приборы непонятного назначения, а вот и его трубка, и в нос мне ударяет запах какого-то незнакомого табака. Таинственные опознавательные знаки моего сына. Мой мальчик! У меня опять кружится голова, застилает глаза. Я опять иду к окну и изо всей силы пытаюсь раздвинуть жалюзи. Лишь световая пыль да тоненькая струя воздуха. Сквозь щели мне открывается новый вид на вади* — все в цвету, — а на той стороне — новые университетские корпуса. Возвращаюсь к столу, продолжаю рыться. Какие-то оттиски, полученные от коллег. Статистические диаграммы. Надо будет прочесть когда-нибудь и это. Ключки бумаги, исписанные его почерком, названия книг. Соблазны новых идеологий. Кладу в карман всего понемножку. А вот и нечто осязательное: стопка листов, исписанных его почерком, — наполовину по-английски, наполовину на иврите. Заголовок — PROPHECY & POLITICS. Может, новая книга или статья. Выдвигаю ящики — вдруг там личный дневник или что-нибудь в этом роде, — но как раз они-то и пусты. Еще трубки, неисправная фотокамера, мешочки со старыми лекарствами и фотокарточки жены, прямо-таки неприлично молодой, на фоне деревьев, горы, автомоби-

*Вади — овраг, ущелье.

ля, реки. А дальше, на самом дне ящика, маленький острый ножик с инкрустацией, на нем выгравировано слово PEASE.

Слышу, открывается входная дверь, стучат легкие женские шаги, звучит ее смех. Тут же певучий голос малыша, жаркий шепот арабки. И уже меня заливают сноп света, проникающий через отворяющуюся дверь. Она в легком платье, чуть вспотевшая, сумка через плечо, темные очки — прямо туристка. Стоит, изумленная неожиданной моей вылазкой, пытается улыбнуться мне, но я утонул в кресле по другую сторону стола, неуклюжий, весь в черном и держу в руке ножик.

Она делает несколько легких, быстрых шагов в мою сторону, внезапно останавливается, что-то чувствует, ее охватывает страх, точно от меня на самом деле веет смертью.

— SOMETHING WRONG? — дрожит ее голос, будто именно я вот-вот умру или скрываю под костюмом смертельную рану.

Я выпрямляюсь, выпускаю из рук ножик, сноп теплого света так и бьет по мне, делаю несколько шагов, вхожу в тень. Бормочу утреннюю новость на древнем, библейском иврите, знаю — она ничего не понимает, да и слова застревают в горле. Меня заливают вдруг острая жалость к ним, я глажу малыша по головке, наклоняю голову перед старой арабкой и следую дальше — через теплый свет квартиры, через входную дверь, которая так и осталась открытой, — в сторону все более и более открывающегося передо мной оврага, в сторону университета. Надо будет позвать оттуда кого-нибудь на помощь.

По прямой — чуть ли не воздушной — линии я пересекаю вадии. И тут, в зарослях, в цветущей этой впадине, надо мной на мгновение исчезает солнце, и я всей душой, в каком-то голодном экстазе, отдаюсь тебе, только тебе. Убитый мой! Единственный! Зову из бездны, вот уже и полдень прошел, суббота на подходе, а никто в Иерусалиме не знает, что тебя

уже нет. Твоя жена так и не поняла ничего. Я допустил ошибку: все-таки надо было дать властям выполнить свои обязанности.

Кругом скалы, склон ужасно крутой, кустарник растет неизвестно откуда — земли-то никакой не видно, — путается в ногах, кто бы мог подумать, что в двух шагах от университета такая глухомань.

Наконец-то я взглянул на твои бумаги. Ты напрасно боялся, что не пойму. Я понял сразу, ты меня с ходу вверг в восторг, в жар, в отчаяние. Ты вернулся, чтобы прорицать здесь, я с тобой, сын человеческий, я набил карманы твоими бумагами, возьму вот и засяду за английский по-настоящему, поднимусь в горы и буду ждать вдохновения.

И вот я пробираюсь через колючую проволоку, идущую вдоль университета, у бокового фасада одного из мраморных корпусов, держу в руке сучковатую ветку; давно я уже здесь не был, и корпуса расположены как-то по-другому. Ищу твой факультет, блуждаю по коридорам среди кислородных баллонов, темноватых лабораторий, маленьких библиотек, оранжерей и гудящих компьютеров, а городок университетский пустеет на моих глазах, студенты уходят.

На площади у центральной библиотеки я останавливаю в отчаянии последнего из профессоров, нагруженного книгами, но он не слышал твоей фамилии и в смущении показывает мне, как пройти в контору. А оттуда группами выходят служащие, выслушивают меня внимательно, говорят, что телефоны уже все отключены, да и не вправе они принимать от меня такое известие. И до меня вдруг доходит, что они меня принимают за полоумного или за вечного студента, чудака, который хочет обратить на себя внимание. Ничего удивительного — черный костюм, довольно запыленный, в руке эта палочка. Палка подозрительнее всего.

Я тут же бросаю ее, прямо на площади, и бегу назад на факультет, попадаю в освещенный холл с мно-

жестом ярусов, по самому верхнему ходит толстый привратник и возится со ставнями. Из глубины, с самого низа, я ору и спрашиваю о тебе, а он-то как раз и слышал твою фамилию, помнит тебя даже в лицо: "Это тот новый профессор с растрепанной бородой?" — спрашивает, спускается ко мне, гремит ключами и провожает меня в твой кабинет в конце коридора. На двери кабинета висит длинный список студентов, желающих записаться на твой курс, рядом сообщение секретариата, что тебя забрали в армию, а рядом — список книг, которые ты предлагаешь своим студентам прочесть, пока тебя не будет. Я все эти бумаги снимаю, переворачиваю, складываю и пишу на обороте первое траурное объявление. Привратник читает его, заглядывая мне через плечо, и как раз он-то верит мне сразу, приносит мне еще кнопок, чтобы как следует прикрепить эти бумажки к двери.

Потом мы спускаемся по ступенькам, я рассказываю ему о тебе все, и наши шаги гулко звучат в пустом здании. Сумрак здесь приятный, глаза прямо отдыхают, я немножко задерживаюсь, шагаю еле-еле, я бы с удовольствием побыл здесь еще немного, но привратник вдруг теряет терпение и энергично выпроваживает меня из корпуса вон, на пылающее солнце.

А оно и впрямь пылает с каким-то сладострастием, словно готовит земной шар к последнему и решительному пожару. Я сказал в опрометчивости своей — начало лета, когда оно уже в самом разгаре. И снова я околачиваюсь в пылающей одежде между корпусами, этими запертыми уже лабораториями духа, ступаю по вялой траве иерусалимской, меня так и тянет к стайке американских студентов, которая, пожалуй, одна только и осталась во всем городке; они загорают, упиваясь солнцем на одном из газонов, босые, бородатые, некоторые даже полуголые, положив под головы тетради и Библии на ан-

лийском, прокручивают какую-то поп-музыку на карманных своих магнитофонах. Еще издали они окликают меня YOU GUY, точно хотят, чтоб я к ним подошел. А я и в самом деле подхожу, вхожу в самую середину, шагаю через ноги, задеваю их белые нездешние тела, хлопаю по ним веточкой — она у меня снова в руке. Ведь если бы я тогда крепко захотел, я бы тоже мог стать профессором.

А где-то там на горизонте — горы Моав.

Они смеются, вялые такие, может, наглотались чего, говорят мне: "YOU OLD MAN", — думают, чего доброго, что я спекулянт, пришел продавать им наркотики. Но все равно я им пришелся по душе. "YOU'RE GREAT", — говорят, катаясь по земле, по чахлой траве, не знают ни слова на иврите, только третьего дня их выгрузили в аэропорту. Я нагибаюсь к ним, готов хоть сию минуту устроить им экзамен, проверить их знания по Библии, начинаю беседовать с ними на своем ломаном, невозможном английском, который — удивительное дело — им вдруг совершенно понятен.

— HEAR ME CHILDREN MY SON KILLED IN NIGHT, IN JORDAN I MEAN NEAR THE RIVER... — и протягиваю руку к горизонту, исчезающему в синей дымке.

А они приходят в восторг, смеются, говорят: "WONDERFUL" — и хлопают меня по спине, готовые принять меня, включить в свою компанию, осквернить этой музыкой, ритм которой становится все быстрее и безумнее.

"...Я очень благодарен вам, дорогой друг, что вы предоставили мне почетное право произнести вместо вас прощальную речь перед нашими выпускниками на церемонии вручения свидетельств об окончании школы. Я знаю, это вам далось нелегко. В конце концов, вы уже много лет не проводили ни одного урока, не пачкали рук мелом, не притрагивались к красному карандашу для проверки контрольных. Вы уже давно не торчите перед учащимися час за часом, так

как занимаетесь организацией учебного процесса, которая вам дороже самого образования. Несмотря на это, или именно поэтому, вы с нетерпением ждете торжественного часа, когда сможете выступить как представитель интеллигенции, в присутствии наших измученных родителей, перед этими молодыми людьми, в особенности в эти необычные наши дни.

Кто же нынче не обрадуется возможности выступить перед молодежью. Ведь нас буквально снедает вожделение обратиться к вам, дорогие ученики, лохматые, косноязычные, несколько даже, что ли, туповатые, взрослые недоросли, лишенные идеологии, гоняющие на отцовских машинах, пляшущие какие-то дикие танцы в подвалах, бесстыдно обнимающиеся в подворотнях, и вместе с тем — такое умение, такая готовность умереть. Копаться в бункерах месяцы целые под непрерывным огнем, бросаться в ночные атаки сквозь неприятельскую колючую проволоку, такие молодые и такие, в сущности, дисциплинированные, все снова и снова поражающие нас своим послушанием. Разве не так, дорогие родители?

Уважаемые родители, я выступаю перед вами не как старейший учитель, а как человек, который перестал быть отцом. Вот я стою перед вами, я не готовился к этой встрече, а пришел как есть, обросший бородой из-за траура, в будничной темной одежде. Нет у меня для вас никакой благой вести, но мне хочется приободрить вас. Вот и у меня погиб сын, не такой уже и молодой. Мы думали, его пошлют караулить объекты в Иерусалиме, а его на самом деле послали в Иорданскую долину. Тридцать один год ему было. Единственный сын. Любимый. Дорогие родители, ребята, я не хочу расстраивать вас еще и моим горем, но прошу вас: взгляните в меня хорошенько, дабы вас не захватило врасплох, потому что, если разобраться, сам я был в некотором смысле готов к его гибели, и именно это помогло мне выстоять в страшную минуту.

И уже в ту пятницу, когда мне сообщили о его смерти, еще до того, как я отправился опознавать его, когда я скитался по газонам между корпусами университета, уже тогда я начал думать о вас, о словах, которые я вам скажу, о том, что из личного горя каждого засияет всем нам общая правда...”

Из далекой дали, из-за летних облаков, словно на аэрофотосъемке, я гляжу вниз на самого себя. Ничтожная песчинка отрывается от белесых кубиков и медленно катится по нескончаемой асфальтовой реке. Перекресток. А вокруг — сердце государства: громоздящиеся министерства, красноватое здание Кнесета, сверкающий белизной музей, сосны, похожие сверху на мягкий мох, холмы с изъеденными склонами, оскопленные скалы, ленты шоссе друг над дружкой, явные потуги опрокинуть ландшафт. С востока ползет черное чадающее пятно, останавливается у песчинки и заглатывает ее.

Это — старое такси, его точно выкатили со свалки, и я падаю на пропитанную потом, изодранную обивку сиденья и указываю ему направление.

На юг. Сквозь раскаленный воздух упрямство так и прет. Кладбищенская гора, могилы, извивающиеся какой-то издерганной вязью, а вокруг еще и еще здания, большие жилые кварталы, леса, краны, точно установки для запуска ракет. Дома словно совокупаются между собой. Неземная сила каменных самцов.

А шофер — небритый малый без возраста — лузгает семечки, что-то хрипло напевает, неотрывно поглядывает на меня в зеркало, готов вступить в беседу.

Но я опускаю веки.

Такси петляет по крутому склону, спускаясь в вади и волоча за собой развевающийся плотный шлейф. А вот и больница. Опрокинули красную скалу, и встала плотина вся в окнах, безмолвствующая в зное, и маленький вертолет кружит над ней, точно хищная птица.

Из моей одежды торчит трава. Я подремываю, что-то мне грезится не то наяву, не то во сне. Машина гремит, дверцы стучат, окна дребезжат. Визг рессор ввергает шофера в какой-то экстаз. Разочаровавшись во мне, он принимается петь во весь голос, ничуть меня не стесняясь, бьет рукой по баранке.

Но я витаю где-то высоко, все пытаюсь обозреть ландшафт. Длинные ущелья тянутся от Иерусалима до самых гор Хеврона, льются, вгрызаясь в обнаженные извечные холмы. Масличные рощи, каменные ограды, овечьи стада, распрекрасный вид, древнее величие, неизменное, тысячи лет, а оттуда, если смотреть с высоты, видно и море, и каемка пустыни. Жуткая страна нещадно хватает меня за затылок.

Я слегка дотрагиваюсь до затылка водителя, он обрывает пение. Начинаю говорить, он сначала не понимает, думает, я тронулся умом. Но на коротком расстоянии, оставшемся до больницы, я успеваю рассказать ему главное.

Вот, тридцать один год всего —

Единственный сын —

На рассвете —

И точно — меня ждали, как обещали еще утром, посреди мощеной площади, среди гор; военный раввин, грузный, с рыжей растрепанной бородой, этакий пророк в защитном, торчит на солнцепеке и ждет. Как только такси подъезжает ближе, он меня сразу узнает, словно у меня на лбу написано, торопливо хватается, видно, боится, что я возьму и шмыгну в один из стеклянных подъездов, зияющих вокруг.

— Вы отец?

— Я отец.

— Один?

— Один.

Он поражен. Его глаза горят. Как можно? Как это меня пустили одного? Ведь это не только опознание, но и последнее прощание.

Это я знаю, а вот что сказать в ответ — не знаю.

Я кидаюсь к нему, наконец-то передо мной настоящий раввин, духовное лицо, что ни говори. И я молча прижимаюсь к его пропотевшей одежде, трогаю его погоны, а он, пораженный неожиданным моим порывом и беспомощностью, сквозящей из темной моей одежды, обнимает меня тоже, низко опускает плечи, в глазах у него слезы, и мало-помалу, все так же в обнимку, ведет меня навстречу солнцу, нещадно заливающему нас, бережно затаскивает меня внутрь.

В огромный пустой лифт, и мы сразу начинаем спускаться в бездну, медленно, уже не в обнимку. Я снова говорю, но механически, не слыша собственных слов, я все боль ищу, а слова звучат где-то в отдалении, на затянутом туманом горизонте: я их произнес сегодня уже столько раз — тридцать один год, без пяти минут профессор, единственный сын. Всего лишь несколько месяцев назад вернулся из Штатов, бородатый, я его почти не узнал. Любимый. Оставил жену-американку, молодую, непонятную. Оставил мальчика, рукописи, незаконченный труд, коробки, разбросанные по квартире, провода и трансформаторы. Можно сойти с ума. Наши дети гибнут, а мы остаемся с вещами...

Я все еще говорю о нем, словно он далеко, лежит где-то там в пустыне, а не в нескольких шагах от меня, словно я не добираюсь к нему вот этим медленным, но уверенным падением, прекращающимся наконец неслышным сотрясением, от которого глаза раввина загораются. Дверь автоматически разъезжается перед нами.

Он хватается меня за руку, потому что я обнаруживаю первые симптомы склонности к побегу. Ведет меня освещенными коридорами подземелья, насыщенного дыханием моторов. Из проходов между коридорами на нас вдруг веют сквозняки. В небольшой конторе нас встречают. Врачи и просто граждане опускают головы при моем появлении. Закрывают на мгновение глаза. Некоторые тут же отступают и сматываются, но есть такие, которые прямо

тянутся ко мне, хотят дотронуться до меня. Раввин шепчет:

— Это его отец, один.

И я от страха опять начинаю бормотать известные уже фразы.

Кто-то подходит ближе, чтобы лучше слышать, все безмолвствуют.

Есть какая-то необыкновенная нежность в том, как эти люди ко мне относятся, как усаживают меня на стул, надевают мне на голову кипу, ловко достают из моего кармана удостоверение личности, что-то записывают, открывают какую-то боковую дверь; когда же они мне помогают потом встать, я в состоянии невесомости — меня как бы выносит не то на крыльях, не то на руках в зал с цементным полом и множеством перегородок, шелестят белые крылья.

В помещении слышно журчание воды, словно где-то бьют родники.

Пролитая кровь —

Мое дитя. Проклятие, обрушившееся на меня —

Кто-то уже стоит у одной из перегородок, откидывает в сторону завесу, откидывает и простыню, а я, все еще издали, мучимый каким-то жутким любопытством, едва дышу, сердце почти не бьется, вырываюсь из их рук и подплываю туда, посмотреть на бледное лицо убитого молодого человека, лежащего под простыней, голого, с тоненькими ниточками крови вокруг помертвевших глаз, чуть-чуть приоткрытых. И вдруг мне становится страшно, ермолка сползает с головы.

Гробовое молчание. Люди не спускают с меня глаз. Раввин стоит недвижно, его рука на груди, того и гляди, вытащит шофар и закатит нам трубный глас.

— Это не он... — шепчу я наконец в страшной растерянности, в нарастающем отчаянии, под шум воды, журчащей в этом распроклятом помещении.

Кто-то включает свет, как будто дело в свете.

Безмолвствуют по-прежнему. Я вижу — никто не хочет понять.

— Это не он, — снова говорю я, беззвучно, бездыханно, хватая воздух. — Вы, видно, ошиблись.

Наконец-то они тоже выказывают признаки растерянности. Раввин кидается к клочку бумаги, прикрепленному к носилкам, и громко читает фамилию и имя.

-- Только фамилия и имя соответствуют... — говорю я все еще шепотом и отступаю назад. И в гробовой тишине я возвращаюсь в контору, которая вдруг стала для меня оазисом в пустыне.

Сзади раввин принимается ругать кого-то, и изумленная кучка людей разваливается на глазах.

Канун субботы, уже поздно. Хоть отсюда и не видно ни солнца, ни гор, но я знаю — мы на окраине города, в подземелье больницы, громоздящейся над диким ущельем и все глубже и глубже вгрызающейся в него. Людям хочется домой; чем ближе подходит суббота, тем дальше отходит от них город. Они терпеливо ждали, потому что знали — это недолго, несколько минут всего: вошел, посмотрел, поплакал, сказал последнее прости; может, еще бумагу какую подписал, ведь должен же остаться какой-то документ. В конце концов, не я первый, не я, конечно же, и последний.

И вот я их задерживаю. Мне от души жаль этих людей, входящих в контору с опущенной головой, словно они в чем-то провинились. Они что-то хотят сказать, но видят, как я сижу в углу, и у них слова как-то ломаются. Такое жуткое недоразумение. А за стенами я слышу звонки, лихорадочные разговоры по телефону. Они пытаются распутать все это еще до того, как я предамся ложным надеждам.

Но я не предаюсь решительно ничему. Только выпрямляюсь, встаю на ноги и молча смотрю на людей. Это всего лишь перерыв, говорю я самому себе, временное прекращение огня. Но людей это мое вставание пугает, они думают, что я начну сейчас скандалить,

они даже готовы к этому, но я и не думаю скандалить, а только принимаюсь ходить по комнате туда-сюда, от одной стены к другой, точно лунатик, и вдруг я, как собака, нахожу на столе тарелку, а в ней засохшее печенье, достаю одно, кладу в рот и начинаю жевать. С самого утра маковой росинки во рту не было.

Но пища застревает у меня в горле, точно я положил в рот вонючую гадость, ползучего какого-то гада.

Меня рвет —

Наконец-то —

Они этого ждали, были к этому готовы. Привыкли, видно. Сразу же усаживают меня, обтирают, подносят какую-то остро пахнущую жидкость.

— Это не мой сын... — бормочу я, а в лице у меня, чувствую, ни кровинки.

Снова входит военный раввин, вид у него страшный, глаза горят, он в отчаянии, борода растрепана, фуражка съехала в сторону, только звездочки по-прежнему блестят на погонах, он молча приглашает меня войти еще раз в помещение, где журчит вода.

Теперь передо мной уже не одна, а три перегородки. Сильный свет, все лампы включены; они думают, что дело в свете, что при сильном свете им легче будет убедить меня. С ними никогда еще ничего подобного не случалось, и эта путаница их прямо пугает. И опять я не выдерживаю. Пролитая кровь... Господня кара... Опять нечем дышать, и сердце безмолвствует. Плыву молча от носилок к носилкам, потерянные лица, молодые парни, что твои школьники, только глаза зажмурены.

Не он.

Подводят меня еще раз к первым носилкам, они, видно, решили-таки свести меня с ума.

— Мне очень жаль... — речь обрывается, и я падаю на военного раввина, на канавки, высеченные вдоль стен, которые наконец-то открываются моему взору.

Кажется, мне все-таки придется разобрать тот миг, когда я узнал о его смерти.

Летнее утро, небо разодрано от края до края, июнь, последние дни учебного года, я встаю поздно, в теле какая-то слабость, с трудом прихожу в себя, плохо ощущаю время, и сразу на меня наваливается пылающее солнце.

Поднимаюсь по ступенькам школы, звонок уже был. Его отголоски дребезжат в листве деревьев, где-то там в зеленоватом воздухе. Шагаю по пустеющим коридорам, вместе с последними школьниками, спешащими в классы, пробираюсь в свой выпускной-А, который — я еще издали чувствую — нервничает и сердито гудит.

Сбившиеся кучей у двери замечают меня издали, чертыхаются и спешат на свои места: класс предупрежден. Последний визг девушек. Я уже на пороге, они напряженно стоят у своих табуреток, на столах разложены чистые листы, точно белые флаги в знак капитуляции, Библии спрятаны.

Вот так, я их терроризирую преподаванием Библии.

Каждая контрольная приобретает какое-то жуткое значение.

Я здороваюсь с ними, они садятся. Вызываю одну из учениц, она выходит к доске, изящная, длинные волосы, берет у меня, не говоря ни слова, бланки контрольной, обходит молча ряды столов и раздает их. Глубокая тишина, поникшие головы. Напряженный столбняк первого, лихорадочного ознакомления.

Я знаю: очень трудная контрольная. Никогда я еще не составлял такого беспощадного текста. Они поднимают головы, лица начинают гореть, вспыхивает немая растерянность. Они бросают друг на друга взгляды, полные отчаяния. Некоторые поднимают руку, но я стою высоко над ними и жестом заставляю их опустить руки. Они ошарашены, так и не поняли моей цели. Сказать они ничего не могут, потому что я не даю. Сидят одиноко, каждый на своем месте. Вдруг, словно им света мало, кто-то встает и раздвигает шторы. Но от этого толку мало. Сильный свет,

который сейчас заливает класс, их еще больше раздражает. Они пытаются написать что-нибудь, грызут ручки, но ничего у них не получается, некоторые уже комкают бумагу. Один, с пылающим лицом, встает и демонстративно покидает класс. За ним второй, третий, вроде взбунтовались. Наконец-то!

В эту самую минуту раздаются торопливые шаги директора. Может, до него уже дошел слух. Он открывает дверь, входит бледный весь, запыхавшись, даже не смотрит в сторону ребят, а сразу направляется ко мне, хватая за рукав — мы с ним уже три года не разговариваем — и вдруг, на виду у ребят, обнимает меня за плечи и шепчет: одну минуточку... оставьте их... неважно... пойдемте со мной...

Первый вариант — не сопротивляться. Отпустить людей. Не отнимать у них время. Не бороться со слабеющим солнцем. Дать всем спокойно вернуться в Иерусалим, отпустить домой и раввина. Самому выйти тоже из игры, распрощаться со всеми, спуститься с гор, вернуться домой, пусть и не засветло, пробраться украдкой темной нашей улицей, войти через заднюю дверь и первым делом закрыть ставни. Раздеться, ни о чем не думать, никому ничего не говорить, а отключить телефон, запереть двери и ждать. Постелить постель и попытаться заснуть. Ждать нового извещения, более авторитетного.

Второй вариант — заупрямиться, бузить, рвать на себе одежду. Наброситься на военного раввина, на всех. Потребовать от них доказательств. Поднять людей для новых поисков. Колонна машин на улицах Иерусалима в самый канун субботы, разезжать от одной больницы к другой, копаться в подвалах, спуститься в самую преисподнюю, но найти его.

Еще один вариант — не шевелиться. Ничего не делать. Лежать вот так на этих носилках, под этим одеялом, прямо в этой больнице, тут же в этой конторе. Вот кто-то уже подносит к моим губам стакан воды.

Открываю глаза. Это военный раввин, этот дикого

вида пророк, впавший в отчаяние; кругом стоят врачи, а он собственноручно, очень бережно поит меня водой.

Он чувствует, что я жду от него объяснения —
Но у него нет объяснения —

Непонятно все это.

У него даже слов нет.

За всю службу с ним ничего подобного не случилось.

Не только он — никто тут ничего не понимает.

Произошла какая-то роковая ошибка —

Телефонными разговорами тут ничего не сделаешь, он это прекрасно знает. Надо начать с первоисточников: с дивизии, полка, может, даже батальона.

Трудно мне, что и говорить, но кто знает — может именно потому, что трудно, выйдет еще воскресение.

Ему не хочется произнести это слово, уж больно оно непомерное. Он очень боится ложных надежд.

В Мидраше есть одно чудное место, очень умное, ну да теперь не время.

Страшное время, совсем безумное —

Бегают с одних похорон на другие.

По вечерам сидит дома и обновляет надгробные речи —

И, нагнувшись ко мне: оставаться здесь, на этих носилках, под этим одеялом — толку никакого.

Надо подняться в Иерусалим —

Если можно, еще до наступления субботы —

Предлагает поэтому крепиться, то есть, если, конечно, у меня осталось хоть немного сил. Сбросить с себя одеяло, слезть с носилок. Теперь меня уже никуда не отпустят одного.

Кстати, и с точки зрения Галахи мое положение не совсем ясно — обязан ли я надрезать лацкан пиджака в знак траура или не обязан. Однако на всякий случай, да чтобы я не строил себе иллюзий, да и суббота на носу, он достает из кармана маленький ножик, сбрасывает с меня одеяло и, хоть я и не встал еще,

делает на моем пиджаке длинный надрез, поближе к сердцу.

И вот мы поднимаемся из недр наверх, все в тихом том лифте и в том же темпе, выходим, пошатываясь, все на ту же площадь, но застаем там уже другой свет, иной воздух, признаки нового безмолвия. Затем мы начинаем выбираться из вади, из внутренностей гор, а вместе с нами выбирается и солнце, застрявшее сверху на лакированном кузове небольшой военной машины раввина, самоотверженно правящего ею, сигналившего во все стороны.

Есть какая-то особая отрешенность в летних улицах Иерусалима, на которые победно наваливается мощь субботы. Я думаю о своем доме, о нашей улице, утопающей в зелени в этот час, густо пахнущей цветением, полной гомона обывателей, моющих машины, и звуком воды, булькающей вдоль тротуаров.

И вдруг — осень, над соснами и кипарисами плывут облака, а мы въезжаем "на всем скаку" в огромный и пустынный военный лагерь, расположившийся в перелеске на одном из холмов, и в эту самую минуту из города поднимается зов сирены, извещающей о наступлении субботы, — эдакий пронзительный вой, отбрасывающий длинные тени на земле. Раввин мгновенно тормозит, выключает мотор, выпускает из рук баранку, прислушивается к звукам, словно ловит какое-то новое откровение, затем отправляется искать кого-нибудь из штаба дивизии.

Но никого нет. Только бараки, окна которых заколочены досками, сиротливые бетонные площадки, успевшие потрескаться, маленькие желтые дощечки на столбиках с выписанными на них номерами полевой почты. Сама часть ушла на передовую, оставив за собой только побеленные известкой строения и размашистые надписи на стенах: батальон первый, интендантство, столовая, молельня.

Колючая проволока прорвана, попадала и скрежещет под ногами, а я все иду и иду за раввином, он обходит барак за барак, стучится в безмолв-

ствующие двери, куда-то исчезает и снова появляется — его борода мелькает между деревьями.

А я, никогда в армии не служивший — в Войну за Независимость я только и делал, что дежурил у шлагбаумов, — валюсь на какой-то камень, торчащий посреди учебного плаца, над сердцем у меня зияет траурный надрез, а в нос бьют запахи древних войск.

Такой ужас —

С самого утра я все глубже и глубже погружаюсь в бездну.

Это жуткое безмолвие кругом.

И, словно из-под земли, вокруг меня начинает собираться народ: полуголые волосатые бойцы в незашнурованных ботинках, с полотенцами в руках и маленькими транзисторами, в которых гудят субботные песнопения, усталые шоферы, вывалившиеся из какого-то барака, — видно, мыться шли под душ. Они окружают меня со всех сторон тут же на учебном плацу и молчат. И снова я, серый и усталый, все с той же сказкой: тридцать один год. Утром сообщили по телефону. Преподает в университете. Оставил жену и малыша. Они еще ничего не знают. Я поднялся вот в Иерусалим, чтобы опознать, а это не он...

Их ошеломление —

Комкают полотенца —

— То есть как это не он?

— А вот так. Не он. Не его труп.

— Чей же?

— Откуда мне знать?

— А сам-то он как?

— Вот об этом-то я и спрашиваю. Может, вы знаете кого-нибудь, кто мог бы помочь.

Их лихорадит. Что-то в моем рассказе ввергает их в дрожь. Волосатые, с полотенцами и мыльницами в руках, они первым делом глушат транзисторы, забывают про душ, бережно поднимают меня, подерживая под руки, всю поносят армию. За всю жизнь они ничего подобного не слышали. Так и вид-

но, что им ужасно хочется сорвать злость на ком-нибудь, ну хотя бы избить офицера, что ли. И тут кто-то говорит, что видел джип дивизионной разведки где-то тут под деревом, и меня сразу же ведут туда. И действительно, в одной из рощиц, под низко нависшими ветвями, у заколоченного одинокого барака, превращенного в склад оружия, касаясь передними колесами одной из дверей, стоит джип, набитый боеприпасами и пулеметами. Пытаются эту дверь открыть, но ничего не получается. Тогда взламывают окно и заглядывают в полутемное помещение, набитое ящиками и боеприпасами. В углу полевая койка. Кто-то прыгает через окно в помещение и будит какого-то парнишку в хаки, худенького офицера, скорчившегося, точно младенец в чреве матери. На койке, как был — одетый, обутый, с пистолетом на боку, — спит среди снарядов.

Он просыпается сразу, протирает глаза и молчит. Ему рассказывают обо всем жарко, с криком, показывают пальцем на меня, торчащего у окна, словно застывший идол. Но он на меня не смотрит. Сидит, сгорбившись, на койке в измятой своей одежде, равнодушный ко всеобщему возбуждению. Лишь когда галдеж утихает и до нас вдруг доносится порыв ветра в соснах, он обращается ко мне ровным, тихим голосом, хоть я и стою от него неблизко.

— Как вас зовут?

Я отвечаю.

— Как зовут его?

Я отвечаю.

— И это не он?

— Не он.

— Кто привез вас сюда?

— Военный раввин.

Его глаза холодеют, продолжительное молчание, наконец очень тихо:

— И чего же вы хотите?

— Найти его...

Он не реагирует, точно снова заснул. Затем встает,

усталый, оплетенный теньями, но вместе с тем с повадками генерала. Складывает одеяло, отпирает дверь, выходит вон и исчезает между соснами, в которых тихо шелестит ветер. Шоферы за ним, застают его у заржавевшего крана, схороненного под опавшей хвоей, он подставляет голову под кран, и прохладная водичка заливает ее. Затем отходит в сторону, ни на кого не смотрит, а вода так и капает с него. Шоферня уже готова наброситься на него. Но по мере того как капли высыхают на его опущенной голове, у него в глазах появляется огонек: он уже принял решение. Ровным голосом он отдает команды пораженным шоферам: одному велит найти пропавшего куда-то раввина, другому приказывает заправить джип, а остальные уже хватают меня, поднимают, словно я калека, освобождают для меня место и сажают в джип между смазанным пулеметом, кучей лент и дымовыми шашками. Надевают на мою сидушку шлем и тщательно завязывают мне ремешок на шее.

Кто-то включает рядом рацию, она начинает пошвистывать, а джип, поначалу совсем незаметно, точно сам покатился, приходит в движение, обвешанный шоферами, и я так и не возьму в толк: то ли они его толкают, то ли он их тащит. И откуда-то прямо в последнюю минуту приволакивают и раввина, он весь в поту, сбит с толку, потух весь, мечтает о своей субботе и тоже присоединяется к нашей процессии, медленно тащится за джипом. Смотрит, как я сижу среди пулеметных лент, но это его нисколько не пугает. Меня забирают от него, что ж, пусть забирают, он даже готов благословить меня в дорогу. Что делать? Он никого не нашел в штабе. Пытался связаться с передовой, но ничего у него не вышло. Зато оставил рапорт, подробно описал все на случай, если кто-нибудь все-таки придет.

Он все еще тащится за джипом, медленно продвигающимся между деревьями и пошвистывающим рацией. И еще что? Еще что ему досаждают? Оказыва-

ется, что-то он все-таки нашел. Личное дело убитого, оно лежало на столе. Может быть, и впрямь произошла ошибка, — размышляет он вслух. Фамилия, правда, сходится, но это не мой сын. Может быть, я все-таки взгляну на фотокарточку перед тем, как спуститься в пустыню? И он сует мне куцую папку, опять же защитного цвета, и ребята вновь окружают меня, чтобы посмотреть тоже. Я открываю папку, и с первой же страницы на меня смотрит худой юноша, окончивший среднюю школу пятнадцать лет назад, мой сын, в защитного цвета рубашке, подстриженный коротко, устремляет на меня упрямый взгляд.

Уже половина шестого. Длинная антенна царапает солнце, мелькающее где-то в верхушках деревьев. Джип нерешительно пересекает Иерусалим, точно ищет кого-то, кто отстал, кто отменил бы эту поездку, а тем временем запыленные колеса давят красноватую иерусалимскую субботу.

Прохожие останавливаются и смотрят на пожилого гражданина, одетого в черное, с шлемом на голове и с покрасневшими, заплаканными глазами. В том, как я держусь за пулемет, есть, по-видимому, что-то угрожающее для иерусалимцев — и евреев, и арабов — точно я вот-вот начну косить их, а я даже не знаю, где курок.

Спрашиваю у офицера.

Он мне показывает —

Я ощупываю его —

(Такой маленький.)

И вот, когда мы оставляем позади себя и восточную часть Иерусалима, суббота рушится окончательно. Зелень исчезает, уступая место нагой белизне каменных домов, серой пыли, сбившейся на обочине, голубому дымку, выходящему над неведомыми кострами во дворах, а у костров арабы, которые на нас не то смотрят, не то не смотрят — не разберешь.

И вдруг рушится сама дорога. Поворот — и перед

нами серая пустыня, без солнца, в обрамлении дымных облаков.

Наконец-то я въезжаю торжественно и во всеоружии в Иорданскую долину, по которой еще ни разу не ступала моя нога.

И сразу — искать следы мертвой, далекой, библейской Божественности в иссохших холмах, тянущихся вдоль шоссе, в изрытых солнцем морщинах на лице пожилого бойца, поднимающего шлагбаум.

А отсюда — я этого ждал, я знал, знал, — все ускоряется, наступает новое какое-то возбуждение; командир, поджав губы, словно борется с чем-то, суживает глаза и жмет на газ жадно, бешено.

Я прижимаюсь к пулемету, меня обдувает ветром, я засовываю руку в карман и начинаю вынимать оттуда всякую всячину: автобусные билеты, старые квитанции, списки учеников, клочки бумаги со стола сына, набросок речи, бланк утренней контрольной.

А вот наконец в сумерках и всамделишное войско. Тусклый свет пустыни тоскливо угасает над палатками, бараками, танками, бронетранспортерами и гигантскими, торчащими в небо антеннами, а из какой-то трубы валит дым, точно здесь иная правит суббота. Пожилые загорелые бойцы, в широченных защитных комбинезонах, поднимают перед нами шлагбаумы, кажется, вся пустыня перегорожена этими шлагбаумами.

Нас окружают —

Нас ждали —

Некоторые даже пустились бежать за джипом.

— Прибыл старик-отец, — орет кто-то, не жалея легких, точно я какой-то святой.

И вот меня уже выгружают, осторожно отодвигают от пулемета, освобождают от ленты, в которой я запутался, вынимают патрон, который я по рассеянности засунул в дуло, снимают меня с машины, дряхлого и грязного, с шлемом на голове, и ведут в наступающей темноте к командиру.

И вдруг где-то далеко, в самой, верно, долине, за холмами — стрельба.

Сердце стынет —

Какая теплота идет от этих людей, когда они до-трагиваются до моего тела; как они рады, что к ним прибыл настоящий старик, хоть и в шлеме, а все-таки с гражданки, ночью в пустыне; так рады, что уже успели шепнуть мне потихоньку, словно нарушая что-то:

— Он жив, это не он, они ошиблись...

Но тут раздается властный голос командира в новой этой темноте, и хотя я не вижу его лица, однако прислушиваюсь к голосу, который я уже когда-то слышал — наверно, бывший мой ученик, я узнал этот голос, не могу не узнать.

...Стычка произошла ночью, и убитого доставили в больницу еще до рассвета. Люди тут почти не знают друг друга. Некоторые не были в части уже несколько лет. Писарю передали только личный номерок, а по нему он и нашел личное дело. Он даже не видел убитого. Думали, что все в порядке, но вот, с час тому назад, позвонили из штаба, рассказали эту историю и передали, что мы вот-вот нагрянем. Бросились к рации, подняли на ноги всех, люди тут, знаете ли, разбросаны на огромном пространстве. Первым делом спросили — есть ли кто-нибудь с такой фамилией. И представьте, несколько минут тому назад кто-то нашелся. Тридцать один год. Из Иерусалима. Личный номер совпадает с номерком убитого. Ну, это еще нужно выяснить. Больше ни о чем не спросили, чтобы не напугать, не стали говорить ему, что уже сообщили родным. Но это мой сын, он в этом больше чем уверен. И раз я уже здесь, может, все-таки взгляну на него, а? Так сказать, для полного спокойствия. И лучше сразу, этой же ночью. Вот, скоро он проедет мимо с патрулем, уже договорились, что они подождут тут неподалеку. И раз уж я добрался до... передовой... то, может быть, я подъеду... то есть, если я, конечно, могу... Вот, можно сесть на

этот бронетранспортер... из дивизии, кстати, сообщили, что вы ведете себя молодцом...

И тут меня осенило: ведь он меня боится. Это мое молчание, эта бесконечная терпеливость, то, как я стою перед ним, едва держась на ногах, и ничего от него не требую; покорность, с какой я ношу на голове тяжелый шлем. Во вверенной ему части была допущена ошибка, он отвечает за нее лично и, верно, испугался этого беспощадного молчания. И опять — где-то далеко длинные очереди, еще и еще, отзвуки отголосков. На этот раз меня ведут к тяжелому бронетранспортеру, открывают стальную дверцу, сажают, опускают бронированные окна, два-три бойца поднимаются вверх к пулеметам, кто-то нагибается к рации и начинает что-то бормотать.

Ужасно медленно, без фонарей, под лязг мелющих гусениц, в стальной коробке, где тускло мерцает красная лампочка, я все понимаю. Они возвращаются к Иордану, хотят переправить меня на ту сторону, к самому что ни на есть источнику. Все, что было до сих пор, — это только присказка.

Вдруг мы останавливаемся. Кто-то там копается, открывает стальную дверь и выводит меня наружу. Перекресток среди бездорожья. Пустыня и в то же время не пустыня. Тростник и какие-то кусты в овражке неподалеку. И тишина. Стрельбы не слышно. Легкий ветерок. Небо, усеянное звездами. Мы ждем. Присев на камни, валяющиеся сбоку у кустов. И снова я обнаруживаю, что попал в чьи-то руки. Он не молод и не стар. Умное лицо, благожелательное, поглядывает на меня с любопытством, улыбается. Что-то во мне смешит его; может, шлем? Я пытаюсь снять его, но он по-прежнему улыбается. Оказывается, это мои годы не дают ему покоя.

— Семьдесят мне.

Субботний вечер. На бронетранспортере зажигаются спички, светятся кончики сигарет. Бойцы тихо разговаривают, добродушно ругаются, подсчитывают,

сколько еще суббот им осталось быть здесь. Рация слабо посвистывает, кто-то откуда-то спрашивает:

— Вы меня слышите?

Но никто и не думает отвечать.

Чем я занимаюсь?

Я говорю ему.

Улыбается. Он так и думал.

— Из-за моего иврита? — тихо спрашиваю я.

— Как это — из-за иврита?

— Ну, может, язык у меня книжный.

Он улыбается. Ничего не книжный. Но вот глаза, по глазам он и догадался. Был у него когда-то учитель истории, так у него такие же были глаза.

— Какой истории?

— Еврейской.

— И он был похож на меня?

— Да.

— Несмотря на разницу?

— На какую разницу?

— Между Библией и историей.

— Разве существует разница?

Я встаю, надрез отодвигается от моего сердца, я начинаю объяснять ему, негромко, воодушевляясь.

...Я подхожу к главному. Все это было только введение. Господин директор, коллеги учителя, уважаемые родители, дорогие ребята. Я чувствую потребность, вы уж меня простите, сказать пару слов тем из нас, которым суждено, может быть, исчезнуть.

На первый взгляд исчезновение — тривиально. Ибо с исторической точки зрения, как бы вы ни тилились, ваша смерть будет всего лишь надоевшей репетицией, хоть и при несколько изменившейся декорации. Другой абрис холмов, иные очертания пустыни, новая разновидность кустов, поразительные виды оружия. Только кровь такая же, да и боль — ведь она нам так знакома.

Однако, если смотреть глубже, все меняется, точно становится на голову. Ваше исчезновение приобретает огромный смысл, ослепительно сияющий. Оно пре-

вращается для нас в пламенный источник чудесного, продолжительного вдохновения.

Ибо, если сказать просто и ясно — никакой истории нет. Сохранилось лишь немного текстов и черепков. Все остальные ученые исследования излишни. Припадать снова и снова к радиоприемнику, искать спасения в газетах — чистейшее безумие.

Все повторяется и преисполняется таинственности. Ваши тетради, изгрызенные карандаши, каждый предмет, вами оставленный, источают тоску. А мы, идущие за вами по кругу, затаптывающие нечаянно едва заметные ваши следы, обязаны быть чуткими, как во время короткой, скажем, стоянки в пустыне, среди нагих холмов, на выгоревшей земле, где порой не слышно ни малейшего шума...

И тогда откуда-то вдруг послышался шум, и с востока, или с запада, или с севера — ориентацию я уже успел потерять — подъезжает патруль, сияя в облаке пыли, две-три машины, под все усиливающийся гул, в темноте, бросает время от времени снопы света на дорогу, перебрасывает их затем на обнаженные холмы и вверх — на небо.

А там, в этом катящемся гуле, должен быть и мой сын, рядовой тридцати одного года, на столе которого валяются наброски каких-то научных трудов, теперь он торчит в чреве бронетранспортера, у пулемета или миномета, целясь в меня прожектором, а то, чего доброго, и дулом.

Сноп света упал на нас —

Кто-то в нас выстрелил —

Они забыли про нас. Думают, что мы диверсанты —

Ребята орут что есть силы —

Могли убить —

Наконец подъехали. Остановились чуть поодаль, два бронетранспортера и один танк. Двигатели рычат, вся долина вдруг оживает. Силуэты смутные, ночные, лиц не видно. Офицер, который не отходил от меня ни на шаг, пошел искать командира. А я торчу в темноте на своем месте, вглядываюсь в тени,

и вдруг на меня наваливается отчаяние: готов поклясться, что все это бесполезно, дрожу всем телом, готов опознать кого угодно по первому требованию.

Несколько бойцов спрыгивают с машин и мочатся на гусеницы. И вдруг я опознаю его, грузный такой, лохматый, погруженный в мысли и одинокий. Он тоже оправляется.

Я-то его вижу, а он меня нет. Я стою недвижно и смотрю на него издали. Белье на нем, конечно, грязное. Еще когда в школу ходил, он возвращался из небольшой экскурсии такой грязный, точно он всю пустыню пересек.

Тем временем его уже ищут. Командир выкрикивает его имя. Он оборачивается, застегивает пуговицы, подходит ближе неясной тенью. Страннее всего то, что он ничуть не удивился, заметив у кустов, среди ночи, в двух шагах от Иордана, меня, старика отца, в стальном шлеме.

Два офицера подхватывают его. Двигатели транспортеров глохнут.

Вдруг мертвая тишина.

— Он?

— Он, — я легонько дотрагиваюсь до него.

Он улыбается нам всем, бороду ему немножко подстригли, ничего не понимает, стоит передо мной усталый, обвешанный гранатами, автомат болтается на нем, точно метла.

— Что случилось?

Как ему объяснишь.

— Что-нибудь дома?

Как втолковать ему, что я его уже похоронил, проник в его комнату, копался в его бумагах, собирался даже собрать их все и издать книгой.

— Сообщили, будто тебя убило...

Это сказал не я, а кто-то другой.

Он не понимает, не может понять, сутулится под своим снаряжением, шлем сполз ему на лоб, лицо тупое, пялит на меня глаза, в точности как его сынишка, в точности так, как смотрю и я на него. Так

он смотрел на меня, когда был еще маленьким, когда я ему отпускал подзатыльники.

Его просят показать номерки —

Мало-помалу вокруг нас собирается целый митинг.

Он роется в карманах с какой-то удивительной покорностью, достает клочки бумаги, шнурки, патроны, бумажные носовые платки, еще платки, машет этими салфетками, как будто это исписанные листы бумаги, но номерков он так и не может найти. Видно, потерял. Хотя они ведь были прикреплены к его индивидуальному пакету.

— А где бинт?

Бинт он отдал после боя санитару. Выходит, отдал и номерки. Я начинаю подозревать, что он тоже философствовал об исчезновении, вот здесь на берегу Иордана, или он просто хотел посигналить мне изда-лека.

Зовут санитаря —

Из темноты вытаскивают маленького еврея, пожилого, ворчащего. Он с наслаждением затягивается сигаретой, но ничего не помнит. Правильно, он получил несколько бинтов, но про номерки ничего не знает. На убитом он, правда, нашел номерки и повесил их ему на шею. А вообще его не стоило перевязывать, он уже тогда видел, что перевязывает труп. Все же перевязал. Нет, он даже не пытался опознать его. Понятия не имеет, кто это мог быть. Он ведь почти никого здесь не знает. Он вообще из другой дивизии, попал сюда по ошибке. Хочет вернуться в свою часть. Чего это вдруг он должен пропадать здесь? Ему хочется к товарищам, к тому же их вот-вот отпустят, а что тогда будет с ним?..

Его отодвигают в сторону —

Мало-помалу, в густеющей тьме, сын начинает понимать. Оживает лицо, проясняется взгляд, выпрямляется спина. Он вскидывает автомат, к нему возвращается жизнь, но я, чувствуя, что вот-вот свалюсь, набрасываюсь на него.

— Утром, в школе, директор вдруг приходит в

класс, — наконец-то я с ним разговариваю. — Сумасшедший выдался день...

Круг все более сужается, народ подходит все ближе. Рассказ о его гибели и воскресении вызывает у них жгучий интерес. Они забрасывают нас грубыми шутками, хотят знать подробности. Мы стоим вдвоем, растерянные, и слабо улыбаемся.

Командиры принимаются разгонять народ, загонять солдат в бронетранспортеры. Ночь только начинается, объезд тоже, война еще не кончилась.

И вот мы остаемся одни, оба в шлемах, только я без автомата, лишь с надрезом в области сердца.

— Ну, как ты? — шепчу я торопливо, из последних сил.

Он смотрит на меня, будто впервые увидел, измученный тем, что я все-таки добрался до него и пристал к нему на самой передовой.

— Ты же видишь... — шепчет он ответ с каким-то горестным отчаянием в голосе, точно это я выписываю повестки. — Напрасная потеря времени... бессмысленная...

Как же растолковать ему, сделать так, чтобы он понял смысл, но быстро, вот тут, в тени ревуших машин, до того как он опять скроется на своих ночных передовых позициях где-то в пустыне и до того как, стоя перед ним, я сам погружусь в глубокий сон.

Снов еще нет, но все-таки сплю. Я имею в виду — сердце у меня спит. Так и заснул стоя — от слабости, от голода, становлюсь все меньше и ничтожнее под этим до безумия звездным небом и восходящей на востоке луной. Вдруг, откуда ни возмись, тучи, декорация меняется, сознание угасает. Мало-помалу гаснут и ощущения. Я уже не слышу перестрелки, не чувствую и соленого, пустынного запаха тростника, а то, что у меня в руке (камень или ветка) беззвучно выпадает у меня из рук; кто-то удаляется, расплываясь, я с ним прощаюсь, машу рукой, точно артист, в которого угодил снап света от бронетран-

спортера, и отдаю свои мощи тому, кто с готовностью принимает их (опять кто-то другой, очень молодой), сажает меня на какой-то танк, прячет меня за стальными плитами, и снова, без фонарей, при мерцании красной лампочки, я пускаюсь в обратный путь.

И тут я впервые хватился, что текст-то я забыл. Целые главы. Я бы не выдержал сейчас ни одного экзамена, даже самого пустячного. Последние из стихов рассыпались, и лязгающие гусеницы размололи их вдребезги.

После того открыл Иов уста свои и проклял день свой —

Молитва Хаваккука-пророка на безумства —

Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской —

В год смерти царя Узияху —

Начальнику хора. На лилиях.

Песнь песней —

Аллилуйя —

Смотреть сны мне все еще нельзя. При свете луны, выглядывающей из-за облаков, в лагере на передовой я обнаруживаю гражданскую легковушку с зажженными фарами и тихо рокочущим мотором, пустую. Меня чуть ли не силой волокут в одну из гигантских палаток, а там, при свете бледной лампочки, среди приборов связи, барабанов телефонного кабеля и нагих женщин, вырезанных из журналов и шевелящихся на полотнищах, стоит моя невестка. Ее окружают связисты, не сводящие восхищенных глаз с молодой женщины с длинными волосами, ворвавшейся ночью в их палатку.

— HE NOT KILLED, — говорю я сразу на своем ломаном английском, весь в пыли и на пороге сновидений.

Но она уже знает, и ей так и хочется, я вижу, накинуться на меня, так как она уверена, что это все я, что все это мне только померещилось и именно я и поднял всех на ноги. Но я все-таки опередил ее и,

ничего не чувствуя, во сне, из-за тысячи перегоро-
док, делаю два шага, спотыкаясь о кабели и задевая
плечом голых тех баб, кидаюсь к ней и целую в лоб,
глажу по голове, и вот в первое мое сновидение про-
никает слабый запах духов, приятное ощущение ее про-
хладного тела.

Уж эти мне новые левые —

Надушены тайно —

Жаждают тепла —

И тогда не выдержала и она. Растерялись и ради-
сты. Прежде чем зарыдать, она еще только быстро-
быстро говорит что-то по-английски, затем несколь-
ко медленнее, ищет, к моему удивлению, выражения
на иврите и наконец рыдает беззвучно.

И только теперь я замечаю в углу палатки пожило-
го связиста, который сидит, согнувшись, над поле-
вым телефоном, и тщетно пытается установить с
кем-то очень далеким истинную личность убитого.

И снова кто-то является за мной, проводит нас
с ней в другую палатку на краю лагеря, показывает
на неубранные койки бойцов, отправившихся на
задание, и предлагает поспать до утра. Затем при-
носят еду в мисках, бутылку с остатками вина в
честь кануна субботы, зажигают свечу на полу и оста-
вляют нас с невесткой одних при свече, мерцающей
в полутьме, насыщенной спертым воздухом Иордан-
ской долины.

А я, изнемогающий и безумный от голода, ожи-
ваю от запаха пищи. И, не вставая с койки, поста-
вив тарелку у ног на полу, не глядя на невестку, не
пытаясь даже говорить по-английски, я наклоняюсь
и набрасываюсь на еду, с погнутой вилкой, без но-
жа жадно глотаю эту военную пищу, пахнущую поро-
хом, серой, пылью пустыни и такую чудесную на
вкус; припадаю к бутылке и пью прямо из горлы-
шка дешевое вино, сладковатое и тоже отдающее
ружейным маслом и орудийным горючим, быстро
пьянею, точно кто-то обрушивает на меня изнутри
оглушительные, далекие удары.

Стрельба. Опять люди стреляют друг в друга. Я просыпаюсь, вижу — не то я сам растянулся, не то меня уложили, сняли с головы шлем, к которому я уже привык, как к кипе, разули. Луны не стало, свеча потухла, вокруг густая тьма. Полотнища палатки шевелятся на ветерке, обдувающим нас ночной прохладой пустыни. Не встаю, тело у меня по-прежнему словно налито свинцом, а на губах, как у ребенка, засохли остатки еды. Я начинаю различать ее очертания. Она бодрствует, сидя на моей койке, с распущенными волосами, военная куртка наброшена на плечи, лицо открыто, босая. Сидит и курит сигарету. Наверно, уже полночь, а она все еще не спит. К еде не притронулась. Сидит, наклонив голову в мою сторону, смотрит изумленно, напряженно; беспокойство, благодаря которому она преодолела вечером шлагбаумы и всякие прочие препятствия, лишь бы добраться сюда, только еще больше усилилось, точно я собственноручно сначала убил, а затем воскресил его, чтобы проверить одну какую-то неясность...

Стрельба не унимается, но редет, точно бьют каждый раз в новую цель, но у меня такое чувство, что чем дальше, тем больше я к ней привыкаю. Она тоже не боится, сидит неподвижно, хотя именно в эту минуту он может погибнуть взаправду где-то там, на своем бронетранспортере, медленно дробящем проселок в пустыне.

Все-таки придется мне снова вспомнить тот миг, когда я узнал о его смерти.

Летнее утро, небо разодрано во всю глубину, июнь, последние дни, я встаю поздно, ошалело, как после болезни, и сразу на меня обрушивается солнце.

Дребезжит звонок, я медленно поднимаюсь по ступенькам, и меня словно насосом выносит вверх течением толпы ребят, устремившихся по лестницам и коридорам в классы. Прохожу мимо открытых дверей классов, мимо скучающих учителей, добираюсь до своего выпускного-А и застаю ребят, спо-

койных, отчужденных, патлатых, Библии падают на пол. Кто-то стоит у доски и рисует цветы, десятки белых цветов с опадающими лепестками.

Я поднимаюсь к столу, они поднимают головы. В классе темновато, шторы опущены, но я вижу, что они потеряли ко мне всякий интерес, что они со мной уже распрощались, я принадлежу к прошлому.

Этот взгляд мне очень хорошо знаком, но я никогда его не боялся, потому что знал: рано или поздно, а они все-таки вернутся. Пройдет несколько лет, и я их увижу вновь — с мужьями и женами, бегущими за детьми, несколько сутулых. Когда они мне попадались на улице с авоськами в руках, они терялись, а я немедленно завладевал ими снова, пусть лишь на мгновение, на малую долю секунды.

Но в последние годы разлука становится тяжелой. Они уходят в пустыни, далеко, я хочу сказать — вот эти вот нежные тела, вот эти прямые головы, юные глаза. И бывает, что не возвращаются. Уже не один выпуск. Некоторые исчезают, и что-то во мне надламывается. Оно не проходит. Вот эта их боль, преимущество переживания, в котором нет моей доли. И даже те, что возвращаются, хоть и гуляют с детьми, с авоськами в руке, а все-таки что-то изменилось в их взгляде, они смотрят на меня отчужденно, словно я их в чем-то обманул, я хочу сказать — учил не тому. Словно то, чему я их учил — предписания, притчи, пророчества, — все это рухнуло в пыли, в огне, в одиночестве ночей. Словно все это не выдержало испытания новой реальности. Но какой такой новой реальности? Господь Воинств, Господи Боже мой, что это такое — новая реальность? Разве что-нибудь в самом деле меняется?

Меня одолевает тревога, я начинаю раздавать бланки контрольной, сам хожу по рядам и кладу бланки на столы. В классе глубокая тишина. Они читают, слабо вздыхают, достают белые листы бумаги и набрасывают свои прямые, дельные, лишённые воображения ответы, сухим, скучным слогом, который без

всякой видимой причины становится вдруг поэтичным, чтобы тут же снова исчезнуть в пустыне.

Вот сын вернулся из Соединенных Штатов, малахольный, лохматый, этакий профессор, не такой уж и молодой. Приволок из одного из своих университетов хрупкую студентку, закутанную в волосатую бахромчатую накидку, за плечами у нее в рюкзаке ребенок, малюсенький, бледный, говорит только по-английски. Спускаются с самолета и смотрят на меня так, словно привезли с собой откровение, благую весть о революции, о новой реальности, никому не ведомой...

И вдруг я чувствую, что меня одолевают слезы. Я все еще хожу между столами, мимо Библий, валяющихся на полу, нагибаюсь то и дело, поднимаю книги. Ребята следят за мной, им так хочется списать друг у друга или хотя бы шепнуть друг другу что-нибудь нужное на их взгляд, что-нибудь такое, что повысит чуть-чуть оценку, хоть немножко — и они все это оставят, оставят пустые классы, горки табуреток по углам, чистую доску, имена на столах, вырезанные словно на могильных плитах.

Меня охватывает стремление к иной разлуке, которая врезалась бы в их сердца. Дрожа от волнения, я подхожу к окнам и с силой откидываю шторы, швыряю на них тяжелые струи солнца, красного как кровь. Подхожу к двери и открываю ее во всю ширь, останавливаюсь на пороге — один глаз в коридоре, другой в классе. Я знаю, что в эту минуту они напряжены до предела. Никак я им ловушку подставляю? В классе я или вышел?

И тут я вижу издалека директора. Он шествует печально и задумчиво вдоль пустого коридора, продвигается медленно, с трудом, точно устаревший танк, снятый с вооружения. Он сильно постарел в последнее время. Еще год-два, и ему тоже надо будет уйти на пенсию. Он поднимает голову и, заметив меня на пороге класса, снова опускает ее, точно увидел перед собой призрак либо камень. Он все еще полагает,

что я не хочу разговаривать с ним. Как будто трех лет недостаточно. А в классе тем временем усиливается шепот и шелест бумажек. Они уже передают друг другу ответы. Но я не двигаюсь с места. Мое лицо обращено к окну, через которое лето, полное и безоблачное, так и прет. Далеко на горизонте маячат горы Иудеи, Моава и еще, и еще. Стекла отражают также фигуры ребят позади, они сливаются с этим ландшафтом, с этим синим пятном, верхушками деревьев, далекими антеннами и гулом самолетов.

А рядом останавливается директор. Впервые за три года. Очень бледный. Надо немедленно нарушить молчание.

Пять-шесть часов тому назад —

В Иорданской долине —

Убит наповал —

Ахарон Аппельфельд родился в 1932 г. в Черновцах. Был узником концлагеря в Транснистрии. В Израиле с 1974 г. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Печататься начал в 1959 г. Издал несколько сборников рассказов, а также ряд романов. В издательстве "Библиотека-Алия" вышел роман "Пора чудес" (рус. пер.; 1984). Ему присвоен ряд литературных премий, в т.ч. Государственная премия Израиля. Основная тема его произведений — Катастрофа европейского еврейства во время 2-й мировой войны, раскрываемая в символической и аллегорической форме.

ХОЖДЕНИЕ В КАЧИНСК

Стояла осень, когда я воротился в родной город. Никто на меня не обращал внимания, и только удивление застывало на лицах, когда узнавали, кто я: "Он вернулся из Сибири". Знакомый запах яблонь наполнял легкие. Я был утомлен дорогой, и ноги мои едва двигались от усталости. По всему чувствовалось, что зима близка.

Сибирские ветры я оставил позади, и теперь воздухом родного города были полны мои сны. Казалось, гнев понемногу проходит, и мои родители, так и не дождавшиеся меня, радуются моему возвращению.

Но, открыв глаза, я видел, что осень уже совсем на исходе: кружили по улицам последние красные и желтые листья, и высоко в небе проплывали облака, словно уходя на покой.

Жителей пугала надвигающаяся зима. Недоумение при встрече теперь оборачивалось отчуждением: никто уже не осмеливался заговорить со мной. Я понял, почему это — я был чужой, чужак из ночного кошмара.

Годами в военном лагере хранил я одно-един-

ственное воспоминание — последнее прощание с матерью. Тут и оно затуманилось.

Тогда я повел себя иначе. Вышел к рынку и остановился возле низеньких прилавков. Здесь я знал, как себя вести. И сразу почувствовал свободу от той людской настороженности, которая жила на улицах города. "Это Крыжов?" — спросил я. И мне ответили — да.

Ночь я провел на мельнице с погонщиками скота. Они расспрашивали, кто я, и я рассказывал им.

Они щупали мои мускулы. Я показал им военный билет и две медали.

"Знай, тебя будут сторониться", — и они объяснили, что я не должен никому это показывать.

"Двадцать лет в Сибири..." — и удивление отражалось на их лицах.

"Зачем же ты вернулся?" — этого я объяснить не мог, тут требовались другие слова, которых не было у меня.

"Да ведь он тут родился", — сказал один.

Погонщики были все молодые парни. Жильем им служила мельница. Спали они на мешках с мукой. И глубокой ночью, когда даже белая мучная пыль не светилась в темноте, один из пастухов спросил меня тихо:

"Ты не помнишь, как тебя забирали? Совсем ничего не помнишь?"

"Помню, — попытался я объяснить, — только вот подробности забыл".

"Удивительно", — его голос странно зазвенел в тишине.

Немного позже он спросил снова: "Ты молишься?"

Тогда я рассказал ему, как поп бьет солдат, а те покорно переносят побои.

"А я дал обет, — сказал он вдруг, — перед тем как отправиться ходить по селам, поклониться могилам моих родных. Дорога нелегкая, и многие не возвращаются".

В ту ночь мы больше не разговаривали.

Потом учинили мне публичное дознание. Его проводили почтеннейшие члены общины — три бледных старца без кровинки в лице. Им сразу показалось подозрительным мое чуждо звучащее имя.

“А кто показал тебе дорогу сюда?”

“Ноги сами привели”, — хотел было ответить я, но промолчал.

Они в упор разглядывали меня.

И принялись листать свои книги. “Ничего не поймешь, — пробормотал один, — ты тут совсем не записан”.

Они готовы были спорить со мной до хрипоты, но у меня не было никаких доказательств.

Встали они, а я остался стоять. “Здесь, видно, что-то напутано”, — сказал один из них и поспешно ушел.

А ночью на мельнице я рассказывал погонщикам про собрание общины. Они внимательно слушали. Им и самим приходилось судиться. В городе считали их отпетыми, и никто не хотел иметь с ними дела. Уже многие годы их не пускали в молельный дом.

“Они обязаны были бы содержать тебя и дальше, — сказал один из пастухов, — ведь тебя увели-то силой...”

И впервые я услышал историю своей жизни из уст других. Как свозили насильно на призывные пункты подростков, как богатые откупались, а беднякам не помогали никакие мольбы о пощаде.

“Ты один из них”.

“А теперь, если не скандалить, то ничего не добьешься. Прокричи им свою обиду. Ведь они вообще не хотят признавать возвращенцев. Год назад вернулся один, тоже из насильно увезенных, так потом ему покоя не было — все таскали по раввинским судам”.

За это время я совсем расклеился, а осенняя погода и вовсе обессилила меня. И только у прилавок

на рынке я отдыхал и с наслаждением прислушивался к звукам родной речи.

Снова я ночевал на мешках с мукой, и как-то ночью услышал знакомый голос, обращенный ко мне: "Завтра мы уходим. Я уже был на могиле родных, я сказал им, что не хожу молиться и просил простить меня. А что, в Сибири тоже хоронят на кладбищах? Говорят, там лед один..."

Я объяснил, как хоронят в Сибири.

"Если так — тело там сохраняется долго", — а несколько позже он рассказал мне, как год назад пытался удрать от пастухов, товарищей по артели, но те схватили его и жестоко избили. "На, смотри, — и он задрал рубашку, — вот они, отметины".

Жандармы устроили мне проверку, но, увидев, что я солдат, возвратившийся со службы, прониклись ко мне уважением. Я рассказывал им о маневрах, в которых участвовал сам, и о стычках на японском фронте. Они внимательно выслушали и заявили:

"Вот такие евреи, как ты, нам нравятся".

А в субботу пошел я в синагогу. И волнующее чувство овладело мною. Трепет перед богослужением охватил, захотелось сесть на колени, распластаться на полу и прикоснуться к нему губами. Только одно было удивительно, — никто не кричал изо всех сил, не бил себя в грудь и не взывал к Богу. Люди были притихшие, словно отсутствовали, и лишь небесным светом озарялись их лица. Тогда я понял: их души не смогли бы выдержать никакой встряски.

Пришла зима. Река остановилась. И я остался один на один со своим одиночеством. Снова позвали меня на заседание общины, стали допытываться о моих дальнейших планах, а потом один из общинных деятелей в примирительно-спокойном тоне стал объяснять мне, что они совсем не желают того, чтобы со мной что-нибудь случилось нехорошее, но, вне всякого сомнения, это не мой родной город. И мне

стоит походить по соседним городам, может быть, там меня опознают — не может же человек мотаться без дела в городе.

Я знал: просьбы не помогут. В Сибири человек умел подчиняться судьбе, он умел быть сильным. Но стоило только ему освободиться от сибирских невзгод, как силы покидали его, и тогда каждый мог справиться с ним. Жгучая метель словно служила ему надежным щитом.

Но воспоминания о сибирских морозах уже не могли мне помочь. Я давно подумывал о том, чтобы убраться из этого города и перебраться в соседний. Однако мои друзья, погонщики скота, отговаривали меня: "Нет, это не спасет. Они прекрасно знают, что ни одна община ни в одном городе не согласится принять возвращенца. Им бы лишь освободиться от тебя и не брать на душу грех, что ты будешь слоняться по улицам без дела".

Остатки осени прошелестели по вершинам деревьев. Я уже было решил навсегда остаться чужим в изгоняющем меня городе, проводить целые дни возле прилавка и вслушиваться в гортанную речь родного мне языка.

Но и этому, как видно, не суждено было случиться. Пастухи ушли, чтобы привести к зиме скот. И скупщики уже дожидались их у открытых дверей лавок.

Я тем временем побывал в жандармерии и просил оказать мне содействие. Но и там ничем не могли помочь. Жандармерия тоже зависела от общины, которая ежемесячно давала ей крупную взятку. Лишь по ночам пел мне мельничный жернов свою печальную песню.

"К кому теперь обратишься?" — спросил меня кладбищенский сторож. Я не ответил, а он продолжал: "Без частных нет целого. Нужно вспомнить детали, а то вообще вряд ли что-нибудь выйдет. И это не всегда помогает. Могильные камни — и те, как известно, приходят в упадок. Перво-наперво поройся хорошенько в своей памяти".

Я видел несчастных калек, ковыляющих из города в город. Они в былое время шли даже на членовредительство, лишь бы не попасть в солдаты. Они делали все, чтобы жить в родном городе. А теперь у них остались лишь их костыли.

Никто не приглашал меня на субботу. Я стоял и ждал рядом с синагогой до самого закрытия, пока темнота не спрятала все вокруг. И тогда вспоминал колокольный перезвон сибирских церквей, попа, избивающего солдат до крови, и безумные страсти, разгоравшиеся потом.

Погонщики не вернулись. Городские ворота закрыли на субботу. Накрапывал мелкий дождик. На мельнице я нашел незнакомых людей, разгружавших мешки. На лошадях, впряженных в телеги, блестели капельки пота. Я представился, и меня не прогнали. Знакомые жандармы были тут же, и я снова стал рассказывать им о стычках на японском фронте.

Осень дышала мне в лицо предвестием холодных зимних ветров и долгих скитаний. Я удивлялся тому, что я все еще тут, сижу по вечерам на полированных ступеньках почты среди друзей-жандармов. И я вспомнил цыгана, с которым вместе служил, как он перед отправкой на японский фронт, лежа на своих шмотках, перед всей ротой давал обет. Если уцелеет, значит родные думают о нем — и тогда он сбежит. Даже могилы не вечны. Родные не могут ждать, и он должен подняться на святую гору Ара-рат. Так надо, он тоже пойдет к исповеди.

Как-то в богадельне меня повстречал старик и спросил:

— Кем будешь, сынок? — и, добродушно ворча, добавил: — Не оставайся здесь ни секунды. Иди в Качинск. Человек должен быть там, где молились его отцы и деды. Там настоящие мудрецы, которые не оставят тебя”.

Да, я уже видел нищих, одетых в лохмотья и пользующихся уважением.

”Что он тебе сказал? — заговорил со мной другой старик. — Тебе крупно повезло, не с каждым он разговаривает, иногда по целым дням не дожدهшься от него слова. Они у него на вес золота... Откуда ты? У нас уже давно по вечерам не раздают супа... А все же, что он сказал тебе?”

В ту ночь я еще раз обошел город. А под утро мне снилось, как войду я в свой родной город и никто меня не узнает, как буду доказывать, что я — это я, и снова мне не поверят. Приснилось даже, как я потом покину город и стану бродить по его окрестностям. А для человека, собравшегося в дальний путь, такой сон необходим, он предостерегает его, лишает иллюзий.

Внезапно становится понятно: жизнь течет, продолжается, и все остается по-старому, и не к кому взывать, кроме как в пустоту, в глухую, вьюжную ночь. И тогда ясно видишь, что домишки маленькие, а двери заперты. И ночной сторож беззаботно спит.

Я вспомнил цыгана. Часто я вспоминал его. Непонятно, как такое дитя природы оказалось в Сибири. По ночам цыган выл от тоски. Несколько раз он пытался сбежать — то после учений, то после боя. Он был по-детски пуглив и наивен: боялся снежных бурь и полагал, что можно удрать из сибирской глуши. А по ночам твердил только ему понятные слова, чтобы потом, когда найдет могилы близких, уметь помолиться над ними на их родном языке.

Пронзительные осенние ветры сменились колючими зимними; они обжигали холодом. Я стоял у моста, и мое отражение дрожало в небольшой лужице. Я старался уловить прощальный запах яблок, которым еще недавно встречал меня город, но ветер снова дул в спину и приходилось опять поворачивать голову. ”Утром никто не узнает, что я стоял тут, у моста, наслаждаясь сладкими запахами ночи”, — подумалось мне. И жандармы скажут: ”Уже несколько дней мы не видели нашего сибиряка”. А в предрассветной мгле ко мне подошел человек и сказал:

”Ты тот самый, который вернулся из Сибири, я искал тебя. Меня послали, чтобы передать тебе провизии на дорогу, вот молитвенник, филактерии, а тут хлеб и повидло. Нельзя, чтобы ты уходил так, без ничего, и не проклинай нас, когда взойдет солнце”.

Но едва я тронулся в путь, меня окружила настоящая зима. Задули злые ветры, повсюду уже лежал снег, и снова мир обрел привычную для меня белизну.

В придорожной корчме я остановился Корчмарь спросил:

”Куда?”

”Да, далеко”, — протянул он, словно я направлялся на край света. А торговцы, которые были тут, хотели даже удержать меня.

Но когда я объяснил им, кто я, они поостыли в своем рвении и оставили меня в покое.

Корчма опустела и стала выглядеть словно солдатский ларек: на столе торчала бутылка, повсюду стоял тягостный запах гнили. И я понял: сны могут приоткрывать будущее. Сколько раз, бывало, мы ночевали в корчме, положив голову на стол, а кто-нибудь обязательно подходил и приподнимал ее, тяжелую и сонную.

С наступлением зимы я вынужден был прервать свое путешествие. Дороги занесло снегом, и никто не мог указать мне правильное направление. Разве что один ветер знал его. А когда я спрашивал у людей, мне отвечали: ”Ну как тебе сказать... ведь если я скажу: держись все время правее, — это вряд ли тебе поможет”.

Несколько дней я провел у мельника. Название Качинск вызывало в нем какое-то смутное воспоминание и навевало тоску. Вот уже много лет, как он хочет вырваться из этого забытого, посещаемого лишь ветрами, места. Но мельница держит его, и даже зимой, когда жернов леденеет и перестает работать, мельник не может покинуть дом.

Я рассказал ему о моих злоключениях и увидел на его лице сострадание.

Он тоже хотел бы когда-нибудь добраться до Качинска, но жена боится гоев и не позволяет ему выезжать даже в ближайший город. "Ты понимаешь, — говорил мельник, — много лет назад, когда я был молодой, а на город обрушился тяжелый голод, я собрал барахлишко и ушел; пришел к этой вот речке и решил тогда, что она должна принадлежать мне. Это была быстрая, бурная речка, сейчас-то она уже измельчала, и нынче мороз сковал ее... Не знаю, быть может, это моя ошибка, как бы тебе сказать, дерзость, что ли... Два года назад я ходил к раввину и советовался с ним. Возвращаясь к нам, сказал он, но с тех пор я больше не хожу к нему".

Он замолчал, а спустя некоторое время все-таки спросил: "Ну и как там в Сибири?"

Я рассказал ему про солдат, которые приходили на исповедь к священнику, а тот бил их до крови палкой, чтобы выбить воспоминания о родных местах, о близких.

"Ну и как, забывали?"

Тогда я рассказал, как священник проповедовал — облегчите ваши души, сорвите зимние одежды и облачитесь страхом Божиим — и страшным эхом отдавались эти слова.

За окном бушевала вьюга.

"Оставайся, — предложил мельник, — не каждый день посещают нас гости. Дорога все равно занесена снегом".

Несколько дней я жил там. И часто вспоминаю всегда удивленное лицо хозяина и копошашуюся у печки жену.

Я видел вокруг себя снег, и странное чувство овладело мною, будто снег вызывает во мне страх. В Сибири такого с человеком не случается, но стоит ему уйти оттуда, как он начинает бояться снежных просторов.

Убежище я нашел в некоем кабачке, который

содержала разведенная женщина, знаменитая на всю округу своим непотребством. Еще погонщики много рассказывали о ней — снежной шлюхой они ее называли.

Благочестивые евреи обходят стороной это место, и лишь гои останавливают здесь свои телеги. Многие из общины пытались вразумить блудницу, но все оказывалось безуспешным.

Посетители собирались вокруг стойки, и она подавала им выпивку. Они грязно бранились, а хозяйка кабака не отставала от них. Меня заметили и окликнули воинским званием. Я показал две свои медали. Это вызвало в незнакомых мне людях сладкие воспоминания, которые даже отрезвили их: они тоже когда-то служили в армии. И я удивился сам себе, до чего же хорошо я изъясняюсь, словно язык гоев стал моим языком.

Хозяйка тем временем, сердито огрызаясь на всех, подавала стаканы с водкой: казалось, так она преодолевает страх, пытаясь вырваться из плена чужих ей людей. Заведение опустело, вдали начали бить в колокол, она сказала куда-то в пустоту: "Черт бы их побрал".

А дорога звала в путь, и вьюжные ветры все время напоминали мне об этом. Я двинулся дальше, сани еле тащились по снегу, сильные порывы ветра били в лицо, и лишь неугомонные торговые агенты, вечно спешащие по своим делам, были тепло укутаны в тяжелые шубы. Быть может, они остановились бы и подали мне что-нибудь, протяни я руку.

Многие дни я шел за санями. Нищие уже предложили было мне вступить в их артель, они нуждались в сильных и выносливых. "А, Качинск..." — протянули они, и горькая ухмылка появилась на их заледелых губах.

Я остановился и ответил нищим, что путь в Качинск тернист и человек не проходит его семимильными шагами; человек должен прийти туда смиренным. По обочинам дороги стояли каменные вехи,

и я не знал — то ли это надгробные плиты, то ли просто вывернутые временем валуны.

А как-то, проходя мимо плотины, занесенной снегом, я встретил однополчанина, с которым мы много лет провели в одних казармах. Я рассказал ему, что иду в Качинск. Он выслушал меня и лишь ухмыльнулся в ответ. Товарищ мой был беглец, а когда добрался до родного города, то не выдержал людского отчуждения и с отчаяния поджег дом общинного совета. Теперь его всюду преследуют, он ходит из поселка в поселок и благодаря своим сильным и умелым рукам находит пропитание. Он знает, что когда-нибудь его схватят, но поклялся, что не дастся живым. Я не мог предложить ему идти вместе со мной: старый товарищ словно заключил союз с ветрами, и с новым налетевшим порывом ветра он исчез.

Вдали показалось стадо коров. Я вспомнил моих погонщиков скота, наши беседы в осенние ночи на мешках с мукой. Все хранила память, даже их голоса.

Селения отступили, и открылась степная равнина, куда не доносился больше звон колоколов. Все дорожки слились в одну, и невозможно стало различить их среди сплошного белого покрова. Безмолвные сибирские просторы научили меня выбирать правильный путь. Все же наступил момент, когда я стал сомневаться в существовании Качинска, и если бы не старик, с такой силой убеждения рассказавший мне о нем, то, быть может, я и пропал бы в снегу. И теперь я полагался только на свои ноги, видимо, лучше меня знавшие, куда идти.

Но когда снежная пелена уже совсем скрыла солнце и последняя капля надежды больше не поддерживала, а скорее, насмехалась надо мной, когда весь мир стал казаться одним бесконечным белым полем, безнадежно пустым, — я услышал вдруг нежный голос, обращенный ко мне: "Качинск", — прошептал он.

Я не поверил глазам.

Передо мной был город. На улицах толпились

люди, притаптывающие от холода торговли выкрикивали: "По дешевке, по дешевке!" На серых прилавках была в изобилии разложена картошка. А когда я спрашивал прохожих, Качинск ли это, то они отвечали "да" и быстро проходили мимо. И я удивился: город, как все другие — ничего особенного.

Но, когда я подошел к постоялому двору, то понял, что это именно качинский постоялый двор. Повсюду была неразбериха, стоял страшный гам, какого я еще нигде не слышал, обрушившаяся кровля, погнутые и распахнутые ворота создавали неимоверную тесноту. Видимо, прежде это было закрытое помещение.

Сверху сквозь тучи пробивался слабый свет зимнего дня. Я был чужой среди этого сблища народа, и тоска тянула меня отсюда. Снова я вспомнил Сибирь и маковки церквей, торчащие из-под снега. Мне не давали зайти внутрь, и только приглушенные голоса молящихся солдат разносились вокруг церкви. Они выходили наружу, и на их лицах было выражение покорности и покаяния. Не раз говорили мне товарищи: "Преклони колени, Мошка, и помолись". Но я знал, что Господь не позволяет моим губам шептать слова молитвы, хотя я и не прочь был пойти когда-нибудь к духовнику и почувствовать на своей спине бичующий ремень.

Стемнело. И люди в корчме укрылись с головой одеялами. Ветер гулял вовсю, и, словно сквозь прищур глаз, видел я, как стены расширились, коридор вытянулся. Тонкие половицы скрипели под лавками. Кто-то высунул голову из-под одеяла и заговорил:

"Чужак, из Сибири, уроженец Крыжова. Да, приходили уже оттуда. Интересно, давно уже ни с кем из Крыжова не разговаривал. Вот если бы он пришел год назад... Год назад еще был жив наш раввин. Он поистине творил чудеса, хоть в последние годы совсем ослеп. Нет, сыновья не пошли в отца. Синагогальные старосты грубы, и все места в общине заня-

ли торгаши. Наш раввин велел прогнать их, но силы были уже не те. Только сейчас мы можем понять, кого потеряли. Ты заметил, конечно, остатки роскоши, своды, мозаику. Не обвиняй мелких торгашей в их грубой привязанности к этому. Ведь это их жизнь. Не забывай, что здесь когда-то была крепость. Жаль, ты опоздал, и всею лишь на год. А за год происходит столько всего, что и не узнаешь. Да, все мы стали мелкими торгашами. И сыновья нашего раввина не пошли его дорогой.

Многие из паломников остались тут, и все они тоже стали лавочниками. К сожалению, иного выхода нет, надо как-то кормиться. Но ты не обольщайся понапрасну. Все места раскуплены, теперь прилавков на рынке по карману только богачам, бедняки же довольствуются мелкими лотками в закоулках. Но и на них цена поднялась в последнее время.

Присаживайся рядом, ведь только в зимние дни выпадает несколько часов передышки, а летом здесь, не переставая, шумят, даже глубокой ночью... Видишь ты, все здесь порушено — это следы грабежа. Теперь остались одни развалины”.

Старик умолк и опять натянул одеяло на голову.

В боковой комнате возле свечей толпились люди с книгами в руках. Они пели неслышными голосами.

“Чужак, — хлопнул меня человек по плечу, — не желаешь купить лоток?”

Я сказал ему, кто я, тогда человек отвернулся и больше не заговаривал со мной. Я понял, отчего к военным относятся с подозрением: их опыт армейской службы бесполезен здесь; когда они возвращаются домой, они приносят с собой лишь юношескую наивность. Немногим удастся извлечь пользу из своего опыта. Я стал искать глазами комнату, из которой доносилось пение, но она куда-то исчезла.

Только спекулянты не спят. Худые и юркие, скачут они легкими шагами из комнаты в комнату, будто акробаты, замирают на мгновение, словно ночные бабочки в чутком сне. Не останавливаясь,

заговаривают с человеком, на бегу обтяпывают свои делишки.

Свет померк. Лишь слабые отсветы керосиновой лампы, горевшей в ночном ларьке, освещали пространство. В ларьке сидел продавец кваса. Это был старый еврей, ютившийся со своим хозяйством в самом укромном закутке только по ночам. Возле старика притулился маленький мальчик. Старик вытащил руку из-под одеяла и налил мне.

”Может, рюмочку”, — предложил он мне, и его голос застыл на мгновение в тесном, освещенном уголке. Несмотря на запрет, он продает по ночам алкогольные напитки. После полуночи, когда доносчики уже спят, старик позволяет себе такой риск. И теперь он дрожащей рукой, в радостном возбуждении, протягивал мне рюмку из-под прилавка. Во времена старого и мудрого раввина, когда у всех царила радость на душе, водка продавалась свободно, но после его смерти, когда понаехало столько чужаков и паломников, свободная продажа была запрещена. И только глубокой ночью позволяет себе старый продавец кваса продать рюмочку, другую.

Он пообещал мне, что в любой момент я могу прийти к нему и получить рюмку, видимо, по моему лицу он решил, что я привычен к этому делу. А когда узнал, откуда я, то подивился: ”Из Сибири. И твои земляки не захотели принять тебя... Ты решился уйти”. Он сам тоже был из недавних беженцев. В детстве ему приходилось не раз слышать о постоялом дворе Качинска. ”Есть среди нас старики, — сказал он, — которые только и живут воспоминаниями. Предложи им сейчас хоть усадьбу, они все равно не уйдут из разрушенного Качинска”.

Старик взглянул на меня и сказал:

”Не задерживайтесь здесь, попытайтесь пробить себе дорогу. Мы, старики, уже не в состоянии вырваться отсюда, наши корни сидят тут глубоко. А для вас, насколько я могу судить, таких преград еще нет. Люди беднеют, поверьте мне, а в вас я не вижу конку-

рента. Я уже поклялся, что пошлю сына куда-нибудь подальше отсюда”.

Я вышел на улицу и остановился у разрушенных ворот. Ночное зимнее небо слабо освещало землю. Ко мне подошел крепкий мужчина. Его осанка и выражение лица сразу выдавали бывшего солдата. Теперь он служил сторожем и охранял постоянный двор от гоев и доносчиков. Мне было приятно встретить человека, который мог понять меня. Нынешней своей должности он добился исключительно благодаря проявленной настойчивости. Он пришел, учинил скандал и потребовал компенсации за нанесенную ему обиду, за ущерб, причиненный годами службы в армии. Грозил даже пойти жаловаться в полицейский участок.

”И ты тоже, если захочешь, сможешь вытребовать у них должность. Деятели общины трусы, небольшой скандал вынудит их найти для тебя постоянную работу. Но не соглашайся на временную”.

”А есть ли у тебя друзья?” — спросил я.

”Нет, никого нет. Я их всех ненавижу. Только за неимением другого выхода я тут остался”.

Ненависть промелькнула в его глазах. Такую же ненависть я встречал на дорогах. Она безгранична.

Я услышал поющие детские голоса.

”До крови избивает их меламед. Жизнь их не легче солдатской. Чуть свет, заставляют их подниматься с постели”, — объяснил мне сторож.

Мы стояли рядом, и сторож спросил:

”Скажи, а на тебя не нападает тоска по Сибири? Иногда мне хочется все бросить и вернуться обратно в Сибирь. А помнишь снег, ведь такого больше нигде не увидишь! А какой чистый там воздух! Я же никогда не надевал шинель, только тут, впервые, напялил на себя пальто. Да и кому оно нужно было... Люди говорят ”Сибирь”, а что это за красота — представления даже не имеют. Помнишь, какое там было небо, разве здесь оно такое? Да там небеса светились своим первозданным светом... Вот ты скажи, какого черта

меня понесло оттуда. Я же мог остаться, жить и умереть там, как умирают сибиряки. Здесь же человек не может умереть даже. Ты видел здешних гробовщиков?..”

Вдали показался начальник охраны.

”Отойди в сторону, мы еще наверняка встретимся”, — прошептал мой собеседник.

Я вернулся обратно, в помещение. Закутанные в одеяла люди спали, и лишь ветер гулял над их головами. Узкие проходы между лежащими вели в темноту.

Ко мне подошел низенький человечек. Он заметил, как я переговаривался со сторожем. Взгляд его светился удивительной честностью. Он разговаривал со мной.

”Много насмешников тут... — сказал он. — А вы были уже у старшего сына нашего раввина? Попытайтесь попасть к нему, лучше с раннего утра, до того как старейшины общины облепят его. И не обращайтесь внимания на насмешников. Они плодятся в наказание за наши грехи. Старшему сыну раввина нужен человек, как вы. Когда-то мы были хорошей общиной, но теперь торгаши завладели всем, и паломники присоединились к ним. Старший сын нашего раввина борется с ними, но нет у него той силы, что была у отца. Попробуйте пробиться к нему, такой человек, как вы, сможет это сделать”.

А когда он увидел, что мы совсем одни и только темнота окружает нас, прошептал:

”Мы вынуждены были уйти в подполье. Кругом продажность, которую больше невозможно выносить. Нас очень мало, и нам нужны новые люди. Здесь царят синагогальные старосты, поэтому мы ушли в подвалы, чтобы продолжать учиться так, как учил нас наш раввин”.

Потом он добавил:

”Вам это кажется удивительным. Простите меня, может быть, я не должен был вам всего этого говорить”.

Утром я стоял в дверях и смотрел на пожилого человека, сидящего за столом. Возле раскрытой книги горели две свечи. Это был старший сын качинского раввина. Я рассказал ему, кто я и откуда пришел. Он с большим вниманием слушал меня и глаза его сияли. Чувствовалось, что он ловит каждое мое слово, стараясь не пропустить ничего. Я подробно рассказал о себе и своем долгом пути. Но снаружи уже доносились шум и гам. Он возвышал голос и пытался мне что-то сказать. Он хотел задержать меня в своей комнате, но синагогальные старосты стояли у двери и не давали ему произнести ни слова. Он прикрикнул на них, но это не остановило их. Они снова ломились в дверь.

Наконец комната была взята словно приступом. Я пытался выбраться оттуда, но повсюду уже были приготовлены прилавки для товара, и пробиться сквозь кольцо было трудно. Торгаши покрикивали и переругивались, точно стремились этим еще больше утвердить себя. В конце концов мне удалось выйти наружу. Вставал день и озарял ненужным светом поля. На снегу лежали кучами серые базальтовые камни, словно их специально сложили тут. Рядом с ними никого не было. Камни поблескивали на снегу морозным инеем. Они очень напоминали сибирские скалы, которых ужасно боятся живущие там люди и осмеливаются приближаться к ним только ползком.

ПТИЦЫ

Птицы, по правде сказать, наши лютые враги. Они появились к концу зимы. Словно вырезанные из гибкого металла, долго кружили они над нами, так что в сумерках от них даже было темнее обычного. Вообще-то они близоруки, но запахи чувствуют, кажется, даже перьями. Как наткнулись на нас, так и не отставали.

Распахнув крылья, они устремлялись вниз, как брошенный якорь, и тут же, не шевельнув крылом, взмывали ввысь, меняя направление. Эти хищники питались трупами, но к нам почему-то, может, из-за плохого зрения, относились, как к добыче. Иногда они ошибались. Выдирали лоскут одежды и уносились ввысь, но тут же возвращались, точно их обманули, и выражали свое недовольство приглушенным ропотом.

В этих голых горах чего только не найдет человек. Но такие птицы редки даже здесь. Ветры их, что ли, навели. А может, и мы сами убогим своим существованием, лишенным надежд. Они кружились, отбрасывая на нас плотную тень. Пистолет у Шпигеля был испорчен. Да на что он был годен, разве что раззадорить их. Очень уж их было много. Могли позвать и других.

Мы, ко всему уже привыкшие, не знали, что и делать. Как-то слишком быстро навалилось на нас все это. Но казалось, что птицы подчеркивают наше убожество в этом ничейном крае, где властвуют крестьяне и разбойники. Может, загляни мы им в глаза, мы могли бы повлиять на них.

И ведь что удивительно: Зиндер придумал, как от них отделаться. Мы знали, что он хитер на выдумки. Умеет разговаривать с гоями, подкупать их, втираться к ним в доверие; но мы не думали, что и птичий язык ему понятен. В мирное время он торговал с лотка по деревням. Это занятие досталось ему по наследству. "Разносчик должен знать все", — сказал он как-то, и теперь его слова подтверждались.

Он посвистывал, помахивал палкой, выделявал какие-то коленца. Совсем прогнать их ему не удалось, но они перестали кружить над нами и красть нашу одежду. Они усаживались в сторонке и следили за нашими шагами. Зиндер решил, что если удастся подкупить их, то они не будут больше досаждать нам. На то они и хищники. И тут же проверил свою догадку на деле. Мы насобирали всякой

падали. Зиндер преподнес им этот дар. Дохлую лошадь они сожрали с аппетитом. Зиндер остался доволен. Они ничем не отличаются от крестьян. Взяткой всего добьешься.

Раз в день Зиндер подносил им угощение. Нахтигаль возражал: "Если мы будем так себя вести, они никогда от нас не отстанут. И потом, не всегда мы сможем исполнять взятое на себя обязательство. Откуда мы наберем столько падали?" Мы знали, что они ждут нашей смерти. Учужали, чем здесь пахнет. Они не отстанут от нас. Но пока что они не кружили над нами. И это соглашение было некоторым достижением. Наши преследователи, шедшие по пятам, могли бы обнаружить нас из-за птиц. Птицы, и не только зимние, волочатся за беженцами в надежде, что те рано или поздно издохнут. "С такими птицами, как наши, — сказал Зиндер, — по крайней мере, можно договориться. Они ленивы, и предпочитают получать, а не искать". Довольные тащились они за нами и только по ночам улетали поискать добавки. Нахтигаль был очень обеспокоен. Мало, мол, нам преследователей, так тут еще и птицы. Но Зиндер, умудренный в таких делах, успокаивал его: "До конца весны, по всем признакам, отстанут. Они не переносят жары. Сразу же дернут на север". Это, конечно, было преувеличением. В этих горах почти круглый год мороз, а лето короткое. Не откажутся они просто так от десятка людей, лишенных укрытия.

Шла весна. Снова показались в долине наши преследователи. Они промчались с какой-то особой легкостью. А мы углубились в горы, сопровождаемые нашим конвоем. День становился все длиннее, и мы двигались по ночам. Зиндер, не перестававший шутить и в трудные минуты, говорил: "Мы не похожи на других беженцев. За нами гонятся, и нас же сопровождают. Видно, трупы наши в цене. Иначе с чего бы это мы им так понравились".

— Что они нам устроят, когда мы перестанем давать им дань?

— Ничего. Только снова начнут кружить над нами.

Проверять не было смысла. "Пока берут, надо давать", — таков был жизненный принцип Зиндера. Наши скитания обрели новый лад. Птицы слонялись неподалеку, точно были нашей свитой, а мы их подкармливали.

Иногда в темноте мы ощущали их взгляды. Точно они думали о чем-то. Наверняка о нашей скорой смерти.

— Ты ведь близко их видишь, Зиндер. Что они там замышляют?

— Пока что они не обнаруживают своих намерений. Все больше дремлют. Видно, им не так уж плохо.

— Не отстанут они от нас.

Было их десятка два, а то и больше. Теплые весенние ветры слегка досаждали им, их перья истрепались, но признаков усталости они не выказывали. Обещания свои выполняли и не кружили над нами. Но по ночам иногда шумели. А долгое карканье, как и неосторожное кружение в небе, могли выдать нас. Зиндер отправлялся уговаривать их вести себя потише.

— Если мы приучим их к себе, они без нас уже никогда не смогут жить.

Они действительно привыкли к нам. Провожали нас своими близорукими взглядами.

— Они ненавидят нас?

— Не слишком.

— Почему же они не отстают от нас?

— Ждут, когда мы подохнем.

— И это ты не считаешь ненавистью?

Зиндер толковал их намерения с какой-то странной точностью, будто они беседовали с ним.

Иногда он рукой показывал им, в какую сторону двинутся холода. Но они не внимали этим указаниям. Они были погружены в ожидание. Порой они вдруг взмывали ввысь и повисали над нами плотным зонтом. Зиндер объяснял, что таковы повадки зимних птиц. Их терпение иссякает. Нужно дать им размять-

ся. Их изматывает жара. Мы черпали для них воду из луж, и Зиндер подносил им это питье в жестянках.

— Если они от нас не отстают, значит, скоро нам конец. — Их спокойствие более, чем что-либо иное, подтверждало это предположение.

Нахтигаль был недоволен ухищрениями Зиндера, и называл их жидовскими штучками. Мы только больше запутываемся. Нужен честный и здоровый подход. Бояться нечего. Зиндер не реагировал на эти возмущенные требования. Старый раввин не произнес ни звука. Его несли на носилках. Не раз собирались мы оставить его. Следовавшие за нами птицы все время пересчитывали нас и все ждали, не оставим ли мы носилки. Может, это удовлетворило бы их. Раньше сам раввин умолял: "Оставьте меня, я старик". Среди нас у него было немало врагов. В свое время, когда он был вполне здоров, он донимал сестер. Да и не только сестрам докучал. Стариком-то он был уже тогда, и болтовня его была невыносима. Нахтигаль прозвал его ябедой. "Как же мы можем спастись, когда сестры прелюбодействуют, — бормотал он, — а каждый думает, как бы ему удрать одному. Осквернен последний удел Божий". Никто не понимал, что он там бормочет. Он тихо нес свое одиночество среди других одиночеств.

Потом заболел. Отказался трястись на носилках. Но его понесли вопреки его воле. Он не был никому благодарен за это. Иногда, когда надо было идти особенно быстро, он молил оставить его. Голос у него был мягкий, точно он был не от мира сего. Но теперь никто не соглашался оставить его. Мысль о том, что птицы ждут его смерти, быть может, только его смерти и ждут, заслоняла все давние обиды.

С тех пор как появились птицы, люди ошивались возле носилок. Ждали, что же он скажет. Но он уже был слишком стар, чтобы говорить. На его белобородом лице читалась болезнь. Казалось, что он уже не сердится на нас. А это было нам больнее всего. Точно он смирился с нашим обществом. Может, потому,

что мы вышли из-под его власти. А может, он почувствовал, что мы чем-то близки ему.

Вдруг все переменялось. Птицы взмыли кверху, точно кто-то позвал их. Их было больше, чем мы думали. Они летели спокойно и твердо, будто только что вернулись из северных стран. Напрасно зывал к ним Зиндер. Они не замечали его, словно не были с ним знакомы. Птицы заслонили полнеба. Зиндер выглядел так, как если б его обжулили. С отчаяния он обратился к ним на языке гоев: "Опуститесь... Вы же выдаете нас! Мы на открытой местности. По ночам кричите, а теперь еще и летать вздумали... Опуститесь... Мы не принесем вам больше угощений..."

Раввина укрыли бурым мехом. Его болезнь — это наша болезнь. Зиндер размахивал своей палкой, не переставая. Но птицы не слушались. Они летели низко-низко, паря в весеннем воздухе. "Не могу я с ними ничего поделать", — чуть не плакал Зиндер. Шпигель вытащил свой сломанный пистолет и прицелился в птиц. Мы не выдадим раввина. Вы не получите его. Сестры рыдали, как бы чувствуя близкую гибель. Целых два дня парили над нами птицы, словно хотели, чтобы у нас закружились головы. Похолодало. Мы шли вперед, но они не отставали. Птичий зонт становился все плотнее. Но в один из вечеров они вдруг рванулись вправо, меняя высоту, словно ветры позвали их. Они рванулись так быстро, что оставленная ими пустота потрясла нас. Мы пригнулись, точно ослепленные горем. Хотелось вопить от отчаяния. Но почти сразу же мы поняли, что они учуяли неподалеку наших братьев. А птицы уже кружили над теми ближними горами, где еще не простыл наш след.

Раввин приподнялся, точно желая выдать себя, искупить грехи. Птицы были далеко от нас. Нашу смерть они проглотят целиком, они не оставляют ни крошки. И даже когда их нет, это одуряющее кружение не прекращается ни на секунду. Был у нас раввин, но и его мы скоро лишимся.

”А ведь это не мой жест”, — подумал он и усмехнулся. Перемены были, как листопад, но и то, что осталось, было уже не его. Кожа на лице сменилась, руки обросли волосами. И она менялась вместе с ним. Утратила свою мягкость, свое лицо; от холодного солнца шея ее покраснела. Это погода сделала их такими. Нет от нее спасения.

Много дней крестьяне на лошадях, с ищейками гнались за ними, загнали в болото, в камыши. Всю зиму их преследовали. К весне они уже умели плавать, взбираться на деревья, прятаться в пещерах, застывать на месте, слившись с природой, точно хамелеоны.

Однажды они обнаружили себя в открытом поле: были они иные, изменившиеся, словно и не те люди, за которыми гналась охота. Без страха стояли на опушке леса. Гои увидели их, поздоровались, и они ответили на своем языке. Их одежда потеряла городской вид. И шли они так, точно это был их собственный надел, где нечего опасаться. Только ночью они вновь обретали слова. Они разговаривали. Звуки украдкой пробивались тоненьким ручейком, лишь чуткое ухо могло уловить их. ”Что ты сказала? Лучше помолчим”. И тишина вновь накрывала их колоколом.

Иногда он не выдерживал. Выл, как зверь, которого сотрясает непонятная боль. ”Ш-ш-ш, ш-ш-ш”, — успокаивала она, и он зарывался лицом в траву.

Он сшил себе шубу. Туфли развалились, и он соорудил себе галоши, как у крестьян, и смазал их дегтем. Она сплела себе юбку. Они стали ближе к земле, забыли слова, разговаривали на местном диалекте. Печаль обволакивала их, точно густая жидкость, на покрасневших лицах появилась кривая улыбка. Так, наверное, улыбаются лошади, подходя к водопою. Иногда мелькало воспоминание, и они улыбались друг другу, как заговорщики.

Днем он сидел на берегу реки и удил рыбу. Она

собираала дрова, разводила костер. На камнях растирала ячмень, росший на опушке леса. Мимо проходили крестьяне, здоровались. Она разговаривала с ними. Он говорил, что беседовать с ними не полагается. Она смеялась. Такому смеху человек может выучиться только в лесу, у хищных зверей.

Пришло лето. Они разделись, изголодавшиеся по солнцу. Вода в реке согрелась, и они плавали. Какая легкость была в них. В полдень ложились навзничь, обсыхали. "Что ты говоришь?". Иногда бывало так, что он снова обретал язык. Она смеялась. Как крестьянки в поле во время жатвы.

Иногда они ссорились. Он бил ее, и она убегала. Он гнался за ней с бранью. Она выла, повалившись на землю. Летнее солнце царило над ними. Они сидели и пили его, как целебное питье. Говорили мало, точно родились бессловесными. Лежали, или спали, или плавали в реке, или гонялись за дикими голубями. Но иногда ночами лес просыпался с отчаянными криками, и они удирали вместе с птицами. Они знали: "господа" отправились на охоту. Лес спасается бегством.

Иногда, словно сквозь туман, она понимала: так не поступают, и говорила ему: "Так не поступают". Он смеялся, как смеются поденщики, когда "барин" велит собраться, чтобы священник мог их отчитать. Порой и он понимал, что так не поступают, и смеялся про себя.

Они научились вялить рыбу, сушить яблоки, выделывать заячьи шкурки, высекать огонь, печь лепешки из молотого ячменя. Он научился смотреть на облака, слушать ветер. По утрам она толковала его сны.

Временами на них нисходила благодать. Что-то из тех далеких лет; что-то, что когда-то в них было. И он пытался поймать убегающие краски. Она плакала. Он пытался говорить с ней. Почему ты плачешь? Она сама не знала. Что-то в ней плакало. Не она. Он говорил, это, наверное, мысли, это не поможет. Она

плакала. Он давал ей выплакаться, как дают ребенку побыть в колыбели.

Дни приходили и уходили. По воскресеньям она бывала в церкви с поденщиками. Вначале он пытался помешать ей, но она сказала, что положено ставить свечку. Вернувшись, заставляла его пьяным. Это ее пугало — он путался в словах. Она умоляла его: "Не разговаривай". Спьяну он лез обниматься. Пришла осень. Холодные ветры принесли запахи. Тоже что-то из тех, других, дней. Не знали, что. Какую-то тревогу, которая возникла и не уходила. Листья падали. Красные листья. Лес наполнился шорохами. Сквозь голые ветки виднелось небо, голое небо. Она жалась к нему и говорила: "Что будем делать в холода?" Он отдал ей свою шубу. Сельский священник, проходя мимо, говорил им, заблудшие дети, почему вы не строите себе дом. Зима, пора лесов и болот. Реки разлились, земля повлажнела от опавших листьев. "Где ты, почему ты меня оставляешь?" — говорила она, как только он отворачивался.

Ночью он забрасывал сети. Река потеряла покой, вода в ней бурлила. Улов стал скудным, дикие голуби улетели и больше не показывались. Они пробирались в огороды, воровали картошку и закапывали добычу в ямы. Ветры мешали им. По ночам они сидели у огня, но огонь не согревал. Он пил ячменную водку, и она была жгучей, как горячий яд.

Выпадали и тихие минуты. Меж волнами холода проглядывало солнце. Они сидели рядышком, погруженные в молчание. Могли бы разговаривать, как муж и жена. Но не разговаривали. Словно не было больше слов. "Не бей меня", — умоляла она. Но не он бил ее, а его руки. Здесь, на открытом воздухе, тело его стало крепче, руки обросли волосами, он мог вырвать дерево с корнем. Он ходил в село за махоркой. Возвращаясь, находил ее спящей. Набрасывался на нее: "Что ты делала?" Она плакала и убегала. Он гнался за ней, щипал. "Ты же еврей, а не гой", — говорила она. Тоже что-то из той, про-

шлой жизни. Но порой и он плакал, как плачут здоровенные гои у камня или у изваяния, или когда "барин" лупит их кнутом. Она пугалась его слез. "Что с тобой?" — спрашивала она. Он выдирает траву вокруг себя.

И вот пришла зима. Он напивался допьяна, чтобы согреться. Она собирала дрова.

"Если доверимся поденщикам, будет у нас дом на зиму", — говорила она. "Ты там совсем скурвишься", — злился он.

Она умоляла его и плакала. Но он знал, что это притворство. Зорко следил, чтобы ни на шаг не отходила от него, даже в деревню брал с собой, чтобы не оставлять одну. Ночью просыпался и говорил: "Где ты?"

Пронизывающие, обжигающие ветры не прекращались. Над их головами проносились бури. Поденщики, проходя мимо, звали ее ласковыми именами. На зимнее время поденщики уходили в кабаки. "Что ты палишься на них?" — упрекал он.

И ночью, когда ветер крепчал, он звал ее, мычал что-то непонятное на языке, который холод выжимал из него. Мороз лизал его, словно языки пламени. Она пыталась высвободиться из его объятий. Он говорил "нет".

А утром, к первому чистейшему снегу, ее не стало. Его ноги окоченели от стужи. Глаза потухли, но мысли прояснились. Он знал: поденщики вырвали ее из его рук ночью; она ушла, не разбудив его. Кинжал висел на ремне, не тронутый льдом. Он подумал: сейчас все ледяное: деревья, река, он сам. Но весной, когда вновь заструится тяжелая вода, он приведет ее сюда. На заклятие.

ХАНУККА 1946-го

В 1946 году, в Ханукку, на пустынном взморье Неаполя у четы Приделей родился сын. Не было мохела,

чтобы ввести его в лоно Авраамово, и ужас матери перевесил радость. Ребенок плакал, не переставая, весь барак сотрясаясь от его криков. Говорили, что в горах живет мохел, но никто не знал, как его найти. Другие считали, что обрезание ребенку сделают уже в Стране. С моря дули холодные ветры. Вода потеряла свою голубизну, и тяжелые волны выносили на берег зеленую пену.

Придели были уже немолоды, и незнакомая радость пугала их. Они стояли в дверях барака, держась друг за друга. В бараке играли в карты. Во всей округе не было соломы, и куча тряпья распространяла запах лизола, которым ветеринар поливал все вокруг. Женщина подошла и сказала, что в Неаполе можно найти странствующего мохела. Ветеринар явился взглянуть на новорожденного и промолвил: "Ребенок выказывает несомненные признаки здоровья". Ужас не покидал родителей. Все страхи, живущие в них, отражались в их глазах. Мать не отходила от двери, точно ожидала пришествия Мессии. Отец бегал в горы достать козьего молока. Он обменял несколько золотых на местные деньги. Раз в день приезжала полевая кухня и привозила суп. Это был тяжелый суп. Люди предпочитали есть сардины, оставшиеся в кладовой. Ветеринар давал ребенку снотворное. Родители сидели рядом с ребенком и охраняли его сон.

Они не знали, когда за ними придут и позовут на пароход. Казалось, о них забыли. Люди были горды и не ждали помощи извне. Сардин было много, разных сортов. Они легко могли провести здесь всю зиму.

"Почему бы тебе не пойти в Неаполь и привести мохела", — говорила мать. Она разговаривала сама с собой. Вся женственность ее исчезла, лицо высохло и сморщилось. Отец злился: "Куда я пойду сейчас, ветры. Кто же может добраться до Неаполя?" Зима давала себя знать. Горы посерели. Дороги утонули в грязи, и только цистерна с супом приезжала в положенный час, в полдень.

За годы войны ветеринар переродился. Был мал и добр, точно и не ветеринар, а врач, повидавший немало страданий. Он приходил к родителям, сидел с ними, пытаясь утешить. В карты играть не умел, и картежники звали его "ветеринар".

Шепотом он старался уговорить мать: нет ничего страшного в том, что ребенок не обрезан. Еще успеете это сделать, если захотите. Кто знает, какие войны нам еще предстоят. Отец сидел на полу и слушал. Слова ветеринара по капле проникали ему в душу.

Сидя на куче тряпья, мать не переставала причитать: как же это можно быть необрезанным. Но это не был ее голос. Всеми своими страхами она цеплялась за эту фразу, как за соломинку. И ветеринар, куривший сигарету за сигаретой, говорил, что лучше сперва, до операции, дать ребенку привыкнуть к зимнему воздуху, да и условия здесь антисанитарные.

Мать непрерывно плакала, но муж не подходил утешить ее. Она плакала в одиночестве: "Не понимаю, — говорил ветеринар необыкновенно мягким голосом, — отчего вы плачете? Обрезание не прибавит ребенку здоровья". Над ребенком витала какая-то тяжелая дрема. Отец отправился искать солому и вернулся с пустыми руками. В день, когда положено совершать обрезание, ребенок открыл глаза и заплакал. Мать зарыдала, точно это был знак свыше. Ветеринар, стоявший в эту минуту рядом, не знал, как ее успокоить. "Ребенок здоров, — твердил он, — вы сможете ехать с ним". — "А разве здесь во всей округе нельзя найти мохела?" — бормотала она в отчаянии. Левый, больший глаз Приделя замер, покрылся кровавыми прожилками. Он тоже не находил себе места. Если б не ветеринар, он нашел бы повод сбежать, только бы не видеть, как жена сидит и гаснет на его глазах. Три года жизни в лесах убили в нем любовь. И ребенок, появившийся на свет, оборвал последнюю нить. Правда, Приделю

было уже пятьдесят три, зимы и дороги захлестывали его.

Ветры с моря и ветры с суши обдували барак. Люди заткнули окна тряпками. Двери закрыли. Поставили три тяжелых примуса. Три лампы освещали низкие столы, за которыми играли в карты.

Отец не произносил ни слова. Весь его гнев сосредоточился в разросшемся левом глазу. Этот левый глаз переходил в их роду из поколения в поколение. Благодаря ему Придели отличались от прочих людей. Сейчас он сердился на жену, которая так несвоевременно произвела на свет младенца. И ночью увеличенный левый глаз его не переставал двигаться, излучал печальную синеву. Даже ветеринар, привыкший и не к такому, вздрагивал при виде этого глаза, занимавшего пол-лица.

Женщина не искала спасения — горе пересилило страх. Она смотрела в знакомый левый глаз мужа, как смотрят на рану. Щеки младенца порозовели, по его маленькому личику было видно, что он уже привыкает. Люди побросали карты и подошли взглянуть. Мать не гордилась ребенком — словно видела то, чего не видят другие. Больше не смела выкликать: "Где мохел?" Боялась мужа. Мягкий, безболезненный свет озарял теперь лицо ребенка. Он искал источник света своими слепыми глазами. Мать не двигалась с места. Придель метался, как пес, сорвавшийся с поводка. Его левый глаз пылал. Люди опасались его и передвинули низкие столики поближе к ребенку. "Мохел, мохел", — беззвучно шептали губы женщины. Теперь и она искала, куда спрятаться от гневного левого глаза мужа.

Мохел не приходил. Не мог прийти. Холод усиливался. Дороги обледенели. Люди увлеклись игрой и не вставали из-за столов. Мать кормила ребенка, и он не плакал. Время от времени игроки отрывались от карт и поглядывали на него. Из всех желаний осталось только одно — урвать еще хоть часок для игры. Глаз Приделя горел над ними, как фо-

нарь. Люди стеной загораживали от него жену. "Мохел ей нужен, мохел", — бормотал он. Люди слышали его шепот, но не отвечали ни слова. Цистерна с супом приезжала ежедневно, но не привозила вестей из города.

Ночью, не сказав никому ни слова, Придель ушел, а наутро оказалось, что он исчез. Люди положили карты и стали вглядываться. Берег был пуст, только тяжелые волны поднимали зеленую пену. Ветеринар надел плащ-палатку и пошел его искать. В полдень вернулся ни с чем, весь промокший. Люди не играли в карты. Круглый, тяжелый глаз Приделя продолжал пылать, хоть самого Приделя уже не было. Мать не плакала, она укачивала младенца.

После полудня зимняя буря утихла. Люди надели накидки и пошли искать Приделя. Ветеринар, служивший в свое время в Монте-Негро, в спецбригаде, указывал им путь. Берег был огромен и пуст. Далекие огни, сталкиваясь и разбиваясь друг о друга, излучали зеленую муть. Ни души, ни звука, только шум волн. Люди, посвятившие игре столько дней, больше не играли. Им казалось, что левый глаз Приделя не покидает их. Они толпились возле кучи тряпья, на которой лежал ребенок. Ребенок искал свет своими незрячими глазами. Какая-то мудрость, невиданная среди младенцев, сморщила его лицо. Мать говорила, что это от недостатка молока. Если бы достать коровьего молока, он выглядел бы иначе. Люди на минуту забыли о Приделе и уставились на младенца. Некоторые говорили, что он видит. Мать возражала: как он может видеть, он же необрезанный. Кто-то принес влажной соломы, и ветеринар продул ее своей машинкой.

Буря утихла, и клочья лазури усеяли небо. Голубые, как левый глаз Приделя. Ребенок, лежавший на соломе, смотрел в окно. Его левый глаз раскрылся все больше и больше, пока не заслонил правый. Точно, как у отца. В эту минуту мать поняла, что ее мужа Приделя уже нет в живых. Она рас-

стегнула платье и стала кормить ребенка, и все время не переставая целовала его левый голубой воспаленный глаз.

Назавтра пришел мохел, беженец, уже много лет не совершавший обряд обрезания. Он вгляделся в ребенка и сказал: "Нет, нет, не гожусь я для этого".

И ушел.

Ицхак Бен-Нер родился в 1937 г. в мошаве (кооперативном сельскохозяйственном поселении) Кфар-Иехошуа. Учился в Тель-Авивском университете. Радио- и тележурналист и критик. Завоевал известность сборником рассказов "Закат в деревне" и романом "Человек оттуда". Лауреат премии имени Ш.-Й. Агнона. Для большинства его произведений, написанных от первого лица, характерен тонкий психологический анализ и проникновение в душевные конфликты героев.

ЗАКАТ В ДЕРЕВНЕ

I

Еще позавчера, когда кончился дождь, подняла жена моя Юта голову и через окно своей комнаты, быть может, в последний раз обвела взглядом тот чужой и постылый уголок, где доживает она свои дни в тоске и печали. Под этим свинцовым небом, когда придет время, мы отвезем ее на кладбище.

В дождливые дни блестят от воды, собравшейся в колеях, все семь дорог, ведущих на круг нашей деревни, — даже те, по которым уже много лет не проезжали телеги. Под небом, затянутым чернотой, не суля никакого просвета, сверкает деревня, словно солнечный диск, выпустивший семь отростков-лучей, как на картинках, которые мы рисовали в годы далекого детства. И дрогнули губы моей жены, когда она посмотрела в окно. Должно быть, беззвучно прокляла она на языке своей страны мою деревню и ее обитателей.

Неделю назад на дороге, проходящей неподалеку от ее окна, шестнадцатилетний подросток по име-

ни Руби Цури трактором, который доверил ему отец, задавил трехлетнего ребенка, приехавшего вместе со своим отцом из города погостить у одного из наших односельчан. Ребенка с перебитой спиной отправили в больницу в Хайфу, а Руби Цури забрала полицейская машина. Возвращаясь с кладбища, где я работаю, я видел, как парнишку, будто сраженного молнией, укладывали в машину. Потом члены правления приложили немало усилий, чтобы как-то поправить дело и не дать ему хода. А тут еще оказалось, что у Руби не было прав на вождение трактора. Но в конце концов, если я не ошибаюсь, им удалось все замять. Так уж сложилось — ничто не должно выходить за пределы деревни — ни хорошее, ни плохое.

Здесь я родился, и если бы кто-нибудь знал, как дорога мне эта деревня: деревня и люди, поля и сады, летний и зимний убор ее небес, мощные улицы, зернохранилища, птичники, коровники и лужайки, рокот тракторов и цепь ветвистых кипарисов, чьи заостренные кроны расстилают мягкие тени и что-то скрывают в темно-зеленой меховой вышине. Я люблю ее детей; люблю дороги, пыльные летом и раскисшие в зимнюю пору; солому, которую клубит ветерок за околицей; коров, сгрудившихся у железной изгороди и с недоумением глядящих на мир влажными стеклянными глазами; кудахтанье кур и пустые слова, которыми перебрасываются люди при встрече; захлеб шланга, всасывающего молоко из ведер, и запах свежего хлеба, плотного и квадратного, который выпекается только у нас; загорелых парней и девушек, накрепко сбитых, пригожих и грубоватых.

Я люблю закругленность мощеной дороги, опоясывающей деревню; узкую колею, уходящую в темноту цитрусовых садов; стрекотание оросительных фонтанчиков и разлет водяных капель; щебетание птиц, гнездящихся среди ветвей; облака мучной пыли, повисшие над элеватором; детей в высо-

ких сапогах, месящих грязь в лужах у гаража; голубиные стаи, отдыхающие между полетами на высоких эвкалиптах; заброшенную железную дорогу, поросшую травой; поля, засаженные клевером и сорго, ячменем, кукурузой и хлопком. И пустынные часы полуденного зноя, и горизонт за горами, откуда пробиваются к моей деревне последние лучи далеких соблазнов.

До чего дорога мне эта деревня, где много людей и много труда, много садов и много травы, много скота и много забот! Пусть даже не отвечает мне тем же моя деревня и ее обитатели. Кто я для них? Я готов положить за них душу, только бы жили они и здравствовали на белом свете, потому что на них вся надежда. Иногда мне хочется встать во весь рост, собрать вокруг себя односельчан и обратиться к ним со словами: "Крепитесь, родные мои, будьте насто-роже". Мир погружен в пучину, меч сшибается с мечом, огонь пожирает огонь. Страшная пропасть разверзается под ногами, чтобы поглотить всех — менее грешных и более грешных. На краю этого мира островом праведной красоты стоит моя деревня. Трудолюбивы люди, живущие в ней, не таят они зла, не вынашивают злых замыслов. Каждый делает свое дело, воздух пропитан хвойным покоем доброго труда. Высятся горы яиц, течет сплошной белизной молоко, пламенеют апельсины. Благодать.

Как уберечь эту благодать, безнадежно допытываюсь я у себя. Где найти силы отстоять этот остров зелени и покоя, трудолюбия, справедливости и неприхотливой любви, которая, в отличие от моей, не прорывается наружу в заезженных словах; остров, где люди живут в мире с собой и в дружбе с другими. Как оградить его от дурных помыслов; от зла, бурлящего за бортом; от козней внешнего мира, где жизнь искорежена и беспокойна, где каждый нерв напряжен до предела?

Я вижу, как в деревню из армии возвращаются парни. Глаза их, смотревшие когда-то открыто и уве-

ренно, становятся беспокойными, юркими, с прищуром сомнений. Мир считает тонкие перегородки, которыми пыталась отгородиться деревня, и это совсем не те юноши, вернее, совсем уже не юноши, потому что юность уступила место зрелости, но при этом что-то сломалось. Они лишились уверенности и во вчерашнем и в завтрашнем дне. Мир заронил в них сомнения, беспокойство и страх.

Я высок и широк в кости. Говорят, когда я встаю во весь рост и расправляю плечи, то одним своим видом невольно навожу страх на тех, кто видит меня впервые. Бог наделил меня силой. Мне было шестнадцать лет, когда в виноградник покойного отца забрались солдаты Иорданского легиона и стали набивать виноградом свои котелки. Я вышел один против троих и изрядно наломал им бока. Ружье английского образца, которое наставил на меня один из них, я вырвал и сломал о колено. Капрала, не уступавшего мне телосложением, увезли в военный госпиталь в Хайфу. Два дня я скрывался от полиции в зарослях возле старого кладбища, пока член правления нашей деревни Натан Гордон не уговорил меня отдаться в руки властей. Потом я отсидел три недели в хайфской тюрьме в одной камере с двумя братьями — ворами из Тира и мелким жуликом — торговцем из Иокнеама. Все это время мои односельчане хлопотали, не покладая рук, пока не добились в конце концов, чтобы меня освободили без суда.

За это и за многое другое я благодарен деревне. Мне хочется встать при въезде, широко распахнуть руки и укрыть, защитить всех, кто так дорог мне и любим. Пусть отдохнут они в моей тени, пусть минуют их все беды и прохладный хвойный покой низойдет на мою деревню и ее жителей.

Мне сорок три года, и голова моя седа, — там, где еще остались волосы, седые и волосы на груди. Но меня по-прежнему причисляют к молодым, потому что я был первым ребенком, увидевшим свет на

этом холме вскоре после того, как сюда прибыли поселенцы. Многие, кто родился после меня, обзавелись уже семьями, дети их подросли, но сами они все еще считаются молодежью. Я честно продолжаю ходить на их собрания и вечеринки. Один, потому что жена моя Юта ни разу не согласилась пойти вместе со мной. Так сижу я среди них, стараясь казаться причастным, но все время боюсь причинить неудобство, потому что мне ли не знать, как мало общего у меня с этими парнями, которые лузгают семечки, развалиясь на бетонном полу, и румяными девушками в коротких юбках. Между нами годы и годы.

После того, как стало известно, что моя мать беременна, что она скоро родит меня и брата, переполошились первые поселенцы. Все жили в одном крытом жестью бараке и — неужто забыли мои родители, что на общем собрании решено не обзаводиться детьми до тех пор, пока не будут построены домики для каждой семьи. Но Еврейское Агентство, черт его подери, задерживало строительство, а потом среди поселенцев вспыхнула эпидемия, и деторождение опять было отложено. Так и получилось, что я по крайней мере на три года старше всех, кто родился в нашей деревне. И действительно, посмотрите на меня и посмотрите на них: узкокостные, тихие, мечтательный взгляд, волосы еще черны, зубы сверкают в улыбке, молодость в расцвете, жизнь еще впереди. Годы стоят между нами. Чужой я, к сожалению, среди них.

Был ли я таким, как они? В детстве я играл один на заброшенном пыльном пригорке в тени кипарисов. Покойная мать часто рассказывала о моем брате-близнеце, умершем вскоре после рождения.

— У него были светлые волосы и черные глаза, — говорила она, и это сочетание, казалось, не переставало ее волновать.

— Ну, ну, ты же знаешь — у детей цвет волос и цвет глаз часто меняются, — словно успокаивая ее, говорил отец.

— Нет, что ты? — стояла на своем мать, будто видела в этом какое-то чудо.

Помню, как я часами возился на пыльном заброшенном холмике в тени кипарисов. Спустя несколько лет вдалеке начала появляться маленькая девочка в тоненьком грязноватом платьице, которая издали разглядывала меня, не решаясь приблизиться. Я, наверное, вытянул из него все жизненные соки, поэтому он и умер, — раздумывал я, с остервенением разбрасывая комья земли под пристальным взглядом девочки. Может, уже тогда я казался переростком и внушал страх.

Сейчас, сидя у кровати жены моей Юты, которая доживает последние дни, я вглядываюсь в те немногие фотографии, которые сохранились со времен моего детства. Короткая стрижка, узкий лоб, взгляд в упор. Совсем ребенок, но брови срослись, рот плотно сжат, плечи покаты. Брюки-гольф, большие тяжелые ботинки на босу ногу. На групповой фотографии второго класса сельской школы, куда я ходил в соседнюю деревню, заметен просвет, который отделяет меня от остальных. Дети тянутся друг к другу, им весело. Со старой фотографии доносятся их приглушенные крики и смех. Я стою на отшибе, нахохленный, застывший, чужой, и жду, когда же фотограф наконец закончит свое дело. И дело сделано. Снимок готов. Я запечатлен и оставлен таким на всю жизнь.

Я еще не стар, а голова моя седа, и какая-то пелена временами застилает глаза. Я вижу все словно издалека. Жизнь в нашей деревне бьет ключом. То и дело проезжают тракторы, за ними тянутся повозки, груженные зеленью. Не смолкает детский гомон в открытом бассейне. Загорелые женщины переговариваются во весь голос в магазине, толкая тележки с покупками. Все в нашей деревне идет своим чередом, и в том, что прожито сегодня, — залог и источник завтрашней жизни. Во мне же молодости почти не осталось. Совсем стара и жена моя Юта, которая

прожила на этом свете на шесть лет больше меня. Сейчас она на пороге могилы. Ей всего сорок девять лет, а жизнь, в которой было два взлета и одно падение, уже позади. Не прошло и нескольких лет после нашей женитьбы, как тело ее раздалось и обмякло. Задолго до того, как Юта слегла, еще тогда, когда она передвигалась по комнатам, стараясь хоть что-то сделать по дому, ее халат был всегда измят и распахнут, некогда прекрасные волосы поредели и были кое-как собраны в пучок на затылке. Глаза у Юты уже тогда были вечно красными. По ночам она дожидалась, пока ей покажется, что я уже сплю, и тогда начинала плакать. Так, отгородившись от всех, она проплакала много ночей, а днем наставал мой черед: я оставался один (а работаю я всегда в одиночку), и меня разбирала злость. Мне хотелось, чтобы она полюбила то, что так дорого мне на этом зеленом обжитом клочке земли, но все мои усилия были напрасны. Молча, упорно, остервенело она отказывалась полюбить любимое мной.

Сейчас у меня нет ни обиды, ни зла. Уже несколько лет нам просто не о чем говорить. Бури давно пронеслись; давно уже не задевают за живое, не обдают горячей волной воспоминания о тех исступленных днях и ночах на простынях, влажных от пота, о близне бедер, раскрывающих темное лоно и уносящих в блаженство, о переплетении сцепленных рук, ненасытности ртов, криках, рожденных плотью и возвращающих ей острую сладость мгновения. Как будто не она была похищена, уведена от мужа и пришла ко мне, к похитителю, бросив все: воспоминания, любовь, сочувствие и долготерпение, окружающие ее, устроенную, налаженную жизнь. В моей комнатухе в старом бараке, во дворе за домом родителей, за спущенными жалюзи и запертой дверью, меж стен, оклеенных толем, под жестяной крышей, пышущей жаром, мы разрывали друг друга на части. Она была молода, белокожа, ее плотное гладкое тело дразнило, звало, на щеках вдруг появлялся

румянец, будто я был у нее самым первым, голубые глаза и приоткрытые губы не могли ни скрыть, ни приуменьшить разбивавшего ее желания. Белокурые волосы, широкие бедра, тяжеловатая мягкая грудь. Дочь другого народа, привезенная мужем из Польши. Про него знали, что он еврей, но никто не знал, приняла ли жена его веру, а поскольку они поселились в нашей деревне, то никому и не было до этого дела. Никто не стал придирается и тогда, когда мы поженились — ни служитель раввината, ни раввин, сочетавший нас браком. Только старики, родители тех, кто живет в нашей деревне, отворачивались от нее, как от нечистой, когда она проходила по улице.

Это было давно. Уже много лет не выходит Юта на улицу, и все заботы о еде и одежде лежат безраздельно на мне. Неужто станут ворошить прошлое сейчас, когда она умрет, — с замиранием сердца думаю я, сидя в соседней комнате, ожидая. За двадцать два года, прожитых вместе, я ни разу не спросил, перешла ли она на самом деле в еврейство, и никогда не доискивался, прячет ли она в глубине души остатки веры, в которой она росла. В те безрассудные часы, когда время, казалось, останавливалось и не было страха, а были только чувство вины, и боль, и ненависть, и страсть, тогда в беспамятстве и иступлении губы ее шептали имя Иисуса и по телу, которое сливалось с моим, пробегала дрожь, словно и вправду касался ее в тот самый миг перст Божий.

Тела покрывались потом, пот впитывался простынями и проступал вновь. Жестяная крыша раскалялась, а неподалеку, в тени своего виноградника сидел мой отец и, должно быть, тяжело вздыхал. Он знал все, но не говорил мне ни слова. Я причинил ему много горя, но не услышал ни слова в упрек. Под оголенным пылающим солнцем мы сжигаем друг друга в объятиях, от его пламени занимаются все семь дорог, ведущие к нашей деревне, солнце сжигает наши тела, и Юта, любовь моя, уве-

денная от другого, губами, искусанными до крови, молит: "Йезус, Йезус". Сейчас, когда я перебираю в памяти эти картины, в них нет для меня ничего мающего, ничего прекрасного, ничего.

II

Сейчас я знаю, какое зло я причинил много лет назад. Страшное зло. И все, мы, кто пострадал тогда, ютимся на одном клочке земли, ходим друг мимо друга, и не можем разойтись, разбежаться по свету. Изодня в день я вижу сына Юты Ури и дочь Изу. Они выросли, обзавелись семьями, родили детей и получили наделы — все, казалось бы, кончилось по-хорошему. Вижу я и ее мужа Бено. Про себя я по-прежнему зову его "ее муж", и даже в тех редких случаях, когда мы разговариваем с ней, я говорю ей иногда "твой муж", хотя наш брак заключен по закону, и по закону развелась она с ним, и женаты мы уже двадцать два года. Большое зло причинил я и им, и нам, но не только из-за этого все дальше расходимся мы — жена моя Юта и я, — вот уже десять лет мы почти не нужны друг другу. Все ее мысли, едва родившись, возвращаются в прошлое — туда, где муж ее Бено, сын Ури и дочь Иза. Они — вся ее жизнь, и мне в ней нет места, разве что в тех обрывках воспоминаний, старых и затаенных, которых она стыдится, если они мелькают время от времени в ее мозгу, где лихорадочно бьется живое страдание, да в повседневных заботах, которые были у нее, пока она не слегла окончательно. Я, наверное, мог бы полюбить ее снова, мог бы одной лишь силой желания воскресить былую привязанность, но, увидев, что ей нет до этого никакого дела, отступился и я.

Немотой и неслабеющей болью мы расплачиваемся за содеянное, за бессердечность, за причиненное зло. И хотя эта несчастная женщина, делящая со мной

полупустой домишко с потрескавшимися стенами, виновата не меньше меня — ведь она была тогда уже зрелой, родившей двух детей, она была старше и опытнее меня, больше повидала на своем веку и хорошо знала, что значит начинать жизнь сначала; мне же, когда свела нас судьба, было двадцать лет, и безрассудства во мне было больше, чем опыта — я давно уже готов принять на себя все наказание, каким бы тяжелым и страшным оно ни было, насколько бы оно ни превышало то скудное и недолговечное, сверкнувшее, как сильная молния, что мы получили в награду. Я не боюсь. Все, что сделано, сделано мной, и сейчас надеяться не на что. Не мне пребывать в жилище Господнем, не мне обитать на святой горе. Слишком поздно я понял, где правда, но поняв, я готов ответить за все, и да простятся все грехи моей деревне и ее обитателям, моей жене, которая загубила жизнь со мной, ее мужу Бено, который всегда опускает глаза, когда мы сходимся и расходимся на дороге, и ее детям, которые иногда стучат в нашу дверь, осведомляются: "Мама дома?", будто она когда-нибудь покидает свой застенок, и проскальзывают мимо меня в отгороженный мир ее комнаты.

С годами стала подтаивать боль, подозрительность, чувство вины, и хоть какое-то утешение нашла жена моя Юта в детях. Мне стоило это большого труда — не напрямую, через других я упрашивал, умолял, и в конце концов они пришли. Сначала дочь Иза перед уходом в армию. Она пробиралась украдкой и заходила к Юте. Потом в комнате моей многострадальной жены появился и сын Ури, который постарше и, стало быть, хоть он был тогда совсем маленьким, все что случилось, случилось у него на глазах. Он приводил жену и ребенка. В глазах Юты вновь загорелся слабый свет. Назад пути не было, но расстояния вдруг сократились. Уже не световые годы. Всего лишь несколько шагов. Ведь прошло столько лет.

Тогда я был молод и напорист. В армии, где девушки смеялись над моей стыдливостью, силы мои еще приумножились, и, когда я вернулся из армии, а она с мужем, сыном и грудным ребенком поселилась в небольшом бараке на отшибе среди высокого бурьяна против молодежного клуба, который с давних пор стоял под замком, тут-то все и началось. Ее муж Бено работал в правлении — невысокий, щуплый, гладко расчесанный на пробор, зимой и летом в плотном костюме. Дни, когда он корпел над бумагами, ночи, когда засиживался в правлении, и дни, и ночи, когда он уходил на военные сборы, его жена проводила со мной. С чего это все началось? Да, собственно, ни с чего. словно само собой. Вот я помогаю разбить огромный ящик, в котором почти весь их скарб, привезенный из-за морей. Вот она выносит мне какое-то питье. Нет, просто воду из ледника. Я раскалываю брусок льда и прикладываю осколки к влажной, голой, разгоряченной спине. Я чувствую ее взгляд. Она смеется, я беру кусок льда и провожу по ее лицу. Смеясь, она пытается увернуться, но в ее глазах уже написано все. Среди разросшегося чертополоха я овладеваю ею впервые. Ее дочь спит рядом в бараке, сын в детском саду, муж на работе; по дороге, до которой рукой подать, проезжают телеги, груженные мешками с кормом для птиц, и женщины с кошелками идут в магазин, а мы, как животные, приладились друг к другу, и все, что копилось во мне годами, пока я не встретился с ней, прорвалось наружу и устремилось к ней, и нет этому конца, и нет конца ее неутомимости, и нет конца тому, что заварилось потом.

Через несколько месяцев — местечко наше небольшое, а я тогда еще не знал, что такое стыд — все выплывает наружу. Люди перешептываются, потом начинают говорить открыто. Что-то меняется во взгляде отца, он поглядывает на меня испытующе, с опаской. Никто не пытается поговорить со

мной. Но я никого не виню. Наверное, члены правления предпочли не вмешиваться в это дело, сочтя его слишком личным. Да и я казался им каким-то чудным, а она была в их глазах блудницей-иноплеменной.

От всего этого — от усмешек, шепотка, косых взглядов ее муж Бено пытается покончить с собой. В заброшенном молодежном клубе на кучах газет, которые собираются для армии и никогда не отсылаются туда, Бено со вскрытыми венами находит его сын Ури. Очки аккуратно положены в верхний карман пиджака, галстук на месте, губы плотно сжаты, как будто силой последнего озарения он осознал, как плохо ему жилось, и, стало быть, то, что он делает — необходимый, единственный выход. Его жена в это время со мной. Ребенок, как взрослый, находит нас и зовет на помощь меня. Меня?! Да, меня.

Я беру ее мужа на руки, обмякший, почти ничего не весящий тук. Я несу его в поликлинику, и кровь из его перерезанных вен капает на меня, на траву, на дорогу. Против воли его привели в чувство, а я просидел всю ночь в давно облюбованном потаенном местечке на кладбище, чтобы не попадаться на глаза отцу. Наутро я вернулся домой и, потупясь, попросил отца продать своих нескольких коров и отпустить меня в Хайфу. В те дни бастовали моряки торгового флота, и владельцы кораблей искали им замену, чтобы суда не простаивали. Не обращая внимания на тяжелые взгляды бастующих моряков, я нанялся на корабль.

Я убегал. Хотел все забыть. Мучаться забыванием. Убежать. Но, когда мы подходили к Кипру, тоска взяла верх — тоска по отцу, по односельчанам, по родине, по Юте, по ее мужу, который остался жить со своим позором, по растрескавшимся деревенским дорогам, по виноградникам. Все мечты повидать свет, все надежды забыть о прошлом рассеялись, как дым. Как ребенок, который не может

шагу ступить без материнского полапа, я сонел на берег в Фамагусте. Ленег у меня не было, и из консульства послали телеграмму на адрес правления нашей деревни. Не прошло и дня, как был получен ответ: правление оплатит мой обратный проезд, и в тот же вечер я был на борту корабля, который вез в Хайфу стало племенных югославских коров. А еще через сутки я вернулся в деревню. Полями, украдкой, я пробрался домой, и там отец рассказал мне, что Бено остался в живых. До сих пор на затылке я чувствую взгляд. Это смотрит на меня мой отец.

Полгода, а может и больше, мы избегаем встреч, чтобы не прорвалось снова все то, с чем нам не совладать. Она почти не выходит из дома, а когда выходит, то будто на общий суд. Она чужая, поэтому крест, который она несет, еще тяжелее. Каждый день, закончив работу в положенный час, ее муж забирает сына и дочь и вместе с павшей женой, их матерью, запирается в стенах барака. И так до тех пор, пока я не выдержал. В одну из ночей я прокрался в заросли чертополоха, в котором ребенок мог бы прятаться, не сгибаясь. Я стоял на коленях против ее окна, освещенного керосиновой лампой, и ждал. Среди бурьяна. Всю ночь. Одежда промокла от росы, а внутри было жарко от безумной тоски по теплу ее тела. И так всю ночь.

Ни одному из нас не было суждено забыть, и наутро все прорвалось и накатило на нас с новой силой. Ее муж вышел на улицу, и увидел меня, и прошел мимо, будто не видел. Потом вышла она, и увидела меня, и побледнела, и не могла сдвинуться с места. Так мы стояли друг против друга, а с дороги, проходящей за чертополохом, на нас смотрели односельчане.

Потом все стало явным, и ее муж Бено смирился. Мы не считались ни с чем. Ночи напролет она проводила в моем бараке во дворе за домом родителей. Я старался не попадаться на глаза отцу, а она улучала минуту, чтобы повидать детей, пока отец не

успевал забрать их из детского сада и из школы. Мужу сочувствовали, меня не винули — ведь я был своим и в хорошем, и в плохом, да и некая придурь водилась за мною всегда. Другое дело она — ее считали виновной во всем, хотя никто не говорил об этом открыто. Когда умер отец, а умер он от горя и от тяжелой болезни, члены правления долго утешивали Бено, пока он не согласился дать ей развод. Потом почти без промедления нас поженили — в Хайфе, во дворе раввината, свидетели с улицы и один член правления. Я в белой рубашке и в полосатых отцовских брюках, перешитых на скорую руку и до невыносимости тесных. Она — чужая, живущая среди чужих, в белом платье с букетом роз, и нет у нее никого, кроме меня. В грязной гостинице на улице Пророков, отдав мне свое тело, жена моя Юта начала плакать — горько, безудержно и протяжно, как телка под ножом мясника. Она проплакала всю ночь, и тогда в первый раз я увидел ее слезы. Вот она плачет, а я мну ее тело, не отпускаю, не даю передышки, потому что сил во мне столько же, сколько злости — на нее, на себя, на эти рыдания.

Хорошие люди в нашей деревне. Ее мужу и детям был выделен дом. Может, чтобы хоть как-то скрасить им жизнь, а может, чтобы не вышла эта история за круг кипарисов, запорошенных пылью. Чтобы еще как-нибудь загладить вину, правление решило, чтобы к ним на дом ходила женщина из йеменских евреев — убирать, готовить обед, стирать белье. Так наша деревня пыталась хотя бы немного поправить то, что наделали мы. Как в истории с Барухом Зрубавелом, который переспал с девушкой из маабарот*, она забеременела, и пришлось утешивать родителей, чтобы те не подняли шума, и заботиться обо всем, что касается аборта.

Сколько можно было выносить взгляды одно-

* Временные лагеря для репатриантов в начале пятидесятих годов.

сельчан, их молчание: знать, что они все знают о нас? Обстановка в деревне была тяжелой, и я, скрепя сердце, ради нее, подпался на уговоры членов правления и переехал в город. Мы поселились в Хадере. Я начал работать на упаковочной фабрике, где делали ящики для питрусовых. Ну и годик отбыли мы там! Я задыхался. Детей нам Бог не дал, да и не стоит об этом. Дышать становилось трудней и трудней. Я не могу жить нигде, кроме деревни, даже если она превратилась для меня в суший ад. Не могу. Меня разбирает тоска по деревне, ее тянет к детям, и забились уже в ней первые пульсы раскаяния, и вроде бы нечем нам больше помочь друг другу, и наше короткое счастье кончилось раз и навсегда.

И вот я надел свой свадебный наряд, взял отпуск и прямо с утра явился в правление. Я взмолился и был услышан. Я не мастер на длинные речи, но на этот раз слова нашлись сами собой, и члены правления пошли мне навстречу. Ведь все же я свой, и они мне свои. Прошел ровно год, и мы вернулись в деревню, готовые ко всему, что нас ждет — взглядам, осуждению, насмешкам и одиночеству. Я не могу жить без этой деревни. Не могу — и все тут. Старой отцовской косой я расчистил сад вокруг запустелого дома, где жили родители. Топором разбил деревянный барак, оклеенный толем, храм наших страстей. Заштукатурил трещины в стенах дома. И вот я хозяин — и дом у меня, и надел, и жена, и живу я в старой доброй родной деревне. Постепенно, будто невзначай, деревня стала возвращать мне покой, улеглись понемногу тревоги, стало легче дышать.

За все это я благодарен деревне и ее обитателям. Невидимая нить связывает нас, членов одной семьи — добрых и злых, праведных и грешных, и чисто в семье и светло. Я благодарен за то, что они простили меня и разрешили вернуться. Мне дорог каждый. Я сижу в большом кинозале, где крыша из черепицы и дует из окон, и не смотрю на экран. В полумраке я вглядываюсь в лица односельчан. Молодые и

пожилые. Родившие детей и те, кто родил их самих. Все как на подбор. Брови насуплены — позади тяжелый рабочий день. Рубахи из грубой ткани. Морщинистые затылки. Виски не подстрижены. В больших ладонях покой. Во взглядах степенное любопытство. Иногда я останавливаюсь посреди улицы и смотрю, смотрю до тех пор, пока они не замечают мой взгляд. Я пытаюсь вобрать в себя то, что составляет их суть, но, к сожалению, мне это не удастся. Сила, идущая от земли. Цвета тишины. Гармония безмятежности. Я верю в них. Только в них. На них вся надежда.

III

С тех пор, как мы вернулись, я почти не выезжаю из деревни. Соблазны большого света меня не влекут. Я знаю — мир идет к гибели. С каким-то болезненным интересом я смакую газеты — все, которые попадают мне на глаза, от корки до корки. Я читаю и книги, читаю одну за другой, целиком, не упуская ни строчки, и от этого кажусь односельчанам еще более странным. Верзила, вечно в измятых узких обноски, из которых будто бы прет наружу животная сила. Вид неприглядный. И в то же время вроде бы кладезь каких-то премудростей, извлеченных из сотен и тысяч прочитанных книг. Но мне никогда не извлечь и крупички из тех запасов, которые накопились в моей тяжелой заскорузлой башке. В разговорах с односельчанами я с трудом подбираю слова, фразы выходят короткими, односложными. Стоит кому-то из них обратиться ко мне с самым пустячным делом или просто так, как у меня в голове начинается монотонный глухой перестук. Так волнует меня осуществимость контакта. Если кто-нибудь просит меня помочь подоить коров или подсобить при постройке сарая, я тут же бросаю все и иду.

Я не речист, но все знают, что за мной водится

странность читать и писать на трех языках, кроме иврита. Английский, французский и немецкий я выучил сам. Я перемалывал целые тома; строку за строкой, пропустив сквозь словарь, ссыпал в бездонную житницу, и чужие слова, которые мне до сих пор не привелось ни разу произнести вслух, отпечатывались в мозгу, как в застывающем растворе. Побуквенно, беззвучно. Я понимаю, что задал задачу односельчанам. Как относиться ко мне — смотреть свысока или благоговеть? Ведь наружу-то, на-гора я из своих сокровищ никогда выдавать не умел.

Но не обо мне сейчас речь, а о том, как я боюсь за родную деревню, как страшно мне за односельчан. Я знаю, как трудно им быть оплотом покоя и правды, которая еще сохранилась в этом мире, трещащем по швам. Я вижу приметы надвигающейся катастрофы, печать безумия, которое вот-вот охватит нас всех, сметет, раздавит, изведет и загубит, не минет ни одного. Я всматриваюсь в колонки газетных пророчеств, вслушиваюсь в радиовопли реклам. Молодежь пытается восполнить наркотиками запас убывающих жизненных сил, сотни людей в непостижимом экстазе устремляются к давно забытому Богу — до чего наивны эти искатели идеалов. Дороги гнутся под нескончаемым потоком автомашин, нервно вскрикивающих на бегу, слышу гомон толпы, которая ищет себе вождей — крутом столпотворение, кошмар, преддверие конца. Все дурачат друг друга, все от всех ждут подвоха. Все тиранят друг друга, глумятся, утаивают, льстят, стараются запугать. Никому не закрадется в душу сомнение. Мир двухмерен — все делится на добро и зло, грань между ними остра, и каждый старается оградить себя от зла, которое постигает соседа. Все. И я в том числе. Сколько раз по утрам я, бывало, сижу за столом, погруженный в свои невеселые думы, и слышу, как диктор металлическим голосом сообщает о ста двадцати погибших в тайфуне на острове Окинава или о том, что в Сिएтле отец убил троих малолетних

детей — но все это будто проходит мимо меня. Почему не содрогается мир? Почему я снова и снова не лишаюсь рассудка, слыша об этих кошмарах, трагедиях и смертях. Сто двадцать жизней, трое невинных детей, автобус с детьми подорвался на mine — а я жую деревенский хлеб, запиваю деревенским молоком и ничто не волнует меня кроме мыслей о собственной горькой судьбе.

Но потом, пораскинув мозгами, я понимаю, что так и надо. Надо возвести внутри себя защитную стену, может быть, даже окаменеть. Ведь иначе проще простого сойти с ума от всех этих ужасов. Да, думаю я, нужна очень толстая кладка, чтобы об нее разбивались все злосчастия. Человек не может вместить горести и недуги всего поколения. Иначе он лишится рассудка от смертоубиств, от зверств, от козней, от нищеты, от голода, от бездоля, от лицемерия, безнадежности, нервности, от узколобия, тупости и от уродств, а главное — от страха. Мы охвачены ужасом перед тем, что нас ждет, и этот ужас не отпускает меня ни на миг.

Я боюсь не за себя и не за жену мою Югу. Мы отжили свое, и я знаю, что прошлого не вернешь. Меня пугает мысль о дне, когда кто-либо из тех, кто так дорог мне в этой деревне, выйдет на тракт, ведущий к большому шоссе, и, прозрев, взглянет на мир. Он увидит, как смерчем надвигается на нас катастрофа, сметающая все на пути, затягивая и разрушая, оставляя на своем пути груды мелких осколков. Тогда не найдется заступника, и погибнет вся зелень и весь покой, все доброе и дорогое, что копилося на этом пригорке в стороне от дороги. Погибнет навек. Всякий раз, когда я задумываюсь над тем, что нас ждет, мне становится страшно — опять-таки не за себя, а за этот край и за то, для чего он создан, за этих людей и их назначение. И готов сделать все, чтобы они не прозрели. Чем позже разглядят они зло, которое обрушится им на плечи, чтобы истребить их из этого грешного мира, тем лучше. Поэтому мне хочется ино-

гда выйти вперед, встать на развилке перед въездом в деревню, широко распахнуть руки и не дать случиться беде. Может, достанет мне сил защитить деревню и ее обитателей. И хочу уберечь от грусти и боли всех, кто мне дорог; чтобы не знали они горестей и печали.

Наши деды и прадеды — седобородые старцы с морщинистыми лицами — потихоньку сошли в могилу. Родители сами состарились и стали дедами. Время от времени из жизни уходит кто-то из них, и тогда сердца остальных сжимает тихий подспудный страх. В свое время для стариков была по всем правилам построена синагога. Сейчас она почти пуста. И вот я в своей рабочей кепке начал ходить в синагогу, чтобы как-нибудь скрасить одиночество горстки ее одряхлевших завсегдатаев. Они кивают мне, в их приветствии одобрение или удивление, их губы шепчут молитвы. И склоняюсь над толстыми книгами в надежде, что мой издерганный мозг хоть на время найдет утешение в поисках зерен мудрости и пустословия, рассыпанных между строк. Сквозь большие окна синагоги на западе виден закат, сверлящий деревню красными глазами. С гор доносится ветерок, он обдувает мой пылающий лоб, а губы сами собой бормочут слова вечерней молитвы. И хотя я стараюсь произносить их беззвучно, шепот прорывается, крепчает и отдается как гром.

Так день за днем я хожу в синагогу и вроде бы стал почти своим для ее завсегдатаев. По субботам и праздникам нас становится больше, набирается два-три миньяна*. Все безоговорочно верят в Бога, не все исполняют заповеди. От страха перед концом или перед неизвестностью, которая ожидает их по ту сторону, приходят они в синагогу. И вот, сбившись в кучку, молитвой мы пытаемся отдалить

* Миньян — десять взрослых мужчин, присутствие которых необходимо для совершения публичного богослужения и ряда религиозных церемоний.

день суда. Нас мало — в будние дни едва собирается полтора миньяна. И это в деревне, которой перевалило за сорок пять, деревне, где проживает девятьсот семьдесят три человека. Приходит день, и мы недосчитываемся кого-то. Мы провожаем его в последний путь, в глазах и на лицах односельчан я вижу боль, которую смерть оставляет после себя. Если б я мог смягчить эту боль, чтобы она не причиняла им столько страданий. Только в глазах жены моей Юты будто бы зажигаются тусклые искры горькой отрады, жалкой и злой, и ни слова не произносит она, когда я рассказываю о смерти того или иного из односельчан.

Весть о смерти страшна. Когда-то лет семь назад в нашу деревню въехал военный джип, он остановился у дома Баракон, и офицер сообщил матери и отцу о гибели их сына Элада. До сих пор я помню крик матери Элада. В деревне ее все любили. Тихая работающая женщина, которая целыми днями хлопотала по хозяйству и тянула на себе весь дом, потому что у мужа было больное сердце. Ни разу в жизни — ни до, ни после этого — она не повысила голос. До сего дня ее крик — бездонный, протяжный, нечеловеческий, на одном бесконечном дыхании — жгучей резью отдается в моей груди. В другой раз боднул молодой бычок Эфраима Шехнера и острыми рогами разорвал ему живот. Три месяца мучился Эфраим, прежде чем испустить дух; его крики будоражили всю деревню, и не было ни зелья, ни снадобья, чтобы хоть как-нибудь успокоить его. А как вдруг рухнул посреди улицы будто бы вслед за своей палкой Маргалит — восьмидесятисемилетний старик, который своей нестигаемой статью и серебристой шелковой бородой, казалось, воплощал само благообразие старости. И как на его распростертое тело упал Зеев Маргалит, его сын, который за свои пятьдесят пять лет вырастил взрослых сыновей, и как он стал плакать и звать как ребенок: "Папа, папа" и пытаться открыть ему глаза, в которых на-

веки померк уже свет. А как во время похорон Пинхаса Горовица бросилась Цафрира Кацав к памятнику мужа, который погиб за три года до этого на войне. Так жива и сильна была ее любовь, что, прижавшись к памятнику, она рыдала все сильнее и сильнее и не могла отойти ни на шаг. Сердце мое рвалось от крика Цафриры, когда ее отрывали от памятника и уводили домой.

Я не думаю о себе, я не жду удовольствий от жизни. Передышку, в которой временами нуждается мой всегда напряженный, всегда раскаленный мозг, я нахожу в чтении. До сих пор я не могу подавить в себе потребностей плоти, а поскольку между мной и женой моей Ютой давно ничего уже нет, то, когда меня разбирает страсть, я сматываюсь в Хайфу к одной из девиц из Стантона. Обычно раз в месяц, а бывает и в два. Тайком. Стыдясь самого себя. Никогда еще мужчины из нашей деревни не тратили себя на таких, но что поделать — иногда так припечет... Только бы не проведал об этом никто из односельчан. А девицам известно, что я вдовец из кибуца А., больше они ни о чем не расспрашивают, да и я в подробности не вдаюсь. Ведь не для разговоров приезжаю я к ним.

Вот и все утехи, без которых я еще не могу обойтись. А больше мне и не надо. Все, что есть у меня, включая самого себя, я готов отдать деревне. Я хотел бы принять на себя все ее горести, пусть и не знают люди в деревне, как дороги они мне. Какая разница? Еще четыре года назад я продал всех своих коров, пришел в правление и попросил, чтобы на меня возложили все погребальные дела. Члены правления, конечно, удивились, но, зная мои странности, сразу пошли мне навстречу. Так все больше и больше помогаю я снять тяготы с остальных. Ко мне и только ко мне обращаются с вестью о смерти. Умерла женщина в родах, сложил голову парень из нашей деревни на военной службе, скончался один из стариков, погиб кто-нибудь в автомобильной катастро-

фе — деревня ведь наша большая, и ежегодно мы хороним десять-двенадцать человек, — кто-то тут же прибегает ко мне и приносит эту безрадостную весть, а я уже твердой поступью во всеоружии собственной решимости и сострадания иду оповещать близких.

Я не умею смягчать удар и никогда не делаю этого. Я принимаю на себя их замешательство, их смятение, первый приступ обжигающей боли. Я смотрю им в глаза и поддерживаю пошатнувшихся. Иногда, невзначай, они прячут лицо у меня на груди и плачут, тайком или навзрыд, и трепет любви и беспредельной печали передается от них ко мне. Иногда они отгораживаются молчанием и стараются держаться прямо. Я вижу, как белеют от ужаса их глаза, смотрящие на меня неприязненно, как дрожь пробегает по их телам и беззвучно разинутым ртам. Я насмотрелся на все. Чего бы я только не отдал, чтобы как-то отвлечь их в этот момент — ведь им-то жить дальше. Но как? Тут я беспомошен. Если бы только они научились относиться к смерти, как к чему-то, что само собой разумеется, если бы они смирились с тем, что она неотвратима, если бы это известие не причиняло им такую сильную боль. Люди умирают и люди рождаются. Умирают миллионы, и жизнь всегда кончается смертью. Только нельзя чересчур привязываться к кому-то одному, потому что уж очень тяжело расставание. Надо любить всех, тогда не будет так больно, когда умирает один. Смерть слишком страшна, чтобы вместить ее в наше горе, наше отчаяние, наше бессилие.

Я разношу вести о смерти и делю с оставшимися потрясение от удара. Только помочь я им ничем не могу. Разве что тем, что взял на себя это дело, которое с каждым днем затягивает меня все больше и больше. Нет, не в погоне за благочестием я занялся им, а потому что так я могу хоть чем-то скрасить, чем-то облегчить жизнь односельчан. Я вызываю врача, когда нужно засвидетельствовать смерть, за-

бочусь об обмывании покойника и организации похорон, договариваюсь с могильщиками и с теми, кто молится за покойных. А сколько времени я провожу в мастерских, где шьют саваны и делают надгробья. Свой участок, кроме небольшого парника, где растут гвоздики, я давно забросил. Целыми днями я вожусь на кладбище на склоне холма, на котором стоит наша деревня. Какой сад я разбил здесь для смерти! Кипарисы, сосны, дубы над могилами; подстриженные газоны, ухоженные клумбы. Часами я сную по кладбищу с мотыгой, садовыми ножницами и шлангом, подравниваю траву, разрыхляю землю в цветниках, стираю пыль с мраморных надгробий. Со временем я стал получать постоянную плату, которую в один прекрасный день решили назначить мне члены правления. А сколько мне нужно? На хозяйство хватает. Так с утра до вечера я чем-то занят на кладбище, и только тогда, когда мне вдруг начинает казаться, что я делаю это ради себя, я кончаю работу, складываю инструменты и ухожу.

В деревне меня стали побаиваться, уклоняться от встречи лицом к лицу, опускать глаза и ускорять шаг, когда я попадаюсь на их пути. Смерть, наверное, наложила на меня свой отпечаток, и, хотя никто в нашей деревне не признает суеверий, в основе-то всех страхов всегда лежит один страх — страх, которым начинаются и кончаются все страхи, самый страшный из страхов, кошмарный, смертельный страх смерти. Все страшатся ее. Только я не боюсь смерти.

IV

Я не боюсь смерти. Путь, отведенный мне, я прошел, даже если его последний клочок еще стелется под ногами. Я знаю, что мои слова звучат странно. Люди стараются не думать о смерти, за исключением разве что тех, кто, как жена моя Юта, ждет ее не дождет-

ся, но все знают: думай не думай, а она существует, она подстерегает каждого, она затаилась и считает дни. Меня мысль о смерти не пугает. Даже если мой смертный час будет нелегким. Я не сумасшедший — я не тороплю свой конец, но и не боюсь его прихода. Тем более, что я давно мечтаю о встрече с братом, который родился вместе со мной и умер вскоре после рождения, — если он и вправду ждет меня там. И я спокойно думаю о том дне, когда меня призовут туда, где мой брат и отец. Я знаю, что человек устроен иначе, и все-таки как было бы хорошо, если бы все, кто мне дорог, все девятьсот семьдесят три жителя нашей деревни: женщины и мужчины, молодые и старики, подростки и малые дети — относились к смерти так же, как я — спокойно и безмятежно, будто бы речь идет о ком-то другом, без первобытного страха, без содрогания. Может быть, так удалось облегчить бы страдания тех, кто почувствовал ее приближение; может, уменьшится страх, приходящийся на долю одного — того, кому выпало умирать; может быть, боль распределится поровну между всеми, и каждый получит свою теперь уже малую дозу. Может, слова мои и безумны, но что если в этом безумии зерно исцеления дорогих мне людей, что если оно позволит умножить этот покой и эту благодать, которых нет больше нигде на всем белом свете. Так размышляю я целыми днями над тем, как сделать жизнь односельчан отраднее и светлее.

И вот лет пять-шесть назад я решил, что настала пора. Зная, сколько зла я причинил и Бено, и его детям, и жене моей Юте, и всем односельчанам, я попытался восстановить то, что было разрушено — вернуть Юту семье — ведь я ее семьей так и не стал. Тогда во мне еще теплилась бывшая привязанность, да и Юта еще временами тянулась ко мне, и все-таки как-то вечером, изболевшись раскаянием, одержимый желанием сделать добро, я постучал в дверь ее мужа. Я хотел рассказать этому шуплому, гладко расчесанно-

му, приглаженному и очень несчастному человеку, что муки, которые посланы мне за все, что я слепал ему, еще нестерпимее его несчастья. Может, как часто бывает, ему станет от этого чуточку легче. Я хотел сказать, что готов на все: жена ему будет возвращена, и больше я ее никогда не увижу. Как-нибудь проживу.

Стоя на пороге, в полумраке дверного проема, спиной к цветущей деревенской ночи, я отговорил свое. Его дочь, побледнев, смотрела на меня из глубины комнаты. Он плотно сжал губы и отложил газету. Я знал, как он любил ее и чего стоило и стоит ему до сих пор все совершенное нами. Я не помню слов, которые я говорил, привалившись спиной к косяку, сбиваясь, но твердо зная, что доведу до конца, стараясь не наследить сапогами на чистом полу.

Он не поднимает глаз и не может встретить мой взгляд, будто это он во всем виноват, я же смотрю неотрывно, в упор. Он долго молчит.

— Думаю, — говорит он, разводя пальцы правой руки и оглядывая каждый в отдельности, — думаю, что нет. Не стоит. Нет смысла. Понимаете? — Он умолкает и смотрит на дочь. — Время, как говорится, сделало свое дело. Мы научились... — продолжает он, по-прежнему глядя на дочь, — научились справляться с... тем, что случилось. Научились жить без нее... Было трудно... и мне... — Он кивает в такт своим мыслям. — И детям. Ох, как трудно. — Он опять опускает взгляд, смотрит на руки и, помолчав, добавляет: — Но сейчас так лучше. Прошло столько лет. Назад не вернешь. — Он ищет слова. — Назад не вернешь. А пробовать все сначала? Ведь это не будет как раньше. А если не будет как раньше... — тут он впервые за всю жизнь смотрит прямо на меня, и я вижу перед собой его светлые глаза, которые глядят на меня понимающе и чуть насмешливо; в них, где-то на доньшке нет-нет да мелькнет одинокая искра запоздавшей победы; но ведь не мериться силами я пришел к нему, ведь я признал свое по-

ражение еще до того, как ступил на его порог; глаза человека, которого много лет назад, окровавленного, я нес на руках, чтобы его спасли от смерти и вернули к опостылевшей жизни. — А тогда, какой смысл? — договаривает он.

— Слушай, — пытаюсь объяснить ему я своим корявым невразумительным языком, — ты же любил ее. Очень любил. Я знаю. Она же была очень красивая. И сейчас в ней еще что-то есть...

Перед моими глазами встает их Вроцлав, серые дома, аллея черных деревьев, листопад, он и она, молодые, как на картинках, ее рука в тонкой перчатке, держащая зонтик, тонкий стан, голубое легкое платье, она вся тянется к нему, ее золотые волосы летят ему в лицо. Ведь были у них такие дни, были и ночи, когда они изнывали друг по другу. Ведь она бросила все и пошла за ним, рассталась со всем, что ей близко, потому что ему захотелось другой — его — родины, где их жизням суждено было разойтись и пойти прахом. Там, во Вроцлаве, все наверняка сложилось бы иначе.

— Послушай, — я говорю, — пойми, я же был мальчишкой. Что я тогда соображал? Я все давно понял. Да что говорить? Ты не знаешь, как я корю себя. Все время. Я все собирался прийти к тебе — целый год, если не больше, только не мог решиться. Каждую ночь заставлял себя и не мог. — Я вытираю пот со лба. — Я знаю, что так не принято. Чтобы тот, кто... все это сделал, приходил к тому, кто... — Я запинаюсь, но продолжаю: — Я не могу иначе. Не могу, потому что... — Слов не хватает.

Я смотрю на него, он плотнее сжимает губы и опять опускает глаза, но я чувствую, что мне его не перемочь. Дочь молчит. У нее длинные светлые волосы, как у матери, тонкие нежные черты, мягкие отцовские глаза. В ее молчании, враждебном и настороженном, проглядывает, или мне только чудится, растерянность. Ее брат в армии. Когда он приходит на побывку и наши пути сходятся, он ста-

рается обойти меня стороной. От сожительства с Ютой у нас детей не родилось, и я смотрю на него, сына моей жены, высокого статного парня, и думаю, как хотелось бы мне иметь такого сына. За все эти годы мы не сказали друг другу ни слова. С тех пор, как он, совсем еще ребенком, пришел звать меня к отцу, истекавшему кровью.

Я стою в потемках на пороге их дома и продолжаю увещевать:

— Послушай, -- говорю я. — Она жалеет. Плачет ночами. — Потом осторожно, с оглядкой на дочь. — Уже три года я... В общем, она мне как чужая. Она так хочет. Ну, понимаешь, между нами почти ничего не бывает. И я ничего не требую. Пойми, мы оба давно жалеем, о том, что случилось, и по ночам...

Его рука с ожесточением и силой, которых я не знал за ним раньше, рассекает воздух.

— Хватит! — обрывает меня он.

— Но она плачет ночами. Она жалеет, — еще раз пробую я. — Люди делают глупости, даже самые страшные. Это бывает. Но вещь их можно исправить. Она несчастна. Очень несчастна. Неужто всю свою жизнь она должна платить за одну ошибку?

Я хочу объяснить ему, что, может, через меня, здорового, сильного, по-звериному крепкого, она, перепуганная и чужая, пыталась познать и почувствовать вкус соли этой земли, куда ее привезли, оторвав от всего родного. Может, так все и было. Может, в этом все дело. Кто знает? Ведь за все эти годы что я узнал в ней, кроме безудержности ее страстей и страданий?

— Она почти ничего не ест, — говорю я. — Бродит по дому как тень. Никуда не выходит. Ночью всегда отворачивается к стенке.

Он встает. Его взгляд холоден и тверд.

— Довольно. Каждый платит за свои ошибки, и не всякая ошибка поправима.

Он смотрит на меня так, словно его коробит мой вид. Говорит он ровно и складно, будто давно отобрал и расставил слова. Ночь молчит.

— Вы не в состоянии представить себе, как мы были несчастны, — продолжает он, чеканя каждое слово. — Мы научились жить с этим несчастьем. Ходить под сочувственными взглядами ваших односельчан, будь прокляты эти взгляды. Принимать благодеяние, милости и сострадание ваших заступников. Быть на людях, но не видеть того, что творится вокруг. Запереться в четырех стенах, забыть. — Он невесело усмехается. — Забыть. — Улыбка сходит. — Много ночей я вынашивал месть. Ведь я с тех пор не сплю ночами. Я феномен. — В его глазах зажигается блеск. — Вы когда-нибудь слышали о человеке, который семнадцать лет не смыкал глаз?! По ночам я лежу и думаю о вас. На работе, — блеск становится ярче, — я как машина. Счета подводятся сами собой. Без единой ошибки. Ведь я феномен. А в голове у меня те же мысли. Вы и она. Она и вы. И так день и ночь. Потом я перестал думать о мести. Я устал от нее. Но и это далось мне не сразу. Я долго не мог избавиться от этих лихорадочных мыслей. Но мало-помалу, хоть сон и не шел и я не знал ни минуты покоя, боль начала отпускать. Нет, ничего не забылось, милейший, — спешит он закрыть мне лазейку. — Просто мы смирились, милейший, и этой ценой купили покой. Нет, милейший, у нас нет сил на новые бури. — Он смотрит на дочь. — Ведь ей уже шестнадцать. Еще немного, и вылетит из гнезда. К тому, что есть, она приноровилась, и Юте нечего делать в ее жизни. Я этого не допущу. Она все знает, все понимает. Правда? — дочь медленно кивает. — Здесь дело не в сведении счетов и не в том, что, мол, "простите, я виноват". — Последние слова, как короткая очередь. — Дело сделано. Назад не вернешь.

В темноте я возвращаюсь домой. Это было несколько лет назад. Я знал, что он по-прежнему любит ее — мою жену, его жену, что обида не пересилит любовь, а любовь — обиду, что я не могу ничем им помочь и что ей теперь уж навек суждено угасать, день за днем, бок о бок со мной.

Время понемногу идет. Два или три года назад я пробовал поговорить с женой ее сына Ури. Она из нашей деревни, хорошая милая девушка, и я очень рад, что он взял себе в жены одну из девушек в нашей деревне. Молодым здесь будет житья иначе, если деревня удержится, сохранится. Она понимает поток моих сбивчивых слов и приводит к Юте дочь ее Изу незадолго до того, как той идти в армию. Через некоторое время появляется и сын. Они приходят, стучат в дверь и, предварительно стерев с лица всякое выражение, спрашивают маму, чтобы закрыться с ней в комнате. И так раз за разом. Со мной им не о чем говорить. Для нее в этих жалких часах вся жизнь. Ее мужу Бено все известно. Мысль о том, что мне все-таки что-то удалось, не дает ему покоя, и он провожает меня ненавидящим взглядом. Я не питаю зла. Я хотел бы облегчить и его долю, только не знаю как. Он человек очень гордый, и мне вовек не смягчить ни на йоту жгучесть нанесенной ему обиды.

Год назад невестка принесла показать ей первого внука. Юта лежала. Глаза ее широко раскрылись. Она обняла его, прижала к себе, и ее губы, будто во сне, далеко и сладком, сложились в слова: "Стефан! Стефан!".

— Что вы, Юта, — возмутилась невестка (мне было позволено молча стоять в дверях), — его зовут Эйял. Эйял!

Но это — другое имя — Юте ничего не сказало. Для нее он был Стефан. Тогда-то я и понял, что дни моей жены сочтены.

Сейчас я готовлю себя к ее смерти. Я не отхожу от ее кровати, пока тяжелое дыхание Юты не станет ровнее, пока ее лицо не разгладится — пока она уснет. Уже несколько недель Юту не отпускает какая-то неведомая болезнь. Наш врач, которого все в деревне любят и ценят, оставляет ей пилюли в бутылочках

и пакетиках, но Юта наотрез отказывается их принимать, и я не заставляю ее. В ее глазах я вижу приближение смерти. Я оповестил детей, и они поняли, и пришли, и встали с застывшими лицами у ее постели. Она открыла глаза, и увидела внука, и разрыдалась — визгливо, надсадно, захлебываясь кашлем. Ребенок испугался, тоже заплакал, и шутя внука слился с рыданиями Юты. Дочь, сын, внук — кто еще приходил к ней за все эти годы? Иногда, из любопытства или из сострадания, заходит сердобольная соседка, которая помогает прибрать в доме. У Бено обнаружилась какая-то хворь в костях, и он в последнее время не выходит из дому без своей металлической палки. Ждет ли она его в просветах между наплывами грез и приступами боли? Кто знает?

Когда все уходит, я встаю со своего кресла в соседней комнате, откладываю книгу, газету или фотографии детских лет и захожу к ней. Я подолгу смотрю на нее. Нет, любви во мне не осталось к тебе, моя бедная Юта, чужая, живущая среди чужих. Только жалость, безмерная жалость. Я знаю, что тебя гложет и что сводит в могилу. Другой бы на моем месте, может быть, попытался вернуть твой прах в твой далекий Брошав. Когда ты открываешь глаза и в них, вокруг расширенных зрачков, рассеивается влажный туман, когда из плена болезни и жара ты узнаешь меня — часового, поставленного у твоей кровати, — ты кричишь от испуга. Иногда, в дождь, когда красноватый скудный закат зимнего солнца отсвечивает в твоём окне, мне кажется, что я слышу, как ты проклинаешь меня и мою деревню. Мы — твой страшный сон. Оба мы друг для друга будто страшные сны — я для тебя, ты для меня, и одинокие уцелевшие воспоминания не унимают боли. Ты умрешь, и в смерти тебе будет оказана большая честь, чем при жизни. Все жители деревни придут проводить тебя в последний путь, и скорбь по тебе мало-помалу распределится поровну между всеми. Безмолвием помяну я твою безотрадную жизнь, и

сотни людей сойдутся на моем зеленом уютном кладбище, опоясанном кипарисами. Они придут по семи дорогам, ведущим к нашей деревне, встанут меж газонов и цветников и будут молча смотреть, как тебя опускают в могилу.

КИНО

I

По вторникам в деревне крутили кино. В один из вторников показывали очень страшный фильм. Отец и мать уехали к родственникам, а мы с сестрой, схватившись за руки так, что ногти вонзились в ладони, прибежали по размокшей дороге домой и плотно закрыли двери и окна, чтобы фашисты не проникли внутрь. Потом мы долго не спали. Чтобы как-то отвлечь внимание от фильма, сестра читала мне длинные главы из "Маленькой Фадетты" Жорж Санд, которых я не понимал. Я вглядывался во тьму, боясь увидеть остролицего немецкого офицера в сапогах, начищенных до блеска, и с кожаной портупеей.

Сидя в кровати, я прислушивался к голосу сестры, читающей вслух, дрожащей от страха, но преисполненной чувства ответственности, и размышлял над историей этого офицера и солдата-дезертира, бежавшего от него. Я вслушивался в зимние шорохи на улице, и глаза мои слипались от страха и усталости. Передо мной проходили образы тех, кого я видел на страницах газеты "Ха-галгал", доносившей до нас войну на прошедших основательный отбор и обработку английских фотографиях. И на тракторной станции в нашей деревне встречались для обсуждения мировых проблем Сталин, Рузвельт и Черчилль. Сталин, в синем комбинезоне, какие носят трактористы, был на мотоцикле. После заседания он предложил мне покататься. Я все еще

обхватываю его сзади руками, щеки стынут от зимнего ветра, брызги из-под колес летят на мой тренировочный костюм, а сестра уже расталкивает меня — надо быть начеку, ведь опасность не миновала.

Фашисты пришли в наш дом перед рассветом. Фашисты из фильма — безжалостные, хитрые и до ужаса корректные. Говоря между собой по-английски на немецкий лад, они расхаживали в сапогах по комнатам, а мы с сестрой прятались под кроватью. Рейхс-генерал с острым лицом и плотно сжатыми губами похлопывал себя перчатками по облегающим галифе. Дезертира они не нашли и ушли до прихода работника, который доил коров по утрам, а мы вылезли из-под кровати, обливаясь потом, и закаялись ходить на фильмы для взрослых.

Дезертира звали Дейн Кларк. Он был маленький и щуплый, с острыми глазками. В конце фильма он прятался в траншее — обросший острой щетиной, торчащей, как у крыс, загнанный и отчаявшийся. Мне было тогда восемь лет, но я знал, что он уже отчаялся во всем. Немецкий офицер с пистолетом в руке, улыбаясь, ждал, когда истекут шестьдесят секунд, данные беглецу. Громкоговоритель над упаковочной мастерской отсчитывал секунды, будто внутри его билось огромное сердце, а Дейн Кларк, уже пораженный свинцовой пулей, натягивал надетую на пальцы резиновую тетиву и посылал в сердце преследователя золотую смертоносную стрелу, подаренную ему любимой.

Момент был настолько захватывающим, что человек, крутивший пленку с титрами в маленьком кинопроекторе, забыл о своих обязанностях. Сбоку еще мигала надпись от руки закругленными буквами: "Я даю вам минуту, сержант! Одну минуту!", когда на экране уже появились слова: "The End" и побежали цифры семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Зажегся свет, и люди, закутанные в куртки и пальто, начали вставать, зная, что впереди у них пугающая дорога домой. Встали и австралийские солда-

ты в толстых шинелях и грубых ботинках, чтобы вернуться в свой лагерь на краю деревни. Помчались домой, спасаясь от страха, и мы с сестрой.

С тех пор Дейн Кларк куда-то исчез и больше не попадался мне на глаза. Иногда в дождливые дни я сижу в типографии, отгородившись от трех рабочих, которые не скрывают своей неприязни ко мне, и перебираю связки старых журналов с пожелтевшими фотографиями из фильмов, которые я видел в детстве. Я ищу его и не нахожу. Красотки в купальных юбочках, которые им явно коротки, актеры в фетровых шляпах и расклешенных брюках, волочащихся по земле, роскошные женщины в световых ореолах, огромные "форды" и "паккарды" тех дней предстают предо мной на страницах журналов, которые заботливо разложил по пачкам на вечное хранение мой дядя. И смех трех рабочих — двух пожилых и одного молодого — доносится до меня от дряхлого печатного станка.

II

По вторникам в деревне крутили кино. Зимой — в пустой упаковочной мастерской, летом — на школьной спортплощадке. Киношники приезжали днем, чтобы подготовить все для праздника. Мы окружали их толпой и, не выпуская портфелей из рук, следили за работой.

Были это отец и сын. В будни они объезжали деревни, показывая свои пленки, а в субботу крутили их в соседнем местечке. Ходили слухи, будто в свободные вечера, сидя вдвоем в своем холостяцком доме, в темноте, где стрекотал лишь проектор, они сами смотрят свои драгоценные ленты.

Дело свое они знали. Умело и ловко снимали ящики с грузовичка и деталь за деталью собирали свой черный тяжелый проектор; вытаскивали и перематывали пленки, катушку за катушкой; протягивали провода

к генератору, работавшему на солярке; вкручивали лампы; устанавливали громкоговорители; ограждали площадку проволокой и вешали на стену школы десять простынь, служивших экраном. Если мы помогали им, наградой нам служили куски целлулоидной пленки, отрезанные при перемотке.

К вечеру площадка была полна скамеек и охапок сена. Эфраим-отец (Эфраимом звали сына, но имени отца мы не знали, и для нас он тоже был Эфраим) стоял за кассой, а сын трудился возле черного аппарата и жестяного проектора для ленты с титрами. Еще немного и две полосы света связывали глазки проекторов с экраном из простынь, и перед нами открывался мир чудес. Маргарет О'Брайен рыдала, коротышка Батч Дженкинс кривил изрешеченное лицо, Алан Лэд стоял во главе взбунтовавшихся матросов на палубе, а Хард Хетфилд рассматривал свой собственный портрет. Летние светлячки, как искры, проносились в темноте, дети дремали, примостившись возле родителей, и Эпштейн, чиновник мандатных властей, смеялся раньше других тому, что слышал по динамику, прежде чем все успевали прочесть титры на экране. Иногда Эфраим-отец путал части, и партизаны спасали свою бесстрашную подругу Зою с виселицы за полчаса до того, как фашисты вели ее туда. Но все прощалось, ведь кино по природе своей требует уступок. И так каждый вторник. Как-то мой друг Ури раздобыл у Эфраима-сына моток черно-белой целлулоидной пленки — тридцать метров с Джоэлем Макариа, скачущим на лошади, и бандой индейцев, совершающих набег, — все это за полмешка астраханских яблок*. После уроков мы часами, кадр за кадром, разглядывали его сокровище, и боевые кличи краснокожих доносились до нас из маленьких рамок вместе с топотом лошадей и хлопками выстрелов. Кино, о Господи, кино.

* Сорт яблок, завезенный из России и культивировавшийся в 40-х—50-х годах в Израиле.

Спустя некоторое время Эфраим-отец и Эфраим-сын перестали приезжать в деревню. Ходил слух, что в одну из поездок они подобрали по дороге девушку, и каждый взял свое — отец и сын. Когда это стало известно, то, как рассказывают, парни из той деревни, где жила девушка, подстерегли их и основательно избили. Потом сломали всю аппаратуру и порвали пленки, как будто виновато было кино. Так или иначе, в нашей деревне купили после этого проектор в складчину. Кино показывали регулярно, каждый вторник, но праздника уже не было.

III

На летние каникулы я ездил в Тель-Авив к дяде. В маленькой типографии возле автобусной станции я проводил дни вместе с ним между наборной кассой и печатным станком, которые были намного старше меня. Тети и двоюродного брата я не знал, потому что, когда мне еще не было года, они уехали — из города и из страны. Я был совсем мальчишкой, но дядя часто, со всеми подробностями и всегда недоумевая, рассказывал мне, как тетя, его жена, плакала и просила, чтобы он отпустил ее. Среди фотографий в доме на улице Гальперина, где я живу сейчас, есть один снимок. Миловидная женщина, лицо без тени улыбки, взгляд, устремленный куда-то в сторону.

— Тетя твоя курва, — сказал мне как-то Франческо, самый старший из трех рабочих, смазывая черной типографской краской барабаны печатного станка.

— Полегче, — откликнулся со смехом Пинхас, который был помоложе, — хозяин услышит.

— Ну, и пусть слышит! — огрызнулся Франческо. — Чего это вдруг он отпустил ее с английским пилотом?! Что такое?! Что, мы, евреи, хуже этих сук-англичан?..

Дядю, как потом и меня, рабочие не любили, не знаю за что.

Дома я рассказал дяде о том, что услышал от Франческо. Но дядя только улыбнулся, и глаза его подернулись дымкой. Он был вообще немногословен, и речь его напоминала стиль американских киногероев в титрах на иврите.

— Я думаю, — сказал дядя, — Франческо был немножко влюблен в нее. Ты бы видел, как она приходила на предприятие.

Предприятием дядя называл свою захудалую типографию — одна наборная касса да печатный станок.

— Она совсем не была... такой, как он говорит. Что я мог сделать? Ведь она по-настоящему любила его.

— А ребенок? — спрашивал меня Франческо, скрипя зубами от злости и не спуская глаз с трезубца, подхватывающего листы бумаги. — Где это слыхано, чтобы еврейского ребенка отпускали в Англию? Еврейского ребенка?!

— Ребенок, — рассказывал дядя в тот же вечер, когда мы собирались в кино и он домывал посуду, — ребенок был ее, не мой. Что я мог поделаться?

Осторожно, чтобы капли не падали на пол, он вытер руки о передник, служивший в прошлом его жене.

— Я знаю, она вернется, вместе с ребенком. Я жду, — продолжал он со всезнающей улыбкой, — этот Кинсли, стало быть, женат, и все выглядело иначе, когда она приехала к нему в Англию. Шеффилд, кажется, для нее это было страшным ударом.

Дядя снял передник и присел к столу.

— Дело в том, что она полюбила его всем сердцем. Он предложил, понимаешь, снять там квартиру — ей и ребенку, и помогать деньгами. Но она не такая. Стало быть... Я-то знаю, она слишком гордая. И она, конечно, ушла от него и стала работать официанткой в ресторане. Она вернется. Я знаю. Как только пой-

мет, что гордость, стало быть, ни к чему. Ребенок не дает ей покоя. Не было от него житья и этому Артуру Кинсли. Любил меня как родного отца.

Дядя умолк на минуту, а потом добавил:

— Но им ничего не говори. Это секрет, между нами!

Жена его уехала одиннадцать лет назад. За все эти годы она не написала ему ни одного письма. Мне было двенадцать лет, но я был уже хранителем его сокровенных тайн.

Кино дядя любил больше всего на свете. В три часа Франческо занимал его место у письменного стола при входе, а мы с дядей отправлялись на дневной сеанс. После кино, еще под впечатлением увиденного, мы возвращались четырех- или пятичасовым автобусом на автостанцию и запирали типографию. Далее, как по-заведенному, ехали домой на улицу Гальперина, разогревали обед, ели, мылись и некоторое время изучали дядины журналы по кино. Мы выходили всегда в один и тот же час, чтобы поспеть на второй сеанс, где ждали нас чудеса, а потом ошеломленные возвращались домой и сразу ложились спать.

Я помню, как дядя смотрел на экран — на лице блики, глаза и рот по-детски широко открыты. Вид отрешенный, как у святого. В кино всегда сидел молча, погружившись в свой собственный мир. Высокий, прямой, весь застывший. Дядя не любил, когда я задавал ему вопросы по ходу фильма, и я не спрашивал его ни о чем. Но и потом он старался поменьше говорить об увиденном. О кино вообще говорить не любил. Он делил со мной все остальные секреты, но эта тайна была самой заветной. Когда я все же вовлекал его в разговор о кино, бледное аскетическое лицо дяди краснело, слова путались. Отвечал он односложно и неохотно.

Когда я был совсем еще маленьким, дядя начал набирать в своей типографии журнал о кино. Сестра получала тоненькие книжечки в желто-зеленой об-

ложке, но мне их за молодостью лет не давали. Когда сестры не было дома, я потихоньку читал романтические любовные истории, печатавшиеся в них, и разглядывал маленькие картинки. Дядя, в отличие от сестры, позволял мне сколько угодно рассматривать и эти журналы, и другие из "большого мира", которые он собирал из любви к кино.

Журнал о кино издавала небогатая семья, и, хотя они зачастую не платили в срок, дядя их никогда не торопил. Более того, он взял на себя бесплатно всю корректуру. Часами сидел он в торжественной неподвижности над огромными листами. Через некоторое время в типографию пришла девушка, которая взяла на себя его обязанности, потому что дядя пропускал слишком много ошибок. Он ничуть не обиделся, и через год, когда я приехал на летние каникулы, между ними уже завязалась дружба. Девушка была молчаливой и часто краснела. Работала она много, получала мало. Дядя относился к ней с глубоким уважением, потому что она была причастна к кино и была женщина.

— Он, — объявил ей дядя с гордостью, неуклюже похлопывая меня по плечу, — будет писать. Его сочинения лучшие в классе...

Дядя замолчал, а девушка улыбнулась и принялась разглядывать свои пальцы, испачканные чернилами.

— Может, даже для вашего журнала, — продолжал дядя. — Он любит кино.

— Это не такая уж большая честь, — рассмеялась девушка, поразив этим дядю. — Если он любит кино, пусть занимается кино, самим кино.

— А чем плохо писать? В таком, стало быть, журнале, как ваш? — спросил дядя.

— Чепуха! — ответила девушка. — Кино — это камеры, пленки, прожекторы, понимаете? Это да! — Она с презрением оттолкнула лежавшие перед ней гранки журнала с фотографиями актеров. — А это действительно чепуха!

Франческо и Перец, стоявшие в стороне, не сводили глаз с ее груди и шепотом обменивались грубыми шутками.

На следующий день дядя купил мне за наличные маленькую кинокамеру и катушку пленки девять с половиной миллиметров. Под кадрами были пробиты ряды отверстий. В субботу мы отправились на берег снимать кино между тирами и павильонами азартных игр. Камера была взведена. Мы выбирали тему и я направлял камеру, держа палец на спуске.

— Ну, давай, снимай уже, — говорили нам парни. — Это из синема.

Домой мы вернулись усталые, волосы были полны песка, а пленка в камере так и осталась нетронутой. Я рассказал об этом на следующий день девушке из типографии, и она рассмеялась.

— Ну и что?! Это, стало быть, первый раз. Надо было попробовать, — сказал дядя. — В следующий раз обязательно будем снимать.

Но в голосе его не было уверенности. Девушка опять рассмеялась, подмигнула мне и вернулась к своим бумагам. Ее полная грудь покоилась на столе. За наборной кассой Пинхас сказал Перцу:

— Ей-Богу, я бы ее сейчас...

Перец грязно хихикнул и ткнул приятеля в плечо.

В ящике письменного стола в дядином доме и по сей день лежит в маленьком футляре кинокамера, с пленкой, до сих пор не повидавшая солнечного света. Часто, в трудные времена, я говорил себе, что ее нужно продать, но трудные времена проходят, и камера, которую подарил мне дядя на тринадцатилетие, по-прежнему остается со мной.

Недавно я случайно попал на берег. Все тиры и бильярдные исчезли, но там, где улица Гордона выходит к морю, стояла группа людей в джинсах и майках, которые направляли тяжелую черную камеру с серебристыми отражателями на очень красивую девушку в оранжевом купальнике. Девушка полнима-

лась по ступенькам, потом спускалась с них, и все начиналось сначала. К ней подходил юноша произносивший фразу, которую я запомнил дословно: "Безнадежно. Марк не согласен". Девушка прикрывала рот руками, как будто сдерживая крик, и спрашивала: "Что же делать?"

Вновь и вновь повторяли они эту сцену перед камерой. Кучка людей, остановившихся, как и я, поглазеть, уже поредела, а я все стоял, пока девушка, глядя с опаской, не прошептала что-то на ухо одному из мужчин, указывая на меня рукой. Я повернулся и ушел. Глупая, даже цвета волос ее я не запомнил.

IV

На улице Гальперина в доме напротив жила девушка. Ее окна выходили прямо на дядин балкон. Однажды вечером, когда дядя домывал посуду перед кино, я, стоя на темном балконе, видел через открытое окно, как она раздевается. Мне было четырнадцать лет. Тело девушки, выглядевшей лет на двадцать пять, было белым и полным. Оно переливалось в рамке окна и слепило глаза. Увидев, что я разглядываю ее, она подошла к окну, нагая и возмущенная. Я опустил глаза и вдруг услышал ее смех. Когда я опять посмотрел в ее сторону, девушка приветливо помахала мне рукой. Я был поражен. В этот момент в комнату, освещенную желтым электрическим светом, вошел мужчина. Он осмотрелся, пришел в бешенство, отвесил ей пощечину и оттащил от окна. Я услышал ее плач, мужчина с грохотом опустил жалюзи, видимость исчезла, звук замер.

Дело было вскоре после окончания Войны за Независимость, и во многих дворах сохранились еще глубокие траншеи-убежища. Однажды, когда дядя ушел в типографию, а я собрался побродить по городу, у спуска в траншею, выкопанную в их дворе, я увидел ту девушку в летнем халатике из тон-

кой ткани в блеклых цветах. Она стояла с пустым мусорным ведром в руках и улыбалась.

— Иди сюда, — велела она.

Я подошел к калитке. Вблизи ее тело было не таким белым, лицо в прыщах и сама она совсем не казалась такой прекрасной, как в тот вечер через улицу.

— Сколько тебе лет? — спросила девушка.

Я ответил.

— Ты здешний?

— Нет.

— Хочешь спустимся вниз, в убежище, — предложила она и поставила ведро на землю.

— Зачем? — спросил я.

— Побалуемся, — сказала девушка. Халат ее был распахнут у шеи, грудь набухла и через вырез устремлялась ко мне. Улица была пуста.

Она схватила меня за руку и повела за собой.

— Спустимся глубоко-глубоко, — прошептала она, задыхаясь, но тут же на утопанных земляных ступенях, где было уже темно, она остановилась и прижалась ко мне, с силой притягивая меня к своему жару.

— Обними меня крепко, и все придет, — скороговоркой пробормотала она низким неровным голосом, дыша так, как будто я только что вытащил ее из реки. В мочках ушей у нее были проделаны маленькие дырочки, халат вдруг стал мокрым от пота и прилип ко мне. Я вырвался из ее хватки и побежал вверх по ступеням, слыша за собой ее призывный умоляющий голос. Я бежал не останавливаясь, пока не оказался на соседней улице.

Вечером, когда мы с дядей возвращались с дневного сеанса (надо сказать, что мысли мои были впервые в тот день далеко от кино), девушка стояла возле узкой калитки, как будто поджидая нас. Увидев меня, она начала бросать в нас камни и выкрикивать ругательства. Дядя оторопел и втолкнул меня поскорее в дом. Мы заперлись, и я увидел, что лицо

его было совсем белым. Он ни о чем не спросил меня. Я вышел на балкон. Толпа зевая собралась внизу поглазеть на девушку, не перестававшую вопить.

Когда я вернулся в кухню, дядя резал огурцы на салат, как будто для того, чтобы унять дрожь в руках.

— Эта девушка так несчастна, — заговорил он языком киногероев. — Мир так жесток к ней.

Из дядиного рассказа следовало, что ее жених погиб в боях в Синайской пустыне, когда ей было семнадцать лет, и что потом она вышла замуж за злого человека, намного старше ее. До сих пор я не знаю, откуда взял дядя всю эту историю. С соседями он был незнаком, это точно. На следующий день женщина в магазинчике, где мы покупали еду, рассказывала мне, упаковывая продукты: "Она психическая. Тысячу раз говорили ее отцу, чтобы он поместил ее в сумасшедший дом. С семи лет не ходит в школу, а отец думает, что колотушками выбьет из нее всю дурь. Люди не понимают, что помешательство — это как болезнь".

С того дня я ее больше не видел. Говорили, что после того случая отец решил запереть ее в комнате. С дядиного балкона я тщетно высматривал ее далекую бесстыдную красоту. Спустя много лет, когда юность давно миновала, я увидел, как она выходит из дома напротив, держась как маленькая за руку угрюмого отца — непохожая на девочку, но и на женщину непохожая тоже. В мятых брюках цвета хаки, которые явно ей велики, в тяжелых ботинках. На голове панама, натянутая на уши. Лицо сморщенное, как у младенца, тело полное и дряблое, как у старух. Много лет назад отец поместил ее в сумасшедший дом и два раза в год по праздникам берет ее домой.

V

Рассказ мой, кажется, растекается между строк.

Однажды после полудня девушка из типографии вызвалась сопровождать нас в кино на дневной сеанс. От волнения дядя слегка побледнел. Девушка встала из-за стола и надела синий вельветовый жакет, потому что лето было на исходе и по вечерам стало уже прохладно.

После кино, будто это разумелось само собой, она пошла с нами домой, к дяде. Дядя стал сразу готовить салат, творог с приправами и яичницу, а мы с девушкой смотрели журналы.

После ужина, когда выяснилось, что девушка не спешит откланяться, мы попытались завести разговор, но беседа не клеилась, и в комнате постепенно установилось молчание. Мне было тогда четырнадцать лет, но я понимал что к чему. А посему я встал и отправился в свою комнату. Но не прошло и минуты, как дядя зашел ко мне в смущении и шепотом попросил посидеть с ними. Вдвоем мы проводили девушку домой и вернулись пешком. Полдороги мы прошли молча, потом дяде стало невмоготу молчать, и на углу Зимменгофа и Кинг Джордж он остановился и спросил, видел ли я фильм "Касабланка".

— Нет, — ответил я.

— С Хемфри Богартом, — попытался напомнить мне дядя.

Дома, стеля мне постель, он спросил, не глядя на меня, что я думаю о девушке из типографии.

— По-моему, симпатичная... вполне, — сказал я, смутясь.

Дядя ничего не ответил и поправил простыню. Потом выпрямился и взглянул в окно.

— Надеюсь она придет к нам еще. Хороший был вечер... стало быть.

Ночью мы сидели с Хемфри Богартом на песчаном пригорке в сандалиях и шортах. Богарт, поигрывая камешками, доказывал дяде, что вступление Соединенных Штатов в Первую мировую войну было ошибкой. Говорил он на довольно приличном иврите.

Дядя со своей стороны сказал, что из всех голливудских актеров Питер Лорре и Эрих фон Штрогейм лучше всех в ролях офицеров-нацистов, в передаче их сатанинской сути. Я задремал на песке. В море маячил корабль "Альталена", погрузившийся в воду по корму.

Девушка бывала у нас еще несколько раз. Мы проводили время втроем, большей частью в молчании. Мое неизменное присутствие вызывало у нее удивление, и через некоторое время она перестала приходить. Когда дядя однажды спросил ее в три часа, хочет ли она пойти с нами на "Плату за страх", девушка лишь посмотрела на него с легкой улыбкой, как бы говоря: "Какой смысл?". Мы пошли сами. Дядя был несколько подавлен. С тех пор к нам домой она больше не приходила.

В один из последних дней перед концом каникул, мы как обычно вернулись с дневного сеанса в маленькую типографию, чтобы запереть двери. На лестнице старого дома стоял полумрак, поэтому мы заметили ее слишком поздно. Девушка вскочила со ступенек, а за ней не торопясь поднялся и мужчина. Одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны. Дядя застыл как вкопанный.

— Пропусти людей, детка, — сказал мужчина и потянул ее за локоть к стенке. Дядя, а за ним и я, прошли мимо них и молча поднялись по лестнице. Те двое тоже не сказали больше ни слова.

У повидавшей виды двери типографии дядя долго и сосредоточенно возился с замком. Я отчетливо видел перед собой его тонкие дрожащие руки и пальцы, от которых будто отхлынула кровь. Когда мы спустились на освещенную улицу, в подъезде уже не было ни девушки, ни мужчины, сидевшего с ней.

Мы миновали толпу людей, сновавших взад и вперед по тротуару у автобусной станции, и дядя, погруженный в свои мысли, сказал на ходу: "Страшная штука этот нитроглицерин. Один небольшой толчок, и все".

Я ничего не ответил.

— Что скажешь? — поинтересовался дядя, пристально посмотрев на меня.

Я упорно молчал, глядя под ноги.

— Ты же видел фильм, — настаивал он.

Я молчал.

— Какой был старик, а?!

Я молчал.

— Я, наверное, посмотрю его еще раз, — продолжал свое дядя. — Жаль, что ты завтра уезжаешь, — и он посмотрел на меня с ласковым выражением старого доброго дядюшки. — Может, останешься, стало быть, на денек?

— Она блядь, — закричал я в бешенстве. — Курва! Если она придет завтра в типографию, я выброшу ее из окна. Ей-Богу!

Прохожие с удивлением оглядывались на меня.

— Ты что? — опешил дядя. — Что за выражения?

Никогда раньше он не делал мне замечаний.

Мы сели в автобус № 4 и до своей остановки на углу Арлозорова и Бен-Иехуды не произнесли ни слова. Я думал то о соседской девушке и о том, что произошло в убежище, то о своем мягкосердечном дяде.

Когда мы вышли на пустую улицу, дядя мягко отчитал меня за вспышку. Он знает, почему я так разозлился, но я ничего не понимаю. Девушка неизлечимо больна. Да, да, Франческо рассказал ему об этом. И жить ей осталось всего несколько недель. Уличные фонари отбрасывали на его лицо белый загадочный свет, скрывающий тысячи тайн.

На пороге дома он остановился на минуту.

— Кроме того, ведь ты знаешь, скоро тетя придет с ребенком. Кто знает? Не сегодня завтра может, стало быть, прийти письмо, а через месяц-два... Никогда нельзя знать наперед. Поэтому нужно вести себя с умом.

На следующий день, когда я встал, дяди уже не было. Завтрак, как обычно, ждал меня на столе. Я уложил чемодан и поехал к автобусной станции

попрощаться с дядей. Девушка как всегда сидела за своим столом и работала, слегка склонив голову набок. Ее мягкие каштановые волосы падали на плечи. Когда я проходил мимо, она внимательно посмотрела на меня и улыбнулась. Дядя вместе с Перцем и Пинхасом возился у испортившейся наборной кассы, которая портилась обычно не менее раза в день. Свинец в бачке затвердевал, и дядя, не понимавший ровным счетом ничего в машинах, был в отчаянии.

Я подошел к Франческо, который утрюмо готовил листы у печатного станка, и спросил его о девушке.

— Что значит больна? — вызверился на меня с вызовом рабочий. — Чтоб я такое сказал? Ты что, чокнутый, или как? Да откуда мне, черт возьми, знать, больная она или здоровая?

Я тут же пожалел о сказанном. Франческо терпеть не мог дядю и, точно как обрадовавшись подходящему случаю, сейчас ужасно возмутился. Он схватил меня за локоть и потащил напрямик к дяде, белые тонкие пальцы которого были уже выпачканы чем-то черным.

— Господин Бах, — громко сказал Франческо и злоба перекатывалась у него на скулах, — господин Бах, скажите, на кой вы впутываете меня в свои глупости? — Дядя выпрямился и оторопело уставился на него. — Приходит этот сморчок и здрасте: я вам что-то такое сказал. Какое мне дело до той девицы, больная она или нет? Какого вы ебете ему мозги и втравливаете меня в ваш импотентус?

Девушка подняла испуганные глаза, а двое рабочих, приятели Франческо, громко расхохотались. Дядя побледнел, как всегда в подобных случаях, кожа плотно обтягивала скулы. Он не сказал ни слова.

Франческо сплюнул на деревянный пол.

— Что же это за блядство? Сидим целый день без работы. Чего б вам заказы не раздобыть? А то одни

приглашения на свадьбы, да это дерьмо... синема! Так нет, он еще крутит мозги с новой мурой. Да что ж это такое, твою мать?!

Дядин взгляд был тих и спокоен, но девушка, вскочив из-за стола, ринулась в бой, который он не принял.

— Как вам не стыдно? — закричала она. — Что такое? Вы что, зарплату не получаете в срок? Чего вы кричите? — А дяде она сказала: "Я бы на вашем месте вышвырнула его отсюда. Найдете другого. Как пить дать. Он же только и знает, что говорить гадости и портить вам жизнь".

Рабочий отпустил мою руку и весь напыжился.

— А ты смотри у меня, курва такая! Я с девицами вежливо обращаюсь, но ты ко мне своей задницей не суйся. Понятно, мадама?!

Он тщательно, с расстановкой вытер руки о лист хромовой бумаги из самой дорогой пачки.

— Ты что, за мальчика меня держишь, а? — спросил он, поглядывая на товарищей, со злой усмешкой в усах. — Или федерации уже нету? Или профсоюза печатников?

Он скомкал испачканный лист, выбросил его в окно, взял рубашку, не торопясь надел ее и обвел всех взглядом, как бы говоря: "Сейчас я очень сердит, господин Бах. А потому — перерыв из-за дерьмового отношения к трудящимся, господин Бах. Можете так и сказать товарищу Фридману из федерации. Все они у меня знаете где?"

Девушка собрала свои бумаги и казалось, что она вот-вот заплачет. Рабочие, все трое, встали и демонстративно вышли в подъезд. Дядя облегченно улыбнулся, перевел дыхание, и сказал как бы про себя:

— Форму, я думаю, они уже всю набрали. Восемь страниц у нас уже есть, а?

Девушка ничего не ответила, и дядя продолжал:

— Можем, успеем подскочить в "Тамар", на какой-нибудь фильм, пока ты, стало быть, не уехал?

Он лукаво посмотрел на меня. Я согласился. С не-

обычной для него отвагой дядя спросил девушку, не пойдет ли и она. Девушка отрицательно покачала головой. Звали ее Алия.

Я взглянул в окно. Через него, как в рамке кадра на целлулоидной пленке, были видны трое рабочих, переходящих улицу по направлению к соседней закуской.

VI

На следующий год я не приехал на каникулы в город. А спустя два года я застал дядю совсем уже постаревшим и больным. Разговаривая со мной, он вдруг хватался за грудь, будто не давая боли вырваться наружу. Временами у него распухла левая нога, и сильные боли продолжались несколько дней.

Журнал по кино перестал выходить, и девушка уже не сидела за старым письменным столом. Но рабочие были те же, и Перец сидел теперь за наборной кассой. В типографию забредали лишь случайные прохожие заказать поздравительные открытки или приглашения на юбилеи и свадьбы. Но дядя принимал их так, как будто вел с ними дела извечно, и объяснял все, что знал сам про бумагу, шрифты и способы складывания поздравительных билетов. В кино он ходил по-прежнему. Сидеть на деревянных стульях стало ему теперь невозможно, но жизнь за пределами кино складывалась для него еще тяжелее.

Однажды дядя с большим почетом принимал молодого бородатого человека в клетчатых брюках, зашедшего в типографию. Это был режиссер, которому понадобилось что-то напечатать для коротенького ролика. Дядя смотрел на него, как на помазанника Божьего. Взгляд, который он то и дело бросал на меня, казалось, говорил: "Ты только представь себе — этот человек делает кино".

Ожидая, пока выполнят его заказ, он обсуждал с

дядей проблемы кино. Дядя заговорил о фильме "Огни рампы", которым все восхищались в то время, но молодой человек скривился и характерным жестом руки остановил поток дядиных восторгов.

— Погодите, погодите, — произнес он, — что есть в нем кроме сострадания создателя фильма к самому себе? Какая глубокая идея? Какое откровение?

Дядя с изумлением посмотрел на своего собеседника и спросил без тени насмешки:

— А какая глубокая идея во всем остальном? Ну, например, стало быть, в сапожном ремесле?

У молодого человека был готов ответ.

— Погодите, вы ставите на одну доску сапожника и человека искусства?

— Но, ведь и тот создает, стало быть, и этот, — пояснил дядя.

— Вы это серьезно?

Дядя кивнул.

— Трудно поверить, — сказал режиссер и впервые задумался над ответом. — Если вы так считаете, значит вы, наверное, не особенно любите кино, а?

Дядя рассмеялся.

— Он смотрит в среднем восемь фильмов в неделю, — подсказал я.

— Погодите, погодите, — сказал молодой человек. — Это совсем еще не говорит о любви к кино. Я, например, смотрю в неделю только один фильм. Понимаете, любить кино по-настоящему это... — он остановился, подыскивая слова, — это значит, одно пристрастие на всю жизнь, одна страсть. И никаких других. Это самопожертвование. Понимаете? Это отказ от всего, что за его пределами.

Он говорил с жаром, и я не мог усидеть на месте от возмущения: человек, для которого кино ограничивается четырьмя фильмами в месяц и одним тридцатисекундным роликом, который делает он сам, учит дядю, что значит любить кино, да еще спрашивает: "Понимаете?"?! Но дядя принимал его слова как нечто святое и в спор больше не вступал. Пинхас

принес оттиски, заказанные режиссером — оттиски с названием какого-то мыла и похвалами в его честь. Я вышел из комнаты и спустился в закускую.

Когда я вернулся, молодого человека уже не было, а дядя пребывал в сильном возбуждении:

— Это прекрасно, — вскричал он, — просто прекрасно. Это, стало быть, дверь... перед тобой открылась дверь. Ты обязан сесть и писать!

Оказывается, что он набрался храбрости и рассказал молодому человеку, что я пишу. Тот милостиво заинтересовался и в конце концов предложил: что ж, пусть мальчик напишет что-нибудь для него. И может быть из этого что-нибудь выйдет.

Дядя торжественно посмотрел на меня, и лицо его было залито светом, падавшим из квадратного окна. Потом он произнес в своем наилучшем киностиле:

— Это твой шанс, мой мальчик. Не упusti его.

С этого дня дядя превратился чуть ли не в тирана. Он не разрешал мне ходить в типографию. Каждое утро, перед уходом на работу он будил меня и стоял над кроватью, пока я не вставал и не садился за письменный стол. Воздушные замки, возводимые дядей, напрочь испортили мне все каникулы.

Он уходил, и я пытался заставить перо выписывать слова, но кроме нескольких фраз у меня ровным счетом ничего не получалось. Я бросал и принимался за старые журналы или шел бродить по улицам. Возвращаясь домой, дядя спрашивал, много ли я успел. Приходилось врать, дядя слушал, и лицо его принимало выражение торжественной радости, которое я видел у него крайне редко. Прошла неделя, другая, и я с ужасом думал, чем все это кончится.

В середине последней недели летних каникул приехала тетя с сыном и пришла к дяде. Не было их шестнадцать лет. Как-то утром я сидел за письменным столом, приемник был включен, передавали обзор печати: "Газета "Ха-Цофе" предостерегает прези-

дента Эйзенхауэра, что его нынешний подход к этой проблеме может послужить плацдармом...”, — говорил диктор.

В этот момент раздался звонок. На пороге стояла маленькая женщина, роскошно одетая, со светлыми волосами, тщательно уложенными в прическу, и парень лет двадцати двух в сером костюме. Я не признал в них своих забытых родственников. Даже когда женщина на ломаном иврите спросила, не сын ли я господина Баха. И вдруг меня как громом поразило.

— Нет, я племянник, — ответил я на иврите. Они вошли и стали с интересом оглядывать обстановку.

— Я ведь помню тебя совсем еще бэби, вот таким, — показала женщина.

Она уселась в кресло в гостиной с таким видом, как будто никогда не покидала этот дом. Сын снял пиджак и закурил сигарету.

— Ты знаешь, кто я? — спросила женщина.

Я утвердительно кивнул. Она обменялась с сыном несколькими фразами на быстром и непонятном мне английском, и оба рассмеялись, поглядывая на меня.

Я надел рубашку и сказал, что иду звать дядю. Они продолжали разговаривать между собой, а я спустился в магазинчик под нами и позвонил оттуда в закусочную напротив дядиной типографии. Прошло пять минут, пока я услышал наконец в трубке его мягкий голос, звучавший с опаской.

— Это я, дядя, — сказал я.

— Ну, стало быть, кончил?! — В голосе дяди прозвучало радостное изумление.

— Нет. Дело не в том. Послушай, — тут я на мгновение задумался как преподнести ему новость, но я не мастер выбирать выражения и поэтому у меня вырвались как раз те слова, которые я меньше всего хотел произнести. — Приехала твоя бывшая жена с сыном. Они сидят у нас дома и ждут тебя.

Сухая информация, переданная мной, не была воспринята на другом конце провода.

— Ты это о чем? — спросил дядин голос.

Я повторил сказанное, слово в слово. Стало тихо, и в трубке были слышны лишь далекие шумы на линии. Может, дядя задержал дыхание?

После долгого молчания он сказал изменившимся голосом:

— Чепуха. Это, наверное, стало быть, совсем не они.

— Они, — сказал я. — Я говорил с ними.

Дядя ничего не ответил.

— Ну, ты идешь? — спросил я.

— Чего они вдруг приехали? — произнес он каким-то надтреснутым голосом.

— Ты же их ждал, — сказал я. Хозяйка магазина украдкой поглядывала на меня, пытаюсь уловить обрывки разговора. — Ты же сам говорил.

Дядя ничего не ответил.

— Ты идешь? — допытывался я.

— Послушай, прошло столько лет, — сказал дядин голос на расстоянии в несколько световых лет. — Я ведь, стало быть, уже не молод, — он помолчал немного, а потом мягко спросил: — Какая она сейчас?

Я не знал, что именно его интересует.

— Женщина как женщина, я знаю? Ну, скажи, ты идешь?

— А ребенок? — умолял дядин голос. В этот раз он прозвучал на фоне других голосов в закуской. Не слышался ли мне среди них смех Франческо?

— Какой ребенок?! Ему уже двадцать три, а может и больше.

— Верно, — сказал дядя и вновь умолк.

— Ну, ей-Богу! — сказал я. — Когда ты придешь?

Он помялся и в конце концов слабым голосом сообщил мне, что сейчас же идет домой. Я вернулся. Гости ходили по квартире и рассматривали все предметы, которые отличали ее от других квартир.

Когда я ставил кофе, из комнаты слышался их смех. Смеялись они над воспоминаниями.

Пока вода закипала, я привел в порядок неубранные кровати. Потом мы пили кофе, и я чувствовал себя совершенно лишним.

Маленькая женщина продолжала говорить с сыном по-английски, и они по-прежнему много смеялись. Меня они ни о чем не спрашивали. Я улавливал лишь отдельные слова, но понимал, что они говорят о дяде.

Прошел час, а за ним другой. Женщина сняла туфли и прилегла на кушетке в гостиной, сын распустил галстук. Видно было, что они не торопятся. Я опять спустился в магазин и набрал номер закуской. Там положили трубку на прилавок, а через несколько минут сказали, что дядя уже ушел из типографии.

Я вернулся домой и, подбирая слова, сообщил гостям по-английски: "Дядя скоро придет".

Тетя сказала "О'кэй", а ее сын подошел к столу, взял одну из бумаг и стал расспрашивать ее о значении странных букв и слов. Им опять стало смешно. Я вышел на балкон высматривать дядю. Внизу прошел отец девушки из дома напротив, под мышкой у него была вечерняя газета, в руках две баночки простокваши, лицо как всегда угрюмо. В глаза мне бросилась яркая афиша нового фильма на столбе объявлений, и в этот момент я понял, что никогда не напишу ни строчки для кино, даже если это разобьет дядино сердце.

С тех пор прошло шестнадцать лет. Или, пожалуй, больше. Иногда я сижу в дядиной типографии, которая теперь перешла ко мне и едва дает средства к существованию мне и дяде, который уже много лет находится в лечебнице для хронических больных. Я сижу за столом и, когда трое моих рабочих уходят на обеденный перерыв, я достаю чистый лист бумаги и пытаюсь писать. Все равно что. Но перо отказывает мне, и рука бессильна. Рабочие, как всегда

недовольные чем-то, возвращаются с перерыва, и я складываю оружие.

В тот день, когда я вошел в комнату с балкона, был уже полдень. Тетя лежала на кушетке в розовой нижней юбке с бахромой, а ее сын снял рубашку и задремал на кресле. Дяди все не было.

В три тетя встала, прошла на кухню, открыла холодильник, осмотрела его содержимое и вынула для себя и для своего великовозрастного сына холодную курицу и помидоры. Проснулся и сын, отрезал хлеба, и они вдвоем сели за стол.

— Будешь поесть? — спросила женщина на остатках своего иврита, не поворачивая головы.

— Нет, — сказал я и опять вышел на балкон, но тонкой фигуры дяди, припадающей на одну ногу, не было видно.

Я вернулся на кухню. Те двое по-прежнему сидели над тарелками, смеясь шуткам друг друга.

— Я прошу вас уйти, — сказал я на иврите.

Они даже не посмотрели на меня. Я повторил.

— Что он говорит? — спросил сын по-английски.

— Я говорю, вставайте, пожалуйста, и сейчас же уходите, — сказал я на их языке.

— Что это значит? — спросила женщина, и улыбка сошла с ее лица. — Где господин Бах?

— Я не знаю, — ответил я. — Вставайте и сматывайтесь.

— Что случилось? — добивался сын.

Они обменялись несколькими фразами на быстром нервном английском. Парень пожал плечами, закончил есть, вытер руки полотенцем и надел рубашу. Тетя собрала посуду и составила ее в раковину. Затем она надела платье, а я стоял над ними как часовой.

В этот момент раздался звонок. Дядя! Нет, в дверях стоял высокий худой человек с волосами, гладко зачесанными назад, в роговых очках и в одежде туриста. Он вежливо обратился ко мне, но прежде чем я успел перевести себе, что он сказал, на порог выско-

чила маленькая светловолосая женщина и повисла на нем с криком: "Артур, диар".

— Хелло, — произнес мужчина голосом моего учителя, читающего из "Ридер фор бегинерз". Он поцеловал тетю в щеку и спросил:

— Ну как, нашли его?

Мой двоюродный брат застегнул рабушку.

— Нет, дэд. Но мы прекрасно провели время.

Часа через два после ухода моих родичей я отправился на розыски дяди. Я запер двери типографии и отправился по кинотеатрам. Три раза я покупал входные билеты. В конце концов я нашел его в "Тамар" среди немногочисленных зрителей, собравшихся на первый сеанс. Дядя с увлечением смотрел фильм, который назывался, кажется, "Счастливые времена". На экране Шарль Буайе обнимал своего сына Боба Дрискола и преподавал ему урок зрелости и мужества. Я прошел и сел возле дяди.

— Ушли? — спросил он, не сводя глаз с экрана, будто ждал моего появления.

Я кивнул. В темноте я почувствовал, как по его телу прошла волна облегчения и он расслабился, как будто до сих пор все время сдерживал дыхание.

— Я никак не мог, — сказал дядя. — Эта, стало быть, проклятая нога. Боль адская. Пришлось забежать сюда, чтобы хоть как-то ее успокоить.

Фильм мы досмотрели в молчании до последних титров, а затем поспешили в "Офир", чтобы поспеть на второй сеанс.

Шуламит Харэвен – автор ряда сборников рассказов (также для детей), стихотворений, романа. Первый стихотворный сборник "Хищенный Иерусалим" вышел в свет в 1962 году. Наиболее известны: сборники рассказов "Право выбора" (1970), "Одиночество" (1980), роман "Город многих дней" (1972; переведен на английский язык и издан в Америке), рассказы "Ненавидевший чудеса" (1983), повесть "Мессия или Кнесет" (1987) и др.

НЕНАВИДЕВШИЙ ЧУДЕСА

Уходили все время. Из города, иные — от родичей, исчезали из обжитых мест на египетской земле и прибивались к тем, кто ушел раньше. Недалеко уходили: до ближайшего оазиса, до расселины, где бил ключ. Хотели, чтобы пески пролегали между ними и страной египетской, отдалили бы от ее вельмож и чиновников. Всего лишь.

Вождей у них не было. Наверное, и обычаев не было. Сидели себе в оазисах, жизнь влачили бедную и самую что ни есть несчастную, низменную — палимые солнцем, кутаясь в изношенное черное; гикали на свои стада, такие же, как они, тощие и темные, часто промышляли грабежом. Порой посылались воины — подчинить их властям. Но редко, поскольку такие поручения полагались опасными. Босяки из оазисов умели ударить ловко и хлестко и так быстро исчезали в песках, что и ветру было их не сыскать. Останки тех и других, валявшиеся на месте схватки, год за годом жгло солнце, и наконец уже не различить было, где прах человеческий, а

где — сама земная суть. Железо же и всякая нить, покрывавшие их, разграблены были давно.

Иногда кто-нибудь из этих беглых приближался к земляному валу, ограждавшему сельскую усадьбу — вроде бы тайком, крадучись, а на самом деле — нагло, выделяясь черным рваным одеянием, темным загаром на грязной коже, подобной роговому покрову ящерицы, — тень, напоминающая воронью, мимолетно скользила по стене, и всяк, ее приметивший, только и говорил: кто-то из этих. Спрятав в складках одежды селезня, схваченного за крыло в оросительной канаве, либо арбуз, коли уже поспел, они стремглав бежали обратно в пустыню, оставляя за спиною проклятия и насмешки. Отгоняли их лениво, в недвижимом, бездейтельном замешательстве наблюдая за этим бесстыдным побегом.

Все их презирали. Изгои, называли презрительно, пропащие. Потому как пришел когда-то один из них и сказал: еврей пропащий отец мой. Даже беднейший из рабов, даже поденщик последний не выдал бы ни за кого из них свою дочь. Однако они почти не приходили. Те, что ушли, не возвращались. Пески, лежащие между ними и жителями возделываемой полосы, где были обводнение и полив, полевой оборот, вельможи и рабы, где признавались межа и забор, и мировой порядок сопутствовал буйволу, изо дня в день медленно ходившему по кругу и вращавшему колесо, — пески эти означали окончательный разрыв.

Запорошенные песком, сбросившие всякое ярмо, они ждали.

Были и другие. Надолго поселялись в одном месте и становились как египтяне. Всегда можно было заметить мальчишку, что сидит посреди пальмовой рощи, высоко на стремянке, охваченной ветвями,

срезает коротким ножом финиковые гроздья или покрывает это увесистое, ниспадающее изобилие сетками — от несметных птиц, — то ли сидит там просто так, глаза на развилку дорог и наигрывая на свирели. В роду Цури свирели были у многих — там все петь да играть умельцы, на богачей Раамсе-са-столицы работали, дома у них просторные, под сенью пальм. На закате шли, бывало, к соседнему протоку, стояли там, словно умытые великим золотистым светом цвета львов и меда, льющимся на простор равнины, рыбу ловили с мальчишками-египтянами — на удочку или сетью, — а то выходили на узких лодках с высокой мачтой, босые и мокрые, облитые светом и искристой водой, а потом несли домой плетеные корзины, полные серебристой рыбы, трепещущей, мясистой. Голоса их сливались с гомоном пестрых птиц, которые тоже вылетали на лов рыбы в этот час. На всякое место, оставленное людьми, тотчас спускалось множество пеликанов, розовых фламинго, белых цапель да ибисов, с немолчным шумом хлопавших большими крыльями.

Этого часа благодати египетской никогда не пропускала госпожа Ашлил, еврейка, вдова одного из власть предержащих. Она поднималась на крышу своего дома, под навес из пальмовых ветвей, очищала от кожуры плод, поданный одним из ее юношей, и подолгу глядела на густой, медвяный свет, медленно стекающий с неба на поверхность воды, окрашивающий ее в красное, в бронзу, в серебро. Много лет назад — Ашлил еще просватана не была — увидела она леопарда, стоящего возле старой, заброшенной оросительной канавы, как раз в этот час, и глаза у него — как у мужчины. С тех пор каждый вечер она вглядывалась в ту сторону. Леопард не появлялся. Одни лишь белые цапли ступали вслед за буйволом, да поденщики-евреи таскали тяжести и иногда напевали — глухо, почти беззвучно — песни, в которых была одна безнадежность. Много их стало,

евреев, и не для всех находилась в Раамсесе и его окрестностях работа, а они шли и шли сюда, толпа за толпой, мужчины и женщины, простаивали долгие часы под солнцем или сидели под оградами и взывали к хозяевам. Египтяне выходили взять по своей надобности пятерых, десятерых, а прочих гнали, и те убирались ненадолго, но затем возвращались и, онемевшие от мух, ждали, ждали... Сельские работы подходили к концу, а они все еще сидели. И множились с каждым годом. Отделаться от них не было никаких сил. Наконец, наложили на них запрет плодиться. Чтобы не жили здесь. Чтобы убралась отсюда. Но евреи не уходили. Их женщины изловчились рожать тайком, в земляных норах, и уже спустя несколько часов вновь становились на работу. Часто они не могли вернуться и взять ребенка оттуда, где спрятали. Хищные звери, приняхиваясь, забирались в те норы.

В праздник Осириса, когда каждая египетская семья пускала плыть вниз по Нилу или протокам корзину из папируса с раскрашенной и наряженной статуэткой, олицетворяющей это божество, бывало, что жены евреев-поденщиков ухитрялись отправить в плавание своих младенцев. Иногда их корзины прибывало к высокому, глухому тростнику, и этих младенцев подбирали египетские семьи, считавшие их Осирисом, возрождающимся из года в год. И не удивлялись: известно, ведь воды Реки — они и жизнь, и смерть, могучий он и великий, Нил, многоводный, жизнотворный. Даже бесплодных, чье чрево — дерево да камень, оплодотворял. Случалось, пососет женщина стебель тростника, растущего в плавнях, — глядишь, понесла. А откуда это бесчисленное множество лягушек, если не из нильского ила? — Плодоношение без конца и без краю.

Байте было лет пять, когда в крошечной тьме небольшой пещеры возле еврейского становища Милха-

поденщица родила Эшхара. Девочка забрела туда случайно еще днем, а потом стемнело, и она испуганная, с пальцем во рту, забилась в угол, слыша, но не видя, как какая-то женщина старается, выбиваясь из сил. Байта подумала, что женщина забралась сюда справить нужду. Во тьме, в духоте да из-за тяжких стонов женщины, множимых эхом, Байте мерещилось, что тут полно каких-то мохнатых зверей и нету от них спасения. Она стояла прижавшись к камню и напряженно пыталась распознать невидимое.

Потом все кончилось — будто покинули мохнатые подземелье. Стало светло и пусто. Легкий ветерок проникал снаружи — трепетный ночной ветерок, — ушли облака, и беловатый лунный свет сочился внутрь. Милха поднялась со стоном, обтерла себя и младенца, поднесла его к выходу.

— Парень, — простонала она. — Парень.

Перетянула ниткой пуповину, затем вынула из складок платья финик, хорошенько разжевала и этой финиковой кашцей смазала младенцу небо. Тот покричал немного и затих.

И тут она заметила Байту, что во все глаза уставилась на нее из угла. Милха спросила, уж не с самого ли начала та здесь. Девочка кивнула: да.

Милха долго молчала, потом щепкой, что была при ней, вырыла ямку и, как бы в задумчивости, захоронила послед и все отбросы. После этого быстрым движением сунула дрожащего младенца Байте в руки:

— Возьми его к себе домой. Эшхаром зовите.

Байта обхватила младенца и побежала к отцовским хижинам. Там женщины хотели его отобрать, но она держала что было силы и не отдала. С трудом ее убедили поменять промокшую одежду. Этот мла-

денец принадлежал ей, будто она сама его родила. Она уложила его подле себя и не сомкнула глаз до рассвета, с его суетой домашней птицы меж хижин, ревом буйвола, привязанного к колесу, и выгоняемого скота, журчанием парного молока, струящегося в кувшины, стуком лоханей и кадок. Эшхар спал рядом с ней.

Иногда его кормила Милха — всегда поспешно, между работами, — или какая-нибудь женщина из семейства Ицхара, у которой было свое молоко, давала ему грудь. А чаще Байта накапывала ему в рот жирное, желтоватое молоко буйволиц. Заболевает, предсказывали ей. Но Эшхар рос и не болел. Спустя некоторое время стали привязывать его у Байты за спиной, и в сумерках они походили на маленькое, странное, горбатое существо, что бродило по деревне да пищало со спины. Одна из кос Байты всегда была мокрой, потому что младенец сосал ее, непременно одну и ту же.

И оба росли, как одна плоть.

Года не прошло — снова Милха на сносях. Каждый день ходила она работать в один египетский дом. Ее предостерегали, но она не внимала, стягивала потуже живот — дабы не слишком выдавался — и все тут. Не злые они — отвечала, — рабыни-то. Все до одной как подруги с нею. А ежели она не пойдет, кто малым-то пропитание даст? Ведь отцам вовсе дела нету. Однако роды подошли намного раньше, чем гадала да высчитывала, — она еще господские ковры трясла изо всех сил. Хотела было незаметно ускользнуть в поле, да одна рабыня уже побежала к госпоже. Хозяйка дома в ту неделю скорбела по своему умершему сыну, и невыносимо ей было, что у нее вот утрата, а еврейка родит. Откуда эта страшная плодовитость у евреев? — жаловалась она мужу. — Не оттого ли, что на работе копаются все они

в нильском иле, а лучше этого ила, известно, нету для плодородия. Пришли, расселись тут и кишат с мухами, лягушками да всяким гнусом вперемешку. Когда еще было у нас такое множество мух и лягушек? Согласись: ведь чешемся мы все, как чесоточные, от грязи их. Пришли они — и лишили нас божьей милости. Так жалобилась она и причитала, а на запястьях — печально, медленно и непрестанно звенели браслеты. Когда явилась маленькая рабыня и сообщила, что у еврейки начались роды, госпожа встала, и — искра гнева высеклась из нее. Она немедленно вызвала надсмотрщика-ханаанца, жестокого и безжалостного. Страх обуял все живое, в доме воцарилась полная тишина. Ханаанец взял Милху, связал ей ноги вместе и — на дереве, что росло возле дома, подвесил головой вниз. Весь день пугающе, как издыхающая рыба, бился вздутый живот, потрясая дерево, деревню, всю землю. Потом все замерло.

Когда опустилась ночь, несколько евреев вышло из своих хижин. Понимали: ханаанца не возьмешь. Зато остановили повозку с египтянами. У тех был праздник первых плодов, и они отправились показаться на расцвеченной, разукрашенной папирусом да птичьими перьями повозке. Были немного хмельны в большинстве. Притаившейся злобы не ждали. Не остерегались ничего. Порешили их быстро, до последнего, — все первенцев, от пяти- до двадцатилетнего — стиснув зубы, в страхе, задыхаясь, в холодном поту, и бежали. Торопили женщин: быстрее, быстрее. Теперь уже нельзя тут оставаться, даже до утра. Собрали что можно и побежали к пескам.

Долго ждали, что за ними погонятся мстить. Но погоня не появлялась. И все же страх не отпускал, и они уходили все дальше и дальше, покамест у кромки небосклона, там и сям, не остались видны лишь верхушки египетских пирамид да пески. На пятый день достигли шатров тех, кто бежал задолго до

них. Расположились рядом. Поначалу пытались храбриться: дескать, еще вернемся в Египет — вот умрет фараон, уляжется злоба. Но изгой смеялись им в лицо: никогда уже не вернетесь, говорили, никогда, и лучше свыкайтесь с этим сразу.

Задержались. Мало-помалу построили и они шалаши, потом — хижины в том месте, где встали. И принялись ждать.

Однажды пришел Моше* — тайком, и с ним только один человек, который все время молчал. Сидя на песчаном холме, их ждал мальчишка, а когда подошли, безмолвно повел к шалашам.

Внешность Моше больше поражала, нежели впечатляла. О нем рассказывали, что убил египтянина и, спасаясь, бежал через пустыню далеко — до той земли, где когда-то жили их предки, — и за ним не угнались. Потом вернулся. Иные уверяли, что два сердца было у него: одно — египтянина, а другое — еврея, и египетское он сам вырвал и убил, чтобы искоренить даже память. Клялись, что видели у него на груди след разреза. Сейчас трудно было найти в нем что-то отличительно египетское. Но и как все евреи не был. Египет — это изысканность, речь витиеватая, вежливость, а он говорил косо, язык евреев ворочался во рту тяжело. Говоря, прохаживался перед слушающими, рука взлетала, борода острым клином торчала вперед, будто всегда есть у него направление. Сложения был крепкого, высок, и заметно стеснялся этого: выделяться не хотел. Стоял перед всеми — и склонялся в скромности доброй и убеждающей. Подчас обронит невзначай какое-нибудь египетское слово — и весь вспыхивает от смущения. Сказал, что нужно уходить.

* Моше — по русской традиции Моисей. Далее все имена также сохранены в их древнееврейской форме.

Поведали ему, что кое-кто из них не переставая говорит о возвращении на землю праотцев. — Ах, вот оно что, — отозвался он рассеянно, будто это неважно. — Главное — уйти. Уйти всем. Также тем, кто поныне там. Стать единой общиной. Вместе, сообща. И сцепил крупные свои пальцы, как бы желая показать в точности, насколько — вместе, сплоченно, едино.

Детство, прошедшее в Египте, угнетало его, но не в силах он был высвободиться из этих уз. Пытался заговорить о вечности — вечности бытия и небытия, — но умел сказать об этом только по-египетски. Говорил о мумиях об этих, в которых египтяне увековечивают смерть, и про темно-красные тернистые кусты ежевики в пустыне, в которых жизнь, а не смерть. Но его не поняли. Кивали вежливо и не спорили. Хочешь ежевику — пускай ежевика. Потом он спросил, многим ли из них знакома пастушья жизнь. То был уже легкий вопрос, на него умели ответить: большинству, сказали, почти всем, даже тем, кто в последнее время работал только на постройках, на обводнении и на полях. Ведь мы же, мол, евреи, народ пастухов. Баран кормит, баран одевает, с бараном же ночью спим, и — тепло нам. Тут просиял он, захлопал в ладоши — казалось, его пуще и не обрадуешь, аж подивились все.

Распрощался он и пошел обратно со своим спутником, который все время молчал. Тот же мальчишка, что привел к шалашам, проводил их на сей раз до места, откуда зеленеющей полосой виднелась египетская земля. Дальше не пошел. Сплюнул и повернул вспять.

Уходили все время, и те, что ушли, становились множеством великим. Не все селились вместе. Пустыня широка, и даже тут, в пустыне, встречались усадьбы египтян со скотными загонами, огорожен-

ные низким земляным валом, да мелкие поля гороха и клевера — скорее, просто посевы, а не поля, — с пестреющими среди зелени белыми аистами. Евреи не приближались к этим усадьбам. Кое-где были вооруженные стражи, полудикие, пронизывающие взглядом каждого, пока не миновал.

Уже затруднялись сказать, сколько их. От месяца к месяцу, год за годом скопище это росло и множилось. Пройдешь день — найдешь еще стоянку. Нелась и день ото дня ширилась молва. Говорили, будто Моше поссорился с самим фараоном. Что одолел всех чародеев египетских. Что с посохом-то своим он хоть на тигра, хоть на льва, хоть на быка дикого... Что гибель он навел на всех первенцев египетских. Что-де чуму да сыпь с нарывами наслал он на них. В душе и сами не знали, верят этой молве или нет. Передавали как бы сомневаясь, слегка удивленно, а под конец этак беспокойно посмеивались. В глубь страны, откуда бежали, вернуться не могли, но понимали, что и здесь уже недолго осталось сидеть. А покамест коротали время за пересказами этими. Придулившись в углу, с Эшхаром на коленях, жадно внимала им Байта. Некоторым немного странно было слышать все это про Моше, мать которого, Йохевед, женщину малость не в своем уме по причине старости, знали хорошо. Но отрицать — никто не отрицал.

Так было, пока им не сказали, что отправляются в путь.

Благостным светом пролился над всею землею закат. Стаи аистов чертили круги в вышине, будто высматривая пределы этого света. Внизу, в стане, проворные мальчишки цепко держали блеющих овец. Воздух был полон шума, блеяния, кудахтанья, криков. Плетеные корзины и коробка стояли снаружи собранные, перевязанные веревками. Веревок не хватало, и почти у каждого дома по двое, по трое

мужчин, присев на корточки, плели новые. Виток за витком летел на землю. Женщины укутывали плоды и зелень, привязывали к длинным жердям финиковые грозди. Из-за великой спешки то тут, то там билась утварь. В быстро темнеющем воздухе стоял запах жарящегося мяса, пролитого питья, пальмового меда. Тропинки в стане, покрытые затвердевшей грязью, отражали цвета заката, а после — тусклые, кровянистые, грубые огни факелов. Казалось, саму жизнь складывают, увязывают, чтобы перенести в другое место, а покамест, разъятая, она бесстыдно выложена у всех на виду. Все вывалено наружу: женские вещи, бараньи кишки, помойные горшки, битая посуда, остов веретена, который больше не послужит...

Когда зажглись звезды и высоко взметнулось пламя костров, подошло время пасхальной жертвы. Живее, живее, торопили старики. Поспешно, ловко орудовали ножами, и парни швыряли куски мяса в огонь. Ели стоя на пороге, возле влажных проулков, разрывали мясо пальцами, с которых капал непрожаренный жир, вытирали их о стену, о дверной косяк. Женщины разносили на закуску большие листья лагука и салата. Скорее, скорее, все поторапливали старики. Мальчишки принялись затапывать костры, разбрасывали угли. Иные мочились на горячую золу. Было уже совсем темно. Подняли несколько факелов. Весь стан кипел.

Взвалили поклажу и выступили. Шли длинной вереницей, внезапно притихшие. Дети держались за материнский подол; госпожа Ашлил, — никто не знал, когда она появилась у этих хижин — прямая и гордая, шагала вместе со всеми, и несколько парней несли ее большие узлы; семейство Ицхара шло вразброд и, что всегда их отличало, как бы нехотя, будто им казалось — не то оставили что-то нужное, не то просчитались в чем... Байта шла со своими, а Эшхар де-

ржал ее за руку, жевал былинку и с любопытством озирался. В зыбком свете редких факелов, в промежутках меж кучками людей был виден домашний скот. А впереди и позади была крошечная тьма.

Шествие полнилось и росло. Люди подходили со всех сторон. Вблизи одного из станов примкнуло к толпе семейство Цури, неся свою музыку, но были они теперь, эти Цури, молчаливы и не наигрывали. Кто бос, кто в сандалиях — люди нескончаемо шли, под храп и блеяние скота перебирались через песчаные бугры да холмы. Немногие египтяне, выйдя за ворота своих разбросанных по пустыне усадеб, недоуменно и молча взирали на этот ночной ход.

Когда миновали и пропали среди песков тысячные толпы, осветила заря покинутые еврейские становища. Ветер колыхал ветки в навесах пустых хижин. Кое-где на дороге, протоптанной тысячами ног в глубину великой пустыни, валялись черепки разбитого кувшина, оброненный пучок гороха или оторванная подошва.

Птицы и мухи тучами покрыли пустой стан.

* * *

Огромная, немыслимая свобода переполняла воздух. Не было распорядка; казалось, будто на всем свете порядка больше нет. Утром не нужно было вставать на работу. Не было ни раба, ни господина. Была пустыня, которая не таила угрозы, тут и там — каменные расселины. Ясные, свежие утра. Прозрачная дымка поднималась над приземистыми кустами акации и белыми цветками зугана на равнинах. Тишина ощущалась. И было бескрайним небо.

И до них жили на этой равнине люди. В расселинах попадались разрозненные кости да черепа. Не только

человечьи. Эшхар ненавидел и боялся их. Вцепившись в Байту, говорил: это м-мертвяки египетские. И Байта ему объяснила, что умерший египтянин обращается в крокодила или шакала — приходят Ба и Ка, забирают его душу и вкладывают в новое место, в другую тварь. А евреи не превращаются ни во что, хоронят их — и все тут. Потом собрали мальчишки несколько мешков костей да выбросили подальше. И только один из мальчишек оставил себе челюсть — такую огромную, какой никто сроду не видывал.

Бывало, еще до того, как занималось утро, кто-нибудь просыпался, охваченный дикой радостью, будоражил спящих соседей — восходящее солнце освещало продрогший, неумытый, неприбранный стан, — и, обнявшись, люди кружились в пляске. Звали это праздниками. И не нуждались в словах. Нередко случалось — как пьяные, по несколько, — заваливались к Моше в шатер, во главе стана, будили посреди ночи. Дабы не выделялся и не возомнил себя фараоном. Чтобы не было здесь Египта. Иной раз проходит Моше по стану, а люди льнут, дружелюбно хлопают по плечу — да так, что кости чуть не трещат: мол, люб ты нам, Амрамов сын, люб, да и только, заика ты этакий, подкидыш водяной, — люб, хотя каждый тут знает мамашу твою, Иохевед, что над идолами своими квохчет у себя в шалаше, как наседка на яйцах. Ты у нас зато свой, заика ты этакий. И Моше, который не выносил прикосновения чужой руки, сдерживался, вынуждал себя улыбаться и шел дальше, неотвязно сопровождаемый их вонью и добродушием, все сильнее заикаясь. В то время ему было важно оставаться у всех на виду. До шатров Ицхара, на самом дальнем краю стана, почти никогда не доходил. Не из самых видных среди колен израилевых был род Ицхара.

Однажды в шатер к Моше пришел Нун. Заговорил по-египетски. Долго упрашивал. Хватая за ку-

шак, он заклинал Моше исполнить его просьбу. Сына своего, Иехошуа*, привел: возьми его себе в мальчишки, Моше, а заодно — будет тебе личным стражем от всех этих толпищ, кои от избытка счастья да любви, да свободы вот-вот душу из тебя вышибут. Моше не хотел, но в конце концов уступил. Отныне каждый, кто желал видеть Моше, вынужден был миновать Иехошуа, что сидел перед входом. Пороптали немного — да и бросили ему надоедать.

Безмолвие. Изредка — блеяние стада, изредка — человеческие голоса в расселине или у воды, временами — резкий крик пустынной птицы. Слух трепетал от всякого звука этой иссохшей страны. Так же, как трепетал когда-то — и продолжал поныне — от голосов нанимателей.

— Байта, покажи, как делает буйвол, — просил Эшхар. — А как голуби?.. А теперь — какие в Египте голоса...

И она изображала — чтобы не забыл. А может, чтобы не забыть самой. Иногда для себя принималась вспоминать: вот есть такой звук, это — в полдень, издали не поймешь, то ли дикий голубь гнездится, то ли стрекочет сверчок, то ли водяное колесо медленно поскрипывает. Полевой это звук. И она потихоньку подражала этому звуку, поражая Эшхара и сама завороженная, смежив веки и видя перед собой, будто наяву, зеленые поля клевера и бобов, уходящие вдаль, до самой кромки египетского неба.

Что ни ночь, кто-то бежал из стана. Изголодавшись по зелени, по рыбе, по спокойному плеску живой нильской воды. А еще, может, по виду узенькой лодки под высоким парусом, что скользит по воде, заслоняя на мгновение низкий лунный лик. В Еги-

* Нун — Навин, Иехошуа — Иисус (см. прим. на стр. 235).

пет пробирались незаметно, никому не сказавшись. Однажды послали из стана пятерых к морю, принести соль. К морю они не пошли, а повернули в Египет. Избили рыбаков и сожрали все, что нашли на дне лодок, с потрохами, полусырое — рыбу, устриц, креветок... Потом обнаглели и пошли воровать в ближайших египетских городах. Спустя несколько дней перессорились из-за золота, и, наконец, лишь один из них вернулся. Соли не принес. Только и твердил, что не виноват. Один старец ударил его в сердцах — и убил. С тех пор не посылали за солью.

По ночам было страшно. Об этом никогда не говорили. Великая пустота теснила их друг к другу, укрывшихся волокном молодых пальмовых веток и все еще грезящих, будто фараоново войско идет разыскать их в пустыне; и поныне видели во сне зелень да ил и громадные египетские камни. Многие бы еще вернулись, кабы не страх. Чудилось им, что вся эта пустыня — печальное воплощение самой смерти — вздымается, чтобы раздавить их, спящих. И дрожали — от холода и страха. Солнце каждое утро появлялось как избавитель и чудо. Были ночи, когда им не верилось, что оно появится и спасет.

Чтобы Эшхар не убегал, не носился целыми днями с мальчишками, Байта рассказывала ему. Но его уже было не удержать. До самого вечера он пропадал с Авизлем, Змером и Яхином — братом Иехошуа. Вернувшись, как маленький, довольный зверек, клал голову ей на колени, и — воцарялся в душе у обоих утраченный покой, как будто плоть была мудрее их самих, а также всех вещей и любых дел. Подошел день, когда он сказал, что не верит в такую страну, Египет. И родины праотцев нет. Сказки все это.

С каждым годом нищали. Одежда, что взяли с собой из Египта, все больше ветшала. Кочевали, со-

вершая короткие переходы между редкими источниками да от акации до тамариска, и мысли у них не возникало, что существует какой-то иной смысл их приходу и скитаниям по этой пустыне, как не для нужд скота. Места здесь были слегка всхолмленные, очень сухие, и к этому приспособились. Уже умели пойти и собрать крупичи можжевельниковой манны и знали — как люди, так и скот, — что нельзя прикасаться к одурманивающим растениям. Огонь поддерживали сухим кизяком да финиковыми косточками. Чуть сеяли, чуть снимали, мололи — меру, две... Поодаль, перед всем станом, всегда пылал огромный костер: днем хорошо был виден столб дыма, а ночью — огня. Далеко никто не отходил, и если какой-то пастух, уйдя за грядой холмов, терял этот столб из виду, то впадал в страх, будто невзначай поглядел туда, где нет Бога, и побыстрее возвращался, дабы простилось ему это прегрешение. Бессмысленно текла жизнь. Просто не было это Египтом. Там была каторга, здесь — свобода. Рабство сбросили, а вместо него не пришло ничего. Старики умирали, дети росли.

Спустя какое-то время по лицу старика Ицхара стало заметно, что он тщательно и неотступно о чем-то думает. Наконец, он отправился к шатрам Эфраима и вернулся с одним из тамошних. Сели они и о чем-то калякали вдвоем, пока не вышел Ицхар объявить женщинам, что выдает Байту за парня из колена Эфраимова, Завди его зовут, и выкуп за нее добрый.

* * *

Эшхару было тогда лет двенадцать, ростом он был невелик, худ. Остановившись у входа в шатер старейшин, он долго не дерзал войти. Пока кто-то изнутри не заметил и не подал ему знак. Мрак, стоявший в шатре, был неожидан: семейные шатры все-

гда были распахнуты, вещи лежали и внутри, и снаружи, а здесь все было прибрано и сложено. Место казалось чужим, тесноватым, как бы случайно занесенным в глубь этого необъятного песчаного простора с приземистыми, густыми зарослями акации, освещенного косо падающим светом. Пол покрывали потертые ковры. Через прорехи между лоскутьями, из которых был сшит шатер, тут и там проникало несколько лучей, напоминающих зубья сломанного гребня; в них плавали пылинки. За этими живыми пылинками Эшхар понемногу разглядел лица нескольких стариков. Они совсем не походили на тех, какими Эшхар знал их вне шатра, словно были чужими. В ближнем углу стоял тот самый, который позвал Эшхара войти. Теперь он стоял отвернувшись и разливал по блюдам пахту.

Один из них спросил как зовут. Эшхар ответил, хотя не различил вопрошавшего. Ему даже почудилось, что голос принадлежит загробному духу. Тот, что прислуживал, стал разносить угощение, пересек гребенку лучей и на миг, покрывшись множеством полосок света, показался весь, а затем вновь исчез в темноте. Установилась тишина, потом послышался шумок оживления и какой-то шепот, но слов Эшхар не разобрал. Стоял и терпеливо ждал. Перед глазами кружились пылинки.

Наконец, спросили, чего ему от них надо.

Сказал, что есть у него вопрос, да не знает ответа. Они-то, старцы, конечно, смогут ему помочь. Он и сам понимает, что египетская вера — пустое, нет у евреев Ба и Ка, кои приходят забрать душу человека, но не дает ему покоя вопрос: существует ли на свете загробная жизнь, а еще — повторяется ли судьба человека в той, новой жизни или нет?

Все были поражены. Он чувствовал это сквозь

тишину и мрак. Вдруг ему стало неловко. Был уверен, что они только и отвечают дни напролет на такие вопросы. Ведь они же мудрецы, для них это обычное дело. А оказывается — не так.

Спросили удивленно: может, какая-то тяжба его сюда привела; может, отняли у него силой овцу, или пропала одежда, или пища из шатра, или хозяин стада не отмерил ему мзду? Он стыдливо ответил, что ничего такого. Они смущенно пошептались между собой, а потом другой голос спросил из полуьмы, зачем он спрашивает о таком и только ли эту заботу носит в душе. Не только эту, сказал. Вот, подругу его, Байту, из семейства Ицхара, помолвили с другим, и теперь он хочет знать, только ли в нынешней жизни суждено встретиться ему с ней, или можно подождать до какой-то будущей, в которой, возможно, все будет по справедливости, и он, Эшхар, получит Байту в жены.

Мощный раскат смеха, вырвавшийся из их глоток, застал его врасплох. Вначале захохотал один, за ним — остальные. До хрипа, до удушья смеялись они, склоняясь лицами к блюдам, что держали перед собой, бороды тряслись, слезы текли из усталых, старческих глаз. Многое довелось им услышать в этом шатре, но такого... Да от кого! — От щенка, в котором нет еще ничего мужского. Какую-то пизду у него забрали, а он уже нате вам, бежит судиться с Господом.

Эшхар повернулся и выскочил из шатра. Стремглав понесся через весь стан — туда, туда, к самому Моше, — и слезы ярости и унижения текли по его щекам. Он повидает Моше. Расскажет ему об этих зловредных стариках. Уж Моше-то рассудит.

Перед входом в большой шатер сидел Иехошуа. Лицо его было светлое и полное, как луна, а обрамлявшие это лицо локоны напоминали двух стражей.

Чист он был на удивление, одежды белые, и взирал на тощего, нечистого Эшхара, на лице которого были размазаны слезы и пыль, с легким пренебрежением. — Что привело тебя к нам? — спросил он, едва заметно подчеркивая: к н а м . Эшхар ответил, что желает видеть Моше. Иехошуа взглянул на него с показной терпимостью, которая была не чем иным, как нетерпимостью. — Слышь, малец, сейчас-то мы отдыхаем, — сказал он. — А ежели мы отдыхаем, то не приведи Бог кому заходить. А потом у нас еще дела. Так что — завтра либо послезавтра. А лучше поведай-ка, малый, что там у тебя, мне, преничтожному Иехошуа. Авось Иехошуа-то и поможет.

Поток слов сорвался с уст Эшхара — невнятный, клокочущий, — из которого всего-то и понял Иехошуа: Ицхар, Байта, старцы, калым, справедливость, справедливость и справедливость. Глянул Иехошуа на Эшхара, тонкая, почти незаметная усмешка тронула его холодные губы — глаза оставались невыразительными, — и молвил:

— Мы чудеса творим. Справедливость — не нашенское это дело.

Сказал и встал, и его крупное, белое, как луна, лицо сразу заслонило Эшхару все остальное. На какой-то миг ему захотелось трахнуть кулаком по этому наглому лицу — и не посмел, но Иехошуа, как видно, хорошо понял, что на душе у мальчишки; с победным видом он слегка приоткрыл губы и процедил: ступай-ка, малый, к старцам. Они там целыми днями только тем и заняты, что правду-матку ищут. Бороды друг у друга рвут — авось, правда у кого в бороде затерялась. Проситель сто раз придет да уйдет, а они все правды для него не найдут. И ступай-ка, малый, шевели ногами, а то вишь, сколь столпилось тут бездельников вроде тебя, худо им придется, коли не смотаются немедля. Еще разбудят нас. Ну-ка, давай, давай, двигай отсюда поживее!

Достигнув жилищ Ицхара, Эшхар чуть задержался подле кувшина с водой, висящего у входа в один из шатров, обмыл лицо, сделал несколько больших глотков. Не от кого ждать помощи. Никого у него нет... Вот взять — и овладеть Байтой. Да так, по-мужски, насильно — и станет она его и не смогут тогда выдать ее за Завди — ни за что.

В тот день она не выходила из шатра — ждала женщин, которые придут готовить ее к свадебному обряду. Ее тело, с головы до ног, было уже умащено, скользкое на ощупь и благоухало, волосы — смочены и источали какой-то острый запах, а вышитое платье и украшения — сложены в углу. Она сидела на ворохе мешков, бездумно глядя перед собой и поглаживая руки, от плеч до запястий, как бы желая вытереть. Услышав снаружи шаги Эшхара, она тотчас встала. Что? — спросили ее испуганные глаза. Он не ответил — набросился, обнял изо всех сил, повалил на спину, старался обвить ногами ее ноги, а ей, потрясенной, внезапно представилось, что все это — заблуждение и что в шатер к Завди ее не поведут, — это ее Эшхар вдруг повзрослел и возьмет ее, чего, по сути, надлежало всегда ждать. И она раскрыла объятия, готова принять его в ужасной сладостности, вот умащенные ее руки уже обнимают его, а губы раскрываются под неспелыми, сомкнутыми его губами.

Но он был еще ребенком, Эшхар. Спустя мгновение всхлипнул, резко отстранился, выскочил из шатра и убежал далеко за стан, а там, рыдая, бросился на песок и стал кататься, стараясь изо всех сил очиститься от остатков чужого благовония, от тошного чувства своей немощи.

Убежал он далеко и не видел, как уводят Байту в шатер Завди, ни женщин, окружающих ее, поющих да бьющих в бубен. А она шла немного хмель-

ная от пряных запахов, с широко раскрытыми глазами, проголодавшаяся за время поста и оглушенная всем этим шумом. Завди был парнем лет восемнадцати, с лицом еще по-детски припухшим, но руки у него были большие и умелые. Всю ночь справлял он свадьбу — под пение свирелей снаружи, свирелей Цури, да под звон бубна, — а когда музыка ненадолго прервалась, в шатер забежали мать и тетки Байты — взять вышитую ткань, дабы явить всем собравшимся на торжество невинность невесты, после чего веселье закипело пуще прежнего, и парни снаружи подзадоривали: давай, Завди, шибче, пустыня перед тобой, поливай ее, Завди, вовсю, не то пособим. А Завди в ответ громко смеялся из темноты: да поглотит вас мрак, я и сам справляюсь со своей поливкой от холмов до самых дебрей поляю.

Байта, взволнованная, разряженная, умощенная — юная, голодная, болящая плоть — приняла его не колеблясь. Где-то в душе казалось ей, что это лишь по случаю праздника, на день или на два, а потом все станет как прежде. Подумала, что утром она пойдет и разыщет Эшхара: посмотрит, что с ним приключилось. Пришло утро, а с ним — усталость тела; волосы были в беспорядке, словно сад после бури; Завди, придавив ей руку, спал глубоким, сытым сном. Она лежала, поигрывая амфоркой с душистым маслом, висящей на шее, и — не пошла.

Эшхар убежал до самых отдаленных кочевий. Переживал ненависть. Движения стали медлительными, точно жил под водой. Лицо посерело. Однажды вернулся к шатру Ицхара. К Эфраимову стану не обращал глаз, будто навсегда утратил зрение в ту сторону. Сказал Ицхару, что желает обзавестись собственным стадом. Ицхар пытался увильнуть, но в душе понимал, что парень прав. Придет день, он женится, сам станет хозяином и у него, Ицхара, не унаследует. Торговался Ицхар долго, но Эшхар уперся и не

уступал. Изведал уже: суд — он на стороне сильных. И понемногу разжился стадом. Очень скоро выучился и отстаивать его, свое стадо. Пару раз силой отнимали у него суягную овцу. Был бит, и бил в ответ. Сделал себе большую рогатину и пас далеко. Отправился раз друг его, Авиэль, поискать его среди холмов, а Эшхар схоронился и не вышел навстречу.

* * *

Потом было дело с людьми из Дедана.

Медленно, медленно, шаг за шагом, как по высоким волнам — спускаясь и вновь поднимаясь на песчаные холмы, — крупные, будто опухшие, неподвижно восседая на спинах огромных верблюдов, они приближались — вот уже слышен звон монет и разноцветных камешков в оторочке упряжи — и, наконец, въехали в замыкающий стан. Даже от их верблюдов, навьюченных множеством мешков, веяло чванством. Из расставленных где попало нищих шатров взирали на них люди.

Прибывшие были в странных шапках с вытянутыми наружу краями, прикрывающими лицо от солнца. Бороды — какие-то редкие. Оружия при них было много. Следом в стан сразу же въехали их рабы, быстро попрыгали на землю, хватая верблюдов за узду и понуждая опуститься на колени. Сыны Дедана, числом около дюжины, под звуки тяжелого верблюжьего сапа грузно сошли и стояли, оглядывая малочисленное сборище местных. Потом один из них сказал что-то по-ханаански, но его не поняли. Кое-кто из мужчин приблизился. Толмач выждал немного и заговорил по-египетски. Перво-наперво деданцы эти, земли немалые исходившие и в обращении толк знающие, позволения просили долг исполнить перед

божеством уважаемых хозяев, пускай только те сопровождают их к своему святилищу.

Сроду не смущались пуще. От полнейшей растерянности щеки зарделись, рты онемели. Пришельцы учтиво ждали. Поскольку ответ запаздывал, они повторили, что самое главное их желание — дань уважения отдать хозяйскому божееству, о чьем могуществе много прослышали во всех землях, где торговали. А дабы заслужить его благосклонность, готовы даже принести ему в жертву раба, а то и двух, или какой-то другой подарок — согласно тому, как принято у хозяев. Наконец, один из стариков горько вымолвил, что божество сего племени таинственно и незримо. Деданцы с трудом скрыли в бородах улыбку. Ну и странное божество у этих людей, говорили их лица. Небось, уселось где-нибудь по нужде да и забылось невзначай, а может, оно такое крохотное, что не заметишь — исчезнет, как сурок, среди камней, и, сколько ни ищи, не найдешь. Однако приступили к делу.

Дошел до них слух, что сыны израилены, хозяева их гостеприимные, народ вольный, детище вольных праотцев, содержат при себе все ценности страны египетской, и что всемогущий их Бог, про которого знает весь мир, наделил их от своей благосклонности. И коли соизволят почтенные хозяева оказать им гостеприимство и позволят пожить здесь несколько дней, то ничего они не утаят и не скроют — о нет, Боже упаси! — развяжут все свои мешки, а там — ткани простые да вышитые, да миндального дерева плоды, да утварь красивая, чаны из Тира. Авось, из скромных этих вещей что-нибудь да приглянется хозяевам, и тогда они уже раскроют все без остатка, поскольку известно, что сыны израилены — это не какие-нибудь — Боже упаси! — степные разбойники, и даже нитка не пропадет из всего, что они с собою принесли в этот почтенный дом, а что до разбой-

ников — уже одолевали деданцы разбойников дерзких и сильных, чьи кости теперь белеют в пустыне. И так говоря, держались за рукоятку кинжала, а в глазах — холодный блеск.

Кто-то им намекнул. И сразу все переменялось в стане. Гости уселись, развязали палатки, полотно которых легко взмыло вверх. Скликали народ, которого все прибывало и прибывало, и вот уже тесным кольцом окружили палатки чужаков — поглядеть, как те сидят и едят трапезу. А деданцы не спешили. Лишь под вечер один из них, наконец, хлопнул в ладоши, мешки раскрылись, и все, что было в их утробе, вывалилось на ковры. Целый день глазели люди на товар и не купили ничего. Только назавтра, стыдясь, подошли одна за другой две женщины и тотчас убежали восвояси, держа горшочек сурьмы для бровей. Кольцо толпы почти не раздалось.

Четыре дня шел ничтожный торг: локоть ткани за испеченные в песке перепелиные яйца да склянка бальзаму в обмен на пальмовый мед — дешевле, чем платили в Египте. Настоящая торговля, ради которой пришли, все не начиналась. А ведь уверены были, что в этих шатрах, хорошо припрятанные, скрываются египетские сокровища. Они отказывались поверить, что никаких сокровищ нет. А ежели не разграбили эти евреи все египетское добро, так зачем сбежали-то оттуда? — все менее витиевато говорили между собой сыны Дедана. — Или это золото тоже засело да и притаилось в пустыне, в мысли свои погрузившись, подобно их маленькому, незаметному божеству, которого и сами-то евреи, как видно, стыдятся, если образа и подобия его не показывают? Ведь только-то и всего, что эта мелкая торговлишка, сокрушались купцы. Эй, где вы там, мужи отважные?! Где они, настоящие сокровища, с которыми эти знаменитые разбойники сбежали из Египта, ускользнув от погони?

А евреи переглядывались в полной растерянности и не знали, что сказать. Только теперь поняли, до чего они вправду нищи. Так нищи, что даже муха, сопутствовавшая им из Египта, неизменно сидевшая на краешке глаза у ребятни да скотины, вдруг пропала, будто сдуло ветром — туда, где не так все иссушенно и пустынно. Даже отбросов не было ни в стане, ни вокруг. Место, откуда перекочевывали, оставалось чистым — как в тот день, когда пришли, поскольку не было ни одной вещи, хотя бы нити или глиняного черепка, которым не умели найти нового применения. Тоши были плотью, и жизнь их была худа. Им даже в голову не пришло отослать деданцев к другим станам. Та же нищета у всех.

Деданцы велели своим рабам разведать. Один из них, безобразный лицом, с заячьей губой и низким лбом, тут же прилепился к евреям. Отталкивающе улыбаясь, поведал им, что он сам — от семени Авраама, Ицхака и Якова, еврей он, только предки его не ушли в Египет. Глядели на него недоверчиво и с отвращением. Противны им были его дружеское и улыбка, при которой обнажались красные десны. Пристал как муха. Брал на руки ревуших детишек, женщинам пособлял нести кладь, доил, помогал связывать на корм для скотины пальмовые жмыхи, а что хуже всего — говорил по-ихнему, по-еврейски. Кой-кому из мужского пола показал, что обрезан, подобно им самим. С гордостью рассказывал, что по ночам, когда остальные невольники валялись наземь молиться всяк своему божеству, лишь он один не преклоняет колен, а стоит прямо и так разговаривает с Господом. Подобно праотцам, там, за рекой. Как Авраам, Ицхак и Яков.

Не знали они, как на это смотреть. Остерегались его.

И вот однажды, когда вышел он за пределы стана

справить нужду, подкрался к нему сзади Яхин, брат Иехошуа, и в то мгновение, когда коленопреклоненный раб обратил к нему свое уродливое лицо с приклеенной виновато-заискивающей улыбкой, хладнокровно всадил ему в шею нож, потом еще раз и — ушел, оставив. Свидетелем этому был Эшхар, спрятавшийся за низким кустом акации. Вздрыгнул, как в ознобе, но себя не обнаружил. В правоте Яхина не усомнился. И даже был слегка разочарован: вот ведь как просто это делается...

Когда нашли деданцы тело своего раба, то подняли крик. За такого прекрасного раба, лучшего из всех, что у них когда-либо бывали, потребовали они трех молодых юношей израилевых. И нечего-де строить из себя вольных, рожденных от вольных людей. Ведь всему свету известно, что не более как взбунтовавшиеся рабы они, сбежавшие от законных своих хозяев египетских, распоследние рабы фараоновы, чернь, у которой даже Бога нету, чтобы поклониться Ему. Трех рабов взамен убиенного этого раба — и ни одним меньше.

Кричать — кричали, да понимали, что даже и одного мальчишки им не заполучить. Люди, что окружали их тесным кольцом, были растеряны и мрачны, и выглядели не особенно храбрыми, но стояли плотно. Вскоре один из купцов, катаясь по песку и держа себя за бороду, уже кричал, что такого славного раба даже за целую меру золота с двумя мерами самой лучшей меди и хотя бы дюжиной кувшинов меда впридачу — и то бы не променял. И тогда, наконец, отлегло у всех.

И тут не торговались. Зашли деданцы смело в несколько шатров да с криками "грабят! грабят!" похватали, что под руку попало. Особенно набросились на музыку Цури, будто великий клад нашли. Ограбили почти всех. Какое-то оцепенение

охватило стан. Смутно чувствовали вину. История с евреем-рабом угнетала всех. Юноши госпожи Ашлил спешно попрятали все ее золото под ковер, на котором она возлежала, но деданцы в ее шатер так и не вошли.

Увязали торопливо то малое, что взяли, и взобрались на верблюдов, которые тотчас вскочили с колен, вздымая седоков. Медленно входили они в стан, да быстро его покидали. Пригрозили, что донесут в первом же попутном египетском укреплении, а до него и дня перехода нет.

В сущности, могли бы не уступать и все вернуть себе без труда. Духу не хватило. Мерзкий привкус вины и поражения стоял у всех во рту. Эхо от криков уже растворилось в воздухе. Вновь были они одни, растерянные, посреди неряшливого жилья, на открытой равнине, поросшей кое-где кустами акации да можжевельником, такими же скудными, как эти евреи.

А все-таки жаль — думалось многим в стане, хотя вслух не говорили, — что нет у нас показать им Бога. Дабы не осрамиться.

* * *

После таких дел поспешно покинули равнину и через несколько дней перехода, под вечер, остановились перед нагромождениями скал. Уже не встречались на пути караваны, и не было беспокойства, что посланная фараоном погоня доберется досюда, но вместе с тем они далеко ушли от источников воды, и к концу пути была сильная жажда. Какую-то ничтожную воду еще находили во впадинах, а то — просто росу на камнях, которая нынче есть, а назавтра — высохла под солнцем. Лизали эти камни, по-собачьи высунув языки. И не поставили

шатров на ночь. Где подкосились ноги, там и уснули.

Утром стояли изумленные. Слыхали что-то о божьих горах, но эти горы сами были богом. Не земного они были виду, эти громады; такого в равнинном Египте и пригрезиться не могло. Не удивило, кабы сам Господь вдруг заговорил из гуши одинокого куста ежевики либо из толщи горы. Задрали головы и, позабыв о жажде, глядели. Временами казалось, будто гора создавалась дважды: сперва — земляным холмом, легкой неровностью, выпустившей из себя пустынную поросль, а потом поверх нее сотворилась крутая, отвесная, могучая стена, красновато-серая, вся в морщинах и складках, как кожа на теле громадного слона, от которого теперь осталась лишь часть. А иногда казалось, что это столбы огромной мастерской, которую каменотес покинул, не прибрав отходов своей работы: рассеченные глыбы громоздились одна на другой в чудовищном беспорядке посреди груд измельченных камней. Несколько кустов акации у подошвы горы выглядели маленькими, словно располагались на человеческой ладони. Вокруг было очень мало неба и очень много гор, но синева неба промеж верхушек столбов была сильнее любой небесной синевы, будто это — небесный настой, сама небесная суть. Свет был резкий — чистый свет скал, а не песков. Верили они, что боги этих гор спят уже сотни лет. Подчас угадывался в каменном теле скалы огромный каменный глаз под наморщенным лбом, и кое-кто клялся шепотом, что глаз иногда открывается и смотрит на идущих. Кабы хватило духу, наверно принесли бы что-нибудь в жертву этим горам-богам, молили бы простить, за то что вторглись в их обиталище. Однако боялись. В последующие дни можно было заметить то мужчину, то женщину, что выйдя из шатра, украдкой бьют быстрый поклон горе. Знали, что нееврейский это бог, а все ж таки кто

его знает... Всякая осыпь камешков по крутому склону пугала.

Но горы ничего им не делали. Мало-помалу свыклись пришельцы с огромностью и безмолвием гор. Они уже не казались им спящими, но, может быть, великими мертвыми богами. Небось, Бог праотцев наших — думали — убил их. Легконогие черные козы без страха карабкались на скалы, а за ними — ребята, и вскоре меж камнями уже летало эхо от их криков.

Однако голоса и сама жизнь журчали не выше подножья. То были такие горы, что до их вершин невозможно было добраться, и даже большие хищные птицы, вспорхнув оттуда, слетали вниз, а не воспаряли вверх. Люди веровали, что там, в самой далекой выси, есть еще живые боги, но их не достичь. Там, очень высоко, ни зелени, ни даже мхов было не видать, стояла полная тишина и ни одна птица не подавала голоса. Иногда вершину горы окутывало облако, долину у подножья накрывала тень, и люди внизу безмолвно цепенели на месте. Весь срок, который прожили среди этих высоких гор, казались они себе пришельцами, ставшими на ночлег, а по сути-то чужое это место. И не принадлежит оно никому. Владение чужих богов. Облик Египта, навзничь распростершегося среди песков, стал уже очень далек.

Горы задерживали немного дождя, и в расщелинах, очень редких, попадались следы потоков. Людей мучила жажда. Свет властвовал над всем: проемы меж скал были дверями и окнами света, все очертания тонули в нем. Все казалось покинувшим время и пребывавшим только в свету.

Эшхар поставил шатер подле расщелины, где можно было еще найти немного воды, хотя бы цвело

и затхлой, под ядовитой радужной пленкой гниения на поверхности. Жажда мучила всех, и каждый держался по мере своих сил. Уже не варили, не жарили, и лишь кое-где изредка был замечен костер из хвороста или корней раkitника, скудный и тусклый, пропадающий и не ободряющий, просто так огонь. Бескровные младенцы неподвижно льнули губами к материнской груди. Овцы стояли, уткнувшись друг дружке головою в брюхо. По ночам, стоя на четвереньках вперемишку со скотом, люди слизывали росу с камней, днем жевали нежные ветки кустарника, и рты наполнялись непривычным, острым привкусом. В душе роптали, дескать, места эти — для богов они, не для людей. Взгляд тяжелел, пересыхал рот. Помрем, говорили, и останемся кучей костей в этом диком и равнодушном месте. Одни только птицы здесь и будут — да они уже поджидают. Однажды в полдень возник над станом огромный желтый орел. Он медленно парил и вдруг с резким криком пал вниз, оторвал и унес руку мертвой женщины. Все замерли от ужаса.

Две женщины приближались к шатру Эшхара, стоящему в отдалении от стана. Шли застенчиво, понурившись, а подойдя, раболепно спросили, не знает ли, может, где-нибудь в ямах еще сохранилась капля воды. Они понимают, что их семейство — семейство Цури — не из самых великих среди колен израилевых, только вот малютки у них больны — пускай сам глянет тут они, за пазухой, — груди иссохли, а воды нет. Эшхар пристально взгляделся. Только сейчас увидел, какие беды принесла пустыня этим Цури, что совсем угасли с тех пор, как деданцы забрали их музыку. Вот и женщины эти казались полуживыми. Почему пожаловали к нему, а не к Моше, спросил. Пускай Моше сотворит какое-нибудь чудо. Тому посильно вновь наполнить молоком их груди. А он, Эшхар, чудес творить не умеет. Сказали женщины, что многие, поважнее их, приступают к Моше,

что ни день — толпой осаждают вход в его шатер, требуют воды. Так говоря, женщины приниженно искали его взгляда своими большими, удлинёнными, как у всех в семействе Цури, глазами. Свободной рукою придерживали край одежды, что-то под ней растирая. Понимали, что всяк способен дать лишь то, что у него есть, не сверх того.

Сказал, что попытается. Поищет. Но, право, не знает. Долго рыскал — от скалы к скале что повыше, с трудом карабкаясь туда, где голоса птиц. То тут, то там обманчиво привлекала зелень. Наконец, после долгого поиска нашел яму, на дне которой — немного воды. Снял с головы тканную повязку, окунул, покамест целиком не пропиталась водой, а затем быстро спустился к женщинам. Те покорно ждали. Казалось, даже не пошевелились и не обменялись между собою ни словом с тех пор, как он их оставил. Руки у малышей были бесчувственные и горячие. Он подал женщинам влажную ткань. Те с превеликим унижением благодарили, осторожно разорвали ткань надвое, сунули младенцам в рот и пошли к стану.

Назавтра им было сказано, что Моше принесет народу воду.

Стояли на дне очень глубокой беловатой расщелины, как между стенами узкой улочки. По птицам было видать, что когда-то здесь была вода. Они проносились вдоль крутых откосов русла, разноголосно крича. Да и зелень говорила о какой ни на есть влаге. Но теперь тут не было ничего, разве что редкая капля из какой-то трещины. Каждая капля подолгу собиралась, росла, набухала, отрывалась от беловатого камня и тяжело падала. Затем, спустя продолжительное время, еще капля. Стены расщелины были сплошь выложены этим беловатым слоистым камнем, как множеством затвердевших перин. Пахло сухой

плесенью. Стояли толпой внизу, посреди эха, огромная скала над головой.

Эшхар, привычно держась поодаль, стоял над расщелиной, наблюдал и не выказывал присутствия. Народу было очень много. На дне, между плоских стен, была небольшая лужа затхлой, зеленой воды, и люди, толпясь, месили ногами остатки этой лужи. У некоторых были в руках пустые горшки да кувшины. Еще немного — и будет вода. Так сказал Моше.

Две женщины, у которых младенцы умирали от жажды, также стояли чуть в стороне. Во рту у младенцев были по-прежнему обрывки ткани, которую давеча дал Эшхар, но у тех уже не было сил сосать. Да и ткань, наверное, давно высохла. Лежали на руках у матерей бесчувственные, с красными лицами. В узких щелках между тяжелыми веками, как черная пузырящаяся грязь, мутно мерцали глаза. Ручонки безвольно свисали. Ладони казались уже неживыми.

И вот, все вместе, показались Моше и его дружина. Шли они торопливо. Толпа расступилась, освобождая дорогу, и они были теперь очень плотной кучкой, выделяясь среди других белой одеждой, почти прильнув друг к другу плечом, Моше — посередине. Его длинный посох то и дело мелькал среди этой кучки, словно он был мачтой на белом судне, рассекающем людское море.

Так они дошли до ближайшей скалы, там — раздались немного, позволяя Моше выйти и встать впереди. И в этот миг — единственный раз в жизни да и то мельком — Эшхар увидел Моше: вздернутый подбородок — будто человек бросил вызов, — глаза, что хорошо умеют оценить. Неприветливым было его лицо. Казался нетерпеливым — будто спешил приступить к работе, а ему мешают. Как только Моше

выступил вперед, свита сомкнулась и заслонила его сзади, словно он был их пленником.

Мгновение Моше как будто прикидывал высоту да толщину скалы — подобно ремесленнику, который выверяет предстоящую работу, — затем внезапно отвесно, как лом каменотеса — поднял перед собой посох и — промеж своих ступней — ударил по низу белой скалы. Вся свита, не дожидаясь, что будет дальше, тут же отступила на шаг, а затем снова придвинулась. Но народ уже не глядел на этих, в белом, прикрывающих Моше, — все взгляды были прикованы к меловой стене. Сомнения не было: капель, до этого редкая, с каждым мигом усиливалась. Вначале то были крупные, частые капли, которые скоро обратились в непрерывную нить — а это уже была струя, — и вдруг вода полилась вовсю.

Вопя, ликуя, вскидывали над головой горшки и кувшины. Страшная суматоха творилась возле скалы. Расщелина была очень узкой, и людей придавливали, не обращая на это внимания, к стенам. Сбивали друг друга с ног, проклинали, наносили побои, топтали. Двое были затоптаны насмерть у самого источника, но никто этого не заметил. А вода текла и текла, будто так оно было всегда.

При таком диком столпотворении непосильно было двум женщинам подойти к воде. Сстрадание согнуло их плечи, и не было сил бороться. Да и дети были уже все равно мертвы. Моше со свитой прошли мимо них, не взглянув. А те стояли, жалкие, не отрывая глаз от льющейся воды, шум которой не был слышен из-за страшного рева толпы.

В ту же ночь собрались тяжелые тучи, исчезли звезды, налетел бурный, холодный ветер. Под утро пошел проливной дождь, наполнил все ямы и впадины, а в расщелине был потоп. Утром вернулись птицы, летая

низко и громко крича. Густая трава и папоротники сверкали, насыщенные водой.

Похоронили мертвых. Вместе со всеми обе матери тоже закопали своих младенцев и молча вернулись к повседневным трудам. Им нечего было больше сказать — ни Моше, ни Эшхару. Прошли, не взглянув, мимо, худые, понурые, как всегда.

* * *

Год или два спустя пошла Байта искать Эшхара. Двое ее малышей мучились животами, и она сказала, что пойдет собрать кожуры содомской яблони и приготовит для них отвар. А сама направилась к отдаленным пастушским кочевьям.

Эшхар узнал ее чуть ли не сразу. Как всегда, он пас своих овец очень далеко от стана, и когда в его почти необъятном поле зрения — да еще на соседней горе — возникла женщина, был потрясен до глубины души. Байта тоже заметила его, но не подала виду. Постояла против него немного да пошла дальше — искать снадобье. А Эшхар все смотрел и смотрел, не шевелясь. Дикая страсть волнами набегала на него.

Только когда ушла Байта с горы, сердце его перестало неистово стучать.

Назавтра она опять появилась, и на следующий день. Каждый раз, стоя на горе, она была огромная, единственная во всем мире. Какое-то время снимала кожуру с плодов да поглядывала на Эшхара, затем — исчезала. А он не спал по ночам. Укутанный блеющими, обдающими горячим дыханием овцами, их теплой шерстью, лежал, уставившись в небо, усыпанное крупными звездами, и не мог уснуть. Потом она перестала приходить.

И вот однажды, зажмурившись, стремительно — подобно ныряльщику, что разбегается прыгнуть в глубину, — он побежал к стану. Влетел, расталкивая толпу, и — промеж шатров, через становища Леви, Реувена — мчался, не разбирая пути. Ему нужно было к шатрам Эфраима, и сердце готово было лопнуть. Он безошибочно знал, где она. Ноги сами его несли.

Байта сидела в шатре. Кормила младшего. Когда ворвался Эшхар, она отложила младенца, невзирая на его обиженный плач. Эшхар стоял над нею, тяжело дыша. Потянулась к кувшину с водой, на горловине которого висел ковш, налила и подала ему. Он выпил не отрываясь, не переводя дыхания, и вернулся — получить еще. Вновь наполнила. Теперь он пил медленнее и поверх ковши глядел ей прямо в глаза черным, строгим, проникающим до самого нутра взглядом, притягивающим ее, словно прочным жгутом, как будто целиком обратившись в одно лишь зрение. Ей хотелось крепко зажмуриться — веки дрожали, — и не могла.

Сама забросала вход в шатер связками хвороста. Ибо чья же она, если не его, Эшхара.

Потом плакала от избытка чувств и немного от страха, а лицо Эшхара было бело, как мел. Обнял, стер с ее щек слезы и сказал, что заберет ее отсюда далеко-далеко. Кивнула — дескать, да. Не знала: то ли счастье, то ли беда на нее свалилась. Все это как-то не помещалось в голове. Но и Эшхару было понятно — даже когда произносил это, — что ему некуда ее увести. Там, откуда не виден днем облачный столб, а ночью — огненный, нет ничего.

Байта боялась. Неистовый, почти до потери рассудка страх охватывал ее. При их нечастых свиданиях она уже, случалось, отталкивала Эшхара, руки

дрожали, глаза становились маленькими и колючими. Отец с матерью, мол, прикончат ее. Камнями побьют. Завди убьет детей. Он ее обнимал, а она рыдала, замирая от страха. Однажды он даже ударил ее. Наконец призналась, что боится Моше, только лишь одного Моше, который умеет как-то узнать, что творится повсюду на свете, будь то на небе, на земле или внутри камней, и оттого вся она коченеет в страхе. То ли уже тогда была нездоровая, то ли страх доконал ее совсем. Была она женщина крепкая и долго сопротивлялась болезни. Но под конец слегла, пот тек с нее ручьями, мяла руками подстилку, непрестанно перебирала ногами — покамест в какой-то миг не пробежала по телу резкая судорога. Окаменела Байта, и снизошел к ней вечный покой. Завди, безутешно рыдая, понес ее хоронить.

Эшхар ушел обратно в горы.

Вернулся он туда, потому как рядиться не желал с Богом. Другим была защита, у него — не было. Все время, пока пребывал в стане, рассеян был да чувствовал себя разбитым. Знобило его, когда замечал вокруг любое страдание, болезнь или боль. Собственной плотью все ощущал. Болью ребенка, которого били, болела его душа; плакала — как тот человек, чей плач слышал ночью. Эхом страданий бродил по стану, покуда не подгибались ноги. Страдания Байты обратились в его душе неутолимой вселенской болью, а он был против нее бессилен. Чувствовал себя растерзанным; казалось ему, повредился рассудком, пока находился здесь. Издалека их всех можно было не видеть, не замечать всякого болящего, да слепнущего, да помирающего, да ущемленного. В душе его смешались — и невозможно было их различить — судьба Байты и матери его, Милхи. Жизнь его сделалась страшной, а он неприкрыт, незащищен; забыться не мог, и сил исцелиться от этого не было у него.

В душе сознавал, что не отдалиться ему от облачного, от огненного столба. Однако пытался. Стал совершать походы в пустыню, поначалу на день, на два, — посмотреть, что встретится по пути. Нашел долины, выложенные исполинскими каменными плитами — будто дороги для каких-то великих властителей, — русла, и в них — мушмулу да айву; встречал могилы и святилища, и очень странные дома, а еще — кости. Во время одного из этих блужданий споткнулся и сломал щиколотку. Кое-как прискакал обратно к своему шатру, но кость не срослась как надо, и он стал хромать. Приноровился стягивать ногу толстой веревкой и продолжал ходить.

Друзей у него не было, а потому жил по заведенным привычкам. Дни не отличались один от другого. Ему уже не хотелось, чтобы кто-то пришел и надоел. Желал — оставался, желал — отправлялся на новые поиски. Других богов не нашел в пустыне. Жизнь другую нашел.

Как-то взобрался на вершину горы, и когда огляделся — перехватило дыхание: по ту сторону, у подножья, стоял дом. К дому тесно подступала стайка плодоносящих деревьев, и он несомненно кому-то принадлежал. Эшхар дождался темноты и тогда бесшумно спустился с горы и прильнул к оконной щели. В просторном помещении сидели двое, мужчина и женщина, подобрав под себя до странности короткие ноги. Оба неподвижно глядели в стену напротив. Сиденья под ними были из темного, богатого дерева с незнакомыми рисунками и резьбой. На коленях у женщины, зажмурившись, лежала кошка.

Эшхар был ужасно напуган. Коли так, — смутно подумал он, — то зачем и куда мы идем по пустыне, бедствуя так, погибая от жажды и болезней? И он помчался прочь, припадая на сломанную ногу, бежал

всю ночь и весь следующий день, пока не достиг своего стада; в ушах звенело от бега и загадки, на которую не было у него ответа, которая оглушила и целиком овладела его мыслями. Со временем понял, что ему не разгадать ее. А потом уже не был уверен, на самом ли деле что-то видел, и если пойдет еще раз, то найдет ли то же самое. Дикая мысль, что все можно было иначе, тлея, пока не угасла совсем. Вновь сомкнулась вокруг него пустыня, и он жил, погрузившись в себя.

Байта ни разу ему не приснилась. Словно ушла далеко-далеко, неведомо куда.

По всему этому поразило его, когда, возвращаясь однажды от оягнившейся овцы и держа на руках двух новорожденных ягнят, вдруг заметил у своего шатра лохматые головы Авиэля, Яхина и Зэмера, неуклюже рассевшихся в ожидании. Обнялись, потолкались, раззадоривая себя, как часто в бытность мальчишками, а потом и вовсе, на одной ноге, стали наскакивать друг на друга по-петушиному да смеясь во весь рот. Первым повалился Авиэль, за ним — Зэмер, и под конец все четверо кучей лежали на земле, утирая глаза. Потом повставали и вошли в его маленький шатер. Эшхар засмутился: нечем-де ему угостить. Попросил подождать — он мигом, ягненка для них заколет, молока надоит. Но те не для того пришли — а только поговорить с ним. И сидя под этим рваным шатром, вдыхая застарелую вонь жженого кизяка, вонь человеческую да от козьих шкур, душу излили они ему: дескать, умница он, не в пример остальным, — сукин сын да в грехе зачатый, — что бросил стан — знал, когда убраться. Моше ушел. Неведомо когда вернется. Иехошуа все так же сидит у входа, чванится. И давно поговаривают в народе, мол, хватит с нас ходить по пустыне, как Моше захочет и повелит, — то на равнину, то в горы, то от жажды мрем, то болезнь

косит, и никому неведомо — куда идем да зачем; а люди всю совесть уже растеряли — как те изгои, что ушли раньше всех, — ни суд, ни закон им нипочем. Теперь уже все пропащие.

Уйти из Египта мы ушли, рабство покинули, — мягко, как всегда, говорил Авиэль, — а теперь в пустыне этой перемрем, да мучаясь, только того с нетерпением и ждем. А ежели хочет Моше уморить в пустыне все поколение, что ушло из Египта, так ведь дети малые — вот кто умирает у нас на руках, а не старики. Сколько могил уже выкопали — и нет конца. А Зэмер вставил: во имя детишек наших — да продлятся их дни на этой земле... Люди друг у друга из шатра крадут, Эшхар, будто саранча в стане, и уже убийство приключилось из-за этих краж. А мы ни красть, ни убивать не пойдем, и владыкой ближнему своему никто не станет, а сказано будет ему: сей день трудись, а тот — шабашь, ведь затем и бежали из рабства, и рабами снова не станем, и не будет между нами лжи, коли возлюбим друг друга, и — грядет мир во всем нашем народе.

Спросил Эшхар: а что, если не захочет народ, да если из стана уйти не удастся? — Видно будет, что делать, если не захочет народ, — неуверенно произнес Авиэль. — Яхин, вот, говорит: тогда побьем народ.

Эшхар взглянул на Яхина. Тот сидел, мускулистый, молчал, поигрывал своим коротким ножом и спокойно взирал Эшхару в глаза, словно напоминая: видел ты, что сделал я с тем рабом, у которого заячья губа. Коли не захочет народ, значит, рабский он весь, и побьем мы его. Видел же ты: это нетрудно — убить.

Авиэль попытался замять, не говорить покамест ничего откровенного, бесповоротного: мало нас, Эшхар, а народ-то — он, как жмых, как солома. Мо-

ше прикажет лечь — ложатся, скажет встать — встают. Гоняет он их в горы, как скотину, и нет этому конца. Потому и пришли они к нему, Эшхару, и просят: спустись сейчас же к стану, дабы не упустить время, пока не вернулся Моше, а то появится — и все опять пойдут за ним, как теленок за матерью, до самой могилы будут ходить. Нынче — самое время. Сказали это и ушли.

Шаг за шагом, недоверчиво подходил он с каждым днем все ближе к стану. Уже слышны и видны ему были шум и суета жизни, текущей у подножья высокой горы. Зима миновала. Все русла были теперь заполнены водой, а долина покрыта множеством зеленых пятен. Бесчисленные цветы пестрели на склонах — зуган и каперсы, желтые примулы и темно-фиолетовый вьюнок. Люди словно отряхнулись от прежней убогости, будто сбросили с плеч бремя печали, что несли из Египта. Долина взбудоражилась; казалось, мысли витают над нею великим роем, руки сами ищут работы, и не смолкали песни и голоса влюбленных. В эту зиму люди впервые в жизни увидели на высокой горе снег — и страшно перепугались. Большинство могил на склоне было тех, что умерли от стужи, чаще всего — детей, младенцев. В этих ночной холод вгрызался особенно жестоко. А ныне солнце прогревало до костей, распрямляло тело, вливало силы.

Эшхар тоже будто воспрянул, и когда спустился к стану, ему обрадовались, и он был рад встрече. Ел хорошо пропеченные лепешки из тщательно перемолотой муки. Сидел в кругу друзей, взъерошенный, растерянный, и думал о себе: ну и дурак же ты, в самом деле, — ведь одной вы крови — ты да они.

Не только здесь. В других становищах, в других шатрах сходились люди и рекли: лучше голову сло-

жить — да вернуться в Египет. Пасть ниц перед фараоном, прощения просить. Довольно с нас этих бессмысленных блужданий. Много горечи было в стане. Одни лишь изгой смеялись и не верили, как всегда. Не выйдет вам никакого проку, говорили. Лучше привыкайте к этому уже сейчас. Вот вернется Моше — изжарит вас всех себе на завтрак, сжует да утрется. Спросили у них, с кем пойдут, буде отколетя какое племя от других и пойдет своей дорогой, а те отвечали: ясное же дело — с Моше да с коленом Леви, у тех ведь кинжалы острее всех. И, так говоря, посмеивались и посмеивались. Невыносим был этот их смех.

Ионат, сестра Авиэля, при их беседах всегда сидела скрестив ноги у входа в шатер. Лицо перекошено, лоб нахмурен, рот разинут и как будто непрерывно жует, голова покачивается да то и дело клонится к плечу, а в глазах, больших ее глазах, в тот час, когда Ионат прислушивалась к разговору, рождались и отходили миры. Никогда не слышали, чтобы заговорила, потому как немая была, однако всегда знали, что у нее на душе, как будто чувства, скрытые в груди, под черным платьем, источала подобно крепкому, властному своему запаху. Сила запертой твари была в ней. Не устаивая взглядом, все же хорошо ощущали присутствие этой Ионат. А она неизменно сидела на земле, у входа, безмолвная и — вся внимание.

И вдруг встала Ионат со своей подстилки, обеими руками рванула из ушей серьги. Вмиг сделалась проворной, легкими, частыми шагами подбегала к каждому и каждой, никого не минуя — а с мочек ушей у нее капала и капала кровь, — протягивала ладонь с окровавленными серьгами, безмолвно требуя, насильно собирая все их золото, где бы ни встретила — на тропинках, в шатрах, — перескакивая через веревки и колья, нетерпеливо ожидая, пока отстегнут

браслеты, пряжки, — на тропинках, в шатрах, быстро семена, протягивая ладонь, издавая что-то невразумительное, гортанное. Как с факелом, высвечивая все вокруг, бегала Ионат, криволицая сестра Авизля, по всему стану, зажигая смутный, неверный огонь. И ни один не дерзнул отказать. Сила, перед которой никто не мог устоять, была в ней. Будто божественный дух этих гор вселился в нее. Несколько женщин убежали было и спрятались, но за Ионат уже мчались, забегаая вперед, кое-кто из мужчин, что у своих жен, кричащих "грабят!", сами повыдергивали из ноздней кольца. Разложили посреди становища плащ; на него высыпали все золото, что собралось, и оно лежало угловатой, колючей грудой — бесценный хлам, — нагло сверкая, обротившись в единое целое, ссыпанное все вместе на один плащ.

Подавлено стояли, окружив этот плащ. Кучка была уж очень мала, от силы в несколько пригоршней. Смотрели на нее, как если бы только теперь начиная понимать, насколько ничтожно их состояние, как немощны они. Как вдруг появилась госпожа Ашлил — в руке большая корзина, лицо голое без украшений и старое, — и все, что было в корзине, высыпала на эту кучу. И золото Ашлил покрыло все их золото. И возликовали.

А Ионат — с мочек ушей красные капли, и четко выделяясь в черном платье перед плоской скалой, — быстро бежала по долине к стоянкам соседних племен. Там тоже взлетели над шатрами крики, и было смятение. Еще не разгорелся день, солнце — посередине неба, а уже пришло несколько раскрасневшихся, возбужденных мужчин взять все, что собралось, в общую кучу, поодаль от стана — в костер, над которым столбом поднимался дым.

То было уже не в их руках. Стояли, выйдя из ша-

тров, позабыв денные труды и заботы, прислушиваясь к большому приготовлению, доносившемуся оттуда. Кое-кто, поразмыслив да пожав, вдруг застыдившись, плечом, двинулся поглядеть воочию на большой костер, в котором плавил целиком все золото, и был запах, и очень много дыму, и великое беспокойство было повсюду в стане, как если бы шло приготовление к какому-то несуразному празднику. Женщины невзначай потирали запястья и щиколотки, с которых исчезли браслеты и кольца, и теперь стали как нагие. И ощущали этакую непривычную легкость — как по весне, когда вдруг неспокойно, — вдыхали дым, оставшиеся без вожака и без Бога. Ждали.

Эшхар слышал шум сборов издалека и, хромая, поспешил вниз, в нетерпении узнать. В начале русла повстречал раскрасневшегося Авиэля. Полон чувств, тот дружески обнял Эшхара за плечи, как бы заранее увещевая не сердиться: мол, ничего плохого, Эшхар, все хорошо, нынче будет народу праздник, а завтра — наука.

Кровь бросилась Эшхару в лицо. Исполнившись гневом, попытался стряхнуть с себя Авиэлеву руку, но тот обнял еще крепче. Ничего худого, Эшхар, все хорошо. Дух вселился в Ионат, никто против нее не устоял, всех растормошила. А там, у облачного столба, чудо случилось, истинное чудо — поди, погляди: сплавил все золото вместе, и получился вроде как бык, а может, это Кемош моавитянский. Никто к золоту и не прикоснулся, а вышел бык. Ну, разве это не чудо? Ведь нет мудрее, чем чудо — а, Эшхар?

Какое-то время, равны по силе, они стояли неподвижно, напрягши мышцы, пыхтя, с налитыми кровью шеями, со вспухшими на висках жилами, — покуда не удалось Эшхару разжать стиснувшее его кольцо. И тогда он с силою бросил Авиэля наземь

и побежал обратно, стараясь не выказывать хромоты, пока не исчез за седловиной горы. Авизль встал на ноги, поспешил к большому костру и — пропал в толпе.

Густой дым и громкие крики вместе с духом великого беспокойства разлетались по всей пустыне. Эшхар добежал до своего шатра, забрался внутрь и лег, уткнувшись потным лицом в шкуры. Уже ясно было ему: отныне, что бы ни делал в жизни — без них, а они — без него. Изменил однажды своему одиночеству, а больше — нет, никогда. Свежей лепешкой да взыскующей дружбой подкупили, и ведь чуть было не поддался соблазну...

Стонал и скрежетал зубами, извиваясь на своем ложе. А там, вдали, уже плясали и пели. Голоса поющих мужчин и женщин принадлежали тем, кто еще уцелел из колена Цури; весь вечер резали баранов; всю ночь размеренно и гулко бил барабан, клубился дым, и во всей пустыне от этого негде было укрыться. Кучка мальчишек, радостно вопя, промчалась наперегонки. Затем приблизились двое, что отойдя от стана, приискивали себе укромное местечко для любовных утех, каковое и выбрали неподалеку от Эшхара. Их стоны да шепотки издевательски достигали его слуха. А он все корчился, валяясь в своем шатре, и глухо, как щенок, скулил, теперь уже полный сирота.

Но и там, внизу, обернулось веселье воплями. Еще не побледнело небо — а уже разгорелись жестокие драки, и сыны Левиевы со своими ножами — в самой гуще. Еще солнце не появилось — безоружные толпы людей с криками ужаса разбежались по шатрам, а вокруг изваяния остались лежать сотни посеченных ножами. Сказывали потом, Иехошуде собственноручно пронзил кинжалом брата Яхина. Бледное солнце взошло и осветило множество

мертвых, обглоданные бараньи кости у костра, опрокинутые горшки, увядшие цветы, свисающие с идола, который теперь не походил ни на быка, ни на тельца, а был просто куском, и непонятно было, что нашли в нем похожего на тельца. Стояла надтреснутая тишина. Волоча ноги, в разодранном платье, не прикрывающем тела, с перекошенным ртом, последней дотащилась до крайних шатров Ионат.

Моше, вернувшись, застал серый, безжизненный стан. Люди попрятались по шатрам и гнали прочь мысли о происшедшем.

Похоронили убитых и взяли на себя Закон.

* * *

Моше с того дня тоже вроде надломился. Теперь уже им сказал, что идут на родину праотцев. С печалью говорил о благословении и о проклятии, доля за долей отламывал и подавал им Закон, а они покорно, склонив, как поденщики, голову, принимали все-все, как если б и раньше то было повседневное дело. Говорил он про оливу и виноград, про смокву да гранат. А они устало вторили всему, что говорил Моше. Только бы де не передохли мы до последнего в этой пустыне, аминь. Нет, не сотворят они больше ни изваяния, ни рисунка. Ни убивать, ни лжесвидетельствовать не станут. Что ни скажет он им — все истина.

Но Эшхар не знал обо всем этом. Он ушел на сей раз очень далеко, откуда уже не видны были ни облачный столб, ни огненный. Да и не желал он их видеть. Пускай, мол, идут, а он — сам себе владыка. Даже не ведал, куда идут, да и есть ли — куда.

Долгие годы — может, десять, а может, боле —

в одиночестве бродил по пустыне, лишь стадо с ним. И если те перешли пустыню однажды, то он — десятки раз. Узнал, чего они не знали: что пустыня населена, что не бескрайна, и можно пересечь ее из конца в конец за несколько недель. Ложь она, которая держит их, не ведающих пути, ослепленных, — обманчивое чудо.

Все чаще пас на севере, вдоль караванных дорог. Увидел как-то караван деданцев, и даже показалось ему, будто это те самые, что ограбили их когда-то вначале, но не был уверен. Вдруг вспомнил того раба, с заячьей губой, — и сразу навалилась какая-то тяжесть, неясное сожаление. Много бы отдал, чтобы оживить беднягу, увидеть красную, уродливую его губу, угодливую улыбку, расторопные руки. В своем грехе умирать человеку, — сказал себе, а знал, что никогда не дожить до такого. Даже Богу. Слишком легко убивать: вонзить нож, насладиться мор.

Несколько раз видел фараоново воинство, топачущее по направлению к крепостям, которые на дороге. Не прятался, да им тоже не было до него дела. А как-то увидел в караване надсмотрщика-ханаанца, что убил его мать. Тот возвысился, сильно разбогател и ныне возвращался в Ханаан. Но не ведал обо всем этом Эшхар. Подумал только: богатый человек, видать — вельможа, коли укрывает от палящего солнца лицо, да много у него рабов. Быстро прошел караван, оставив клубы пыли. Кабы остановились спросить воды, поди зачерпнул бы им.

Бога не нашел свести с ним счеты — ни днем, ни по ночам, когда огромные звезды на своих путях повисали над головой. Подчас ему казалось, что он сам — Бог. Однажды зашел далеко на восток и понял — хотя никого не расспрашивал, — что он уже на родине праотцев. Спросил про название оазиса окрест

ближайшего колодца, и ему ответили: Беер-Шева*. А когда повернул к югу и — спускался, спускался, покуда не показалось ему, что достиг мирового дна, увидел море тусклого цвета и серного запаха, и вода в нем была необычная. Ушел оттуда весьма озадаченный. Но это тоже не было концом света.

А в стане ничего такого не знали. Продолжали идти. Никто не спрашивал, зачем они все еще медлят в пустыне. И никому неведомо было, для чего остановки, тут — на неделю или на две, там — на год, а то — на пять лет. Дождей не было, но сеяли, всегда уповая на дождь. Из немногих семян, что собирали, мололи грубую муку. Затруднялись представить, есть ли на свете что-то иное, кроме этой пустыни — их наследия, места рождения, любви и смерти. Те, что ушли из Египта, в большинстве уже умерли, а те, что остались — подобно домам без дверей и без окон, помнили только пустыню, и пережитое в пустыне поглощало их целиком, без остатка. Неужто на свете что-то есть, кроме этой пустыни? Пойдет какой-нибудь черный от солнца парень, изловит овцу, ухватит крепко за тонкие ноги, ляжет навзничь — овца у него на груди — да сосет прямо из вымени. На что посуда? Женщины в брань, а парни лишь смеются да продолжают свое. Скверное то было поколение. Новый Закон хранили в памяти. В голову не приходило пренебречь им. Спросил бы кто — ответили б все как один: хорош он нам, наш Закон.

Однажды был берег и море — плоское-плоское, все соль да пустота, — безмятежные пальмы да перья тростника на берегу, а остальное — исцеляющий душу и плоть плеск и плеск с горячим шепотом набегающего на берег моря. На мелководе — зеленая гуща водорослей с обнаженными корнями, толсты-

* Беер-Шева (ивр.) — название, толкуемое как "колодец клятвы" или "колодец семи" (см. Бытие 21:28–31).

ми, как веревки рыбацкой сети. Пеликан замер, голова под водой и — не видать ее. Вольготно было им, вышедшим из каменных теснин, растянуться в безмолвии и не слышать ничего, кроме этого бесконечного плеска да изредка — шума взметнувшейся над водой и вновь погружившейся рыбы и легкого шороха мелких, прозрачных рачков, пускающих дугами рябь. Весь стан залег в небывалой тишине, полной грудью втягивая дыхание моря, и при каждом молчке, что от волны до волны, по телу медленно растекалась благодать.

Недели две или три нежились они душой, внимая беседе моря и пальм да множества рыб, а после — свернули пожитки и вернулись в чрево пустыни. Лишь несколько семей, которые еще сохранились от первых изгоев, сказали Моше, что остаются здесь, на этом берегу. Не подвластны они, и нету над ними закона, — сказали, артачась. Не по силам-де им это его не у к р а д и — так лучше здесь им осесть, дабы не портить ему дела.

Остальные ушли. Еще долго с тоской вспоминали берег, пока и тот не перестал быть в их памяти странственным образом, сменившись образом времени, но им еще целый год хотелось вернуться туда — да разве дорогу найдешь? А потом уже и об этом не говорили.

Однажды, неспешно поднявшись на вершину холма, Эшхар увидел прямо перед собой облачный столб.

Неторопливо приблизился. Опасливо, поодаль, поставил шатер. Долгие годы не видел, но и теперь не влекло его броситься к ним. Подумал, что задержится чуть, посмотрит на них — сколько-то дней, неделю — и уйдет, незамеченный. Но миновали дни, а он не уходил. Днем задумчиво глядел на облачный

столб, ночью — на столб огня, заверяя себя, что завтра уйдет. И не уходил.

Как-то вернулся в шатер и почуял в нем незнакомый запах. Огляделся и с изумлением обнаружил, что кто-то прибрал его подстилки и горшки да немного подмел песок. Лишил его покоя этот чужой запах.

Так повторилось на завтра и на следующий день... День за днем боролся этот душистый запах с привычной Эшхару вонью жженого кизяка да его собственного тела, покамест не пересилило благовоние вонь. На четвертый день заметил Эшхар убегающую прочь женщину. Легко догнал и приволок обратно в шатер. Она глядела без страху. Склоняя к земле, заметил, что по шесть пальцев у нее на каждой руке. Недевственна была.

Сказала, что звать ее Дина, а живет, подобно ему, не в стане и не у отца, да и не знает, кто ей отец. Медленно, осторожно распутала узел грубой веревки, которой уже многие годы стягивал лодыжку, и растерла поврежденное место, потом принесла влажных листьев и приложила их вместо веревки. Он и сам делал такие повязки своим овцам — и, слегка ворча, покорился ее пальцам. Однако не позволил ей остаться в шатре на ночь. В сумерки она тихо встала и ушла к себе.

В ту ночь — в первый и последний раз в жизни — ему приснилась Байта. Стояла над ним, снисходительно улыбаясь, словно говоря, что отпускает ему и позволяет. Нагнулась, поцеловала в окончательном примирении и — пропала. И тогда он очнулся и горько заплакал.

А Дина опять пришла. Спустя несколько дней глухим своим голосом рассказала, почему не в ста-

не она живет. Сказала, что понесла в прелюбодеянии, и страшно ей вернуться. Показал бы, что муж он ей — жить ей, а нет — смерть ее ждет. Очень спокойно говорила и так же спокойно складывала и разнимала странные, шестипалые свои кисти. Сказал он, пускай, мол, говорит там все, что ей хочется, и она целовала ему руки, счастливая. А еще, бывало, всем телом прижималась сверху и, как шатром, целиком укрывала его своими длинными волосами.

Спросил он как-то: шестипалая-то почему? Ответила: такой, мол, родилась, а отца своего не знает, и по всему этому — нечистая она, смилоствовались над нею, что не убили, когда родилась, да только не знает, милость ли это, хотя все так говорят; потому и замуж не выдали, как должно, и лишь один из племени — родственник, а может, просто так говорит — ложился с ней да изливал семя, пока не понесла. Вгляделся Эшхар — и впервые заметил, сколько глубины и страдания в ее глазах — как у всех в семействе Цури во время странствий в пустыне. Уж не последняя ли из них? Игре никто ее не учил. Да и не на чем было.

В другой раз спросил про своих друзей — Авиэля, Яхина, Зэмера. Рассказала, что знала: жив, мол, Зэмер и сыновей народил многих, а Авиэль пал в бою. Он вовсе и не ведал, что была война, и замолчал надолго.

Как стал расти у нее живот, исчезла. Звать не пошел.

Снова двинулись в путь. Одна из разведок, вернувшись, принесла с собой виноградные листья и изюм. Рассказывали про изумительный виноград, чей урожай особенно обилен, и про другой, что, петляя, взбирается на ограду. Потихоньку начали верить, что будет конец пути. Есть родина предков. А на другой

раз притащили парни несколько оливковых ветвей, и госпожа Ашлил растрогалась до слез. Схватила эти ветки, прижала к груди. Ну, говорила, довелось, довелось-таки при жизни увидеть оливу. Уж не надеялась на такую милость. Всю жизнь, каждый день молила: только бы увидеть оливу, хотя бы раз; ма-сло-то оливковое в кувшинах видала, ветку оливы — никогда. Теперь и умереть готова, счастливая.

С ребенком на руках вернулась Дина. Эшхар глядел, как она молча сидит и кормит грудью, и на душе у него был покой. Он знал, что с этим покоем вернется жалость, но уже не было сил сопротивляться. Однажды Дина взяла веревку, которой он продолжал стягивать себе лодыжку, и убрала подальше с глаз. Не нужна она уже тебе, Эшхар, сказала. Он осторожно ступил шаг, другой — и убедился, что права. Потом пришла зима, и холод, и свирепые ветры, и она со своим сыном оставалась на ночь в шатре, и он ее больше не отсылал. Раз спросил, вроде бы глумясь: с чудесами-то, мол, как? Все ли еще много чудес в стане? Дина надолго задумалась, затем сказала, что не уверена, но кажется, уже давным-давно, по крайней мере, с тех пор, как помнит себя, никаких чудес не случалось. Просто, идут себе дальше — и только.

Потом она затяжелела от Эшхара и на время ушла в стан, к повитухам, и благополучно разрешилась Иотамом.

* * *

Под конец будто взбесилось время: дни набегали один на другой со все нарастающей быстротой. Двигались ходко, скрадывая расстояния, как никогда прежде. Местность была холмистая, почти вся на виду, и страна, в которую шли, с каждым днем ста-

новилась все ближе. Было уже нестерпимо заниматься всем тем, что велела пустыня, шатры для ночевок — и те разбивали через силу. Чаше всего укутывались в шкуры и спали прямо под звездами. Женщины не пряли, мужчины не плели корзины. Кладь подолгу оставалась неразобранной. Кабы не старики, что отмечали время да тщательно блюли праздники, потеряли бы счет дням и месяцам. В небе, в зарослях акации, среди камней уже различали птиц, что живут на ухоженных землях.

Медленно и незаметно мерк огненный столб. Свет его слабел и блек, как свеча на рассвете. Без сожаления смотрели на обессилевшие его языки. Знали уже, что до страны, куда идут, рукой подать. Иные поспешали вперед, поднимались на взгорье и видели ее: протянувшийся вдоль всего небосклона кряж, покрытый легкою дымкой, и который, когда подходили ближе, становился синевато-коричневым, почти золотым — будто пролилась на него благодать. А между ними и этим кряжем пролежала долина, такая глубокая, что дна было не видеть.

Все чаще уходили вперед поглядеть и стояли, будто на палубе корабля, подплывающего к берегу, а берег рос, близился, становился подробнее. На миг казалось — то не они приближаются к этой земле, а она плывет им навстречу, огромная, вся в царственных красках и все еще не различимая в мелочах.

Как огненный столб — так же слабел и таял Моше. Мешался разумом: временами ему мерещилось, что пришли по его душу Ба и Ка, и он кричал им: не египтянин я, еврейский я человек — и убирайтесь прочь. А иногда страстно убеждал, что обязан войти в страну, что небо и землю перевернет — а войдет. Когда ненадолго возвращалась к нему ясность, спешил передать им еще и еще законы — Учение, которому нет конца. Но приближенные уже бросили запи-

сывать. Понимали, что час его близок, и все теперь делалось по указаниям Иехошуа.

Часть племен уже перешла в страну. Никто не ведал, в каком порядке туда идти. О тех, которые вступили вначале и через год, сказывали, что выдержали несколько битв. Прочим нужно повременить.

Вдали стоял Эшхар. Перед глазами простиралась страна. Он обвел ее взглядом из конца в конец, вдоль всего небосклона, будто пытаясь разглядеть через дымку дома, деревья, колодцы, но все это было еще слишком далеко. Долго он так стоял, и медленно, как сквозь сон, но очень явно начал ощущать за спиной чужое присутствие. Смутный страх не давал ему обернуться.

— Байта?.. — спросил Эшхар громко. Но то была не Байта. Некто или нечто говорило ему, смеясь — из ветра, с гор, быть может, — из памяти долгих лет и скитаний. Кто-то улыбаясь и терпеливо ждал от него чего-то, а он не знал — чего... Нет, не перепела, не манна, не вода из камня... — говорило ему чужое присутствие, которое было, возможно, поздним и робким осознанием, что не все это вместе взятое, не эти люди и даже не Моше, а он сам, Эшхар, уже близок, так близок: еще одно маленькое усилие — и поймет.

Но не умел. Тер глаза. Уже не уверен, был ли тут кто или что. И наконец, обернувшись, увидел лишь песчаные холмы, полого сбегаящие к пустыне. Тряхнул головой, будто желая прогнать беспокойную мысль, да вдруг засмеялся — глухо, как человек, не смеявшийся долгие годы.

Этот смех слышал Иотам, что поднимался, посланный матерью. Он с силою ухватывал камни и крепко переступал босыми ногами, а отец нагнул-

ся к нему и помог взобраться. Дина сказала, что завтра последний стан снимается, чтобы перейти Иордан. Спрашивала, пойдет ли он с ними. Эшхар кивнул.

Мальчик стал спускаться обратно, но Эшхар превозмог себя и заскользил вслед за сыном. Взял его за руку, и вместе вернулись в стан. В ту ночь он остался подле Дины. Дети льнули к нему во сне своими маленькими тельцами. Дина прихрапывала на соседней подстилке. А он — из-за близости всех этих людей, при лунном свете собирающих и увязывающих пожитки, разговаривающих да толпами бродящих по стану, — не сомкнул глаз. А еще — от дум. Не рассказывал он этим людям, что уже побывал на родине праотцев.

Теперь подошел их час вступить.

Шли вброд — семья за семьей, род за родом, родившиеся уже в пустыне мужчины и женщины, уйма детей. И немногие, вышедшие из Египта. Переправлялись хорошо, поддерживая друг друга — добрые и злые, жестокие и равнодушные, творящие Закон и послушные ему. Скот сплотили веревками; несколько овецек, что не были привязаны как следует, смыло потоком. Кто-то потерял в реке сандалию, а когда нагнулся поискать, поскользнулся, и двое, что шли вплотную сзади, не успели остановиться и натолкнулись, но тут же помогли встать. Течение было сильное. Случалось, женщины роняли узлы, которые тут же промокали снизу, но ни одна не останавливалась поднять. Дно было неровным: вода — то по щиколотку, то достигала бедер. А живой человеческий поток, перекрещивающий и рассекающий поток воды, все тек да тек... Двое парней несли паланкин, в котором, старательно привязанная, лежала госпожа Ашлил, высохшая, как мощи, и облысевшая, с крошечным сморщенным лицом,

и никто достоверно не знал — может, давно умерла, и несут ее останки, или же теплится еще в ней последняя кроха жизни.

Все шли и шли. Передние уже поднялись на берег, полы одежд тщательно подвязаны на чреслах, смуглые, влажные ноги блестят. С силою топали по песку, встряхивались, словно стая длинноногих речных птиц, оставляя после себя лужицы. Выжимали края одежды.

Шли и шли... Те, что уже переправились, стояли на просторном берегу, освещенном ярким белым светом. Перед ними было взгорье, как бы укутанное мягким, тонким, белым, как яичная скорлупа, шелком, а еще дальше — круто взбегала, обращаясь в высокую стену, гора, на которую еще предстояло взбираться. Они знали наверняка, что за этим кряжем будут еще и еще горы, но уже не велик этот путь до последней горы, до завершения хождений.

Правее поодаль стоял город со множеством пальм, посреди неведомых им деревьев, усыпанных красным цветом. Все сверкало, было ново и свежо. Душа захлебывалась в нежданном восторге от красных и огненно-желтых цветов, пчел и голубей, крепких запахов, лая собак. Кое-кто вожделенно взирал на населенный город. Но пока еще не осмеливались протянуть руку хотя бы к цветам или плодам. Лишь черные козы быстро разбрелись по кустам, принявшись ощипывать, — покамест не были согнаны обратно в стадо. Порхали бабочки. Птицы летали над самой землей и пропадали в густой листве плодовых деревьев. Стояли молча, глядели, глядели и все не могли насытиться.

Потом, словно бусины с лопнувшей нити, от замершей череды отделился один, за ним — другой,

третий, пятый, и торопливо пошли в гору, а вскоре — и остальной народ. По сторонам трусило стадо, жадно раскрывая ноздри навстречу волнам запахов.

Когда передние исчезли по ту сторону кряжа, в пустыне уже не оставалось ни души.

В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ

Они пришли к концу приема. Витая лестница привела их к адвокатской конторе на верхнем этаже старого иерусалимского дома. Рядом было агентство по газетным вырезкам, а дальше уборная, из которой на весь этаж несло лизолом. Поднимаясь, обе тяжело дышали.

— Вот и пришли, — сказала старшая с победной ноткой.

У нее было типично славянское лицо — слегка приплюснутая смесь простодушия и жестокости. Она была из тех женщин, к фигуре которых не приглядываются, само их присутствие впечатляет сильнее, чем внешность: вот она входит, переводит дух, говорит (всегда громко), всплескивает руками, берется за дело — ошипывает птицу, уверенно кроит ткань, берет на руки ребенка. Всегда при деле.

Тусклый свет на лестнице погас, и она попыталась на ощупь найти фосфоресцирующую кнопку. Но на последнем этаже кнопка то ли была не предусмотрена, то ли облупилась и выпала. Руку запорошило известкой и крошками штукатурки, и женщина по-крестьянски отерла ее о юбку.

— Ну, как же мы в темноте-то? — обратилась она по-русски к той, что помоложе. — Спустилась бы ты, милая, да включила бы свет.

— Не стоит, — ответила та тоном, в котором звучало вечное недовольство.

В этот момент дверь адвокатской конторы открылась — вышел кто-то из посетителей. Лицо старшей

прояснилось, она взялась рукой за косяк, чтобы дверь не закрылась и они опять не остались в потемках.

В приемной худая секретарша с крупными зубами наводила марафет перед уходом. На конторке перед ней лежала открытая сумочка.

— Мы до адвоката, — объяснила старшая из женщин на неуклюжем иврите.

Присутствие секретарши заставило ее несколько стусеваться. Секретарша повела плечами — губы ее были сложены треугольником в ожидании помады — и указала на дверь в кабинет. Они вошли. Старшая назвалась и представила дочь.

В кабинете горела лампа дневного света. Адвокат внимательно оглядел дочь. Все во внешности девушки было от матери, но все казалось совсем другим. Жестокость, написанная на лице, стала менее простодушной, более напористой. Дочь была послабей и позлей. Дешевая розовая кофточка и юбка змеино-зеленого цвета. Через плечо цепочка, на конце которой болталась пластмассовая сумочка. На ногах следовало быть сандалиям с золотистыми или серебряными дужками. Но — неожиданность! — обута она была в добротные кожаные туфли. Наверное, получила в подарок от хозяйки, у которой работает, подумал адвокат, а следить за ними не умеет.

Встретил он их без особого восторга. За день он порядком устал, а вечером предстояло идти на заседание кружка. Раз в неделю они, несколько старых приятелей, собирались для обсуждения правовых аспектов еврейского законоучения, и он не хотел опаздывать, хоть в последние годы в кружке все меньше и меньше говорили о юридических проблемах, а больше обменивались сплетнями и анекдотами. Старость.

— Слышала, господин по-русски говорить, — неуверенно произнесла женщина на своем подобии иврита.

— Говорю.

— Ну, слава Богу, миленький, — перешла она на русский, — а то трудно мне на иврите все объяснить.

Вот, значит, дочка моя. А родилась она в России. Я-то сама, уважаемый господин, русская, из-под Кременчуга. Потому что во время войны Степан, женишок-то мой, без вести пропал. А я была на сносях. И познакомилась я с одним человеком, эвакуированным, звать Перельмутер. Ездили вместе с ним с места на место, пока не доехали до Туркмении. Там она и родилась. Потом вздумалось новому моему, Перельмутеру, значит, податься в Палестину, то бишь в Израиль. Нелегко было нам здесь, ох, нелегко. Жили мы в монастыре, а Перельмутер-то сбег. Да-да, взял и сбег. Я и говорю — зачем было тащить нас сюда, ежели хотел убежать. Только все ж таки убежал. Бывают такие люди. А дочка пока росла и вот видите, какая вымахала.

— Если вы хотите, чтобы я разыскал вашего Перельмутера... — нетерпеливо прервал ее адвокат.

— Нет, нет. На кой мне Перельмутер? Мы с ним не женаты, и ничего промеж нас уже нет. Пусть живет как знает и нам не мешает жить. Бог с ним. Только вот ведь какая загвоздка: дочь надумала ехать в Канаду. Я ей и говорю: "Хочешь ехать счастья искать? Ехай себе с Богом". Только вот пошли мы в консульство, а там нам говорят: непонятно, кто она есть, личность, значит, ее какая, если по форме, чья она — Степана или Перельмутера, или кого другого. Я уж объясняла и так и эдак, только не понимают. И визу ей не дают. Ни в какую. Вот мы к вам и пришли, господин адвокат. Вы ж законы знаете. Так найдите, что у нее за личность такая, чтобы ей разрешили ехать в Канаду. Век за вас будем молиться.

— Это можно узнать в отделе учета гражданского населения, — сказал юрист. — Обратитесь туда сами. Жалко ваших денег.

— Да разве ж я в этом понимаю? Нет уж, вы пойдите сами, узнайте в этом самом населении, а мы вам заплатим и расстанемся с миром.

Адвокат нажал на звонок, чтобы вызвать секретаршу. Но та уже успела улигнуть, поскольку ее рабочий день подошел к концу. Тогда он пересел за другой стол

и сам двумя пальцами стал отстукивать доверенность на машинке. Стекло на стеллаже, где стояли своды законов, дребезжало при каждом ударе по клавишам. Дочь сначала глядела на полку с детским любопытством, а потом дотронулась пальцем до дрожащего стекла, и дребезжание прекратилось. Это явление заинтересовало ее. Она то убирала палец, то прикладывала его вновь и расстроилась, когда адвокат кончил печатать. Потом она еще некоторое время разглядывала пальцы, будто ожидая продолжения.

Мать расписалась медленной вязью кириллицы всюду, где ей было указано. В качестве адреса она указала на старый монастырь в северной части Иерусалима. Там она делает все: убирает, закупает овощи. В монастыре у нее и сейчас своя комната.

Адвокат велел им прийти через несколько дней, встал и направился к двери. Ступая за ним, женщина продолжала говорить — ведь не каждый день ей выдается говорить по-русски, кроме как в монастыре. Но адвокат не любил заводить бесед с клиентами, окончив обсуждение их дел. Он выждал несколько минут — пусть спустятся и отойдут подальше — погасил свет и вышел сам. Возле подъезда была лавчонка, источавшая жизнь и свет в темноту иерусалимского вечера.

Он зашел, купил булочки и еще дневную порцию сыра для кота. В юности кот любил выводить богатые рулады, поэтому он назвал его Каценбах, но с годами кот обрюзг и притих. На улице, по пути к машине, адвокат задумался: почему, собственно, она так хочет, чтобы дочь уехала в Канаду. Ведь матери обычно стремятся всеми силами привязать дочерей к дому. К тому же она одинокая.

— Ничего утешительного сообщить вам не могу, — строго сказал адвокат.

На этот раз она пришла сама, не объяснив отсутствия дочери.

— Я навел справки в отделе учета. Во-первых, ваша дочь несовершеннолетняя.

— Ну, конечно, — ответила женщина, — родилась она во время войны. Сейчас ей шестнадцать. Стало быть, несовершеннолетняя. Ну и что же. Девка она с головой и работающая. В Канаде не пропадет. Устроится.

— Во-вторых, она записана как дочь Перельмутера.

— Милый вы мой, а как же вы хотели, чтоб я ее записала?! Война была. Куда мне, женщине с ребенком, да еще с незаконнорожденным? Мы тогда жили с Перельмутом. Вместе ели, вместе спали, вместе приехали в Палестину, то бишь в Израиль. Как же мне было записать ее, если не на его имя?

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал адвокат, — никто не предъявляет к вам никаких претензий. Только из-за этой записи ваша дочь не может выехать в Канаду без разрешения отца или того, кто записан ее отцом, то есть Перельмутера.

Женщина изумилась.

— То есть как это? Как это так, господин адвокат? Где справедливость? Разве ж он рóстил ее? Нет, не рóстил. Он сбег. А я никуда не сбегала. Я ее рóстила. А теперь его право решать ехать ей в Канаду или не ехать? Где мне теперь искать Перельмутера, скажите на милость. За пятнадцать лет он не нашелся. Может, он вообще за границей.

— Послушайте, — вновь попытался объяснить ей адвокат, — ваша дочь записана дочерью еврея, этого самого Перельмутера, независимо от того, правда это или неправда. Это означает, что она наполовину еврейка и, будучи несовершеннолетней, она не вправе покинуть Израиль без согласия отца-еврея. Таков закон.

— Какого отца? Какого еврея? Боже праведный! Да она ж от Степана, а не от Перельмутера. А Степан не еврей. Он, дружок мой, из-под Кременчуга. И никакой не еврей, — она наклонилась над столом и выговаривала каждое слово отдельно, отчетливо, будто обращаясь к глухому. — От Степана она, не от Перельмутера.

— Я вам верю, — сухо сказал адвокат, — но есть закон.

— Да, против закона не попрешь, — неожиданно согласилась женщина. — Делать нечего, надо искать Перельмутера. Вы уж не сомневайтесь, — сказала она адвокату. — Спите себе спокойно, миленький, я уж его отыщу. Отыщу и добьюсь разрешения.

— А если он не даст?

— Ну да Бог поможет, — сказала женщина. Хотя она вроде смирилась, в глазах еще не погасло изумление. — Это ж надо, чтобы такой закон, а? Кто бы мог подумать? Несправедливый этот закон, честное слово, несправедливый.

Адвокат смотрел на нее хмуро. Дочь, какой она запомнилась ему по единственному посещению, представить полуеврейкой было весьма трудно. Но, с другой стороны, ему казалось, что женщина сама толком не знает от кого у нее дочь, и, значит, может быть, в той и есть что-то еврейское. Может, все-таки она дочь, внучка и правнучка этих самых Перельмуторов, каких-нибудь там дровосеков или корчмарей? А может, она из хазар? Кто знает? Перельмуторов на свете много. Может, от них у нее этот юркий взгляд и мучнистая бледность. Прежде люди знали, кто их предки, знали свою родословную. Сколько семей вовлекалось в сватовство. Теперь все пошло прахом. И вот, пожалуйста, эта, со своими кудряшками, румянами и пластмассовой сумкой, даже не знает, кто она такая и кто ее отец. Нет, это не дело. Человек должен знать, что делали до него на земле его предки.

Сам адвокат не имел ни жены, ни детей. Он был высок и худ, с кожей цвета слоновой кости и выхоленными ногтями, очень опрятен, на переносице — пенсне с позолоченной дужкой, из тех, что сейчас странным образом опять входят в моду. Было ему под семьдесят. Поскольку родовая ветвь, представленная им, отмирала, он посвящал много времени составлению генеалогического древа для племянников, которым вовсе не было дела до своего происхождения. Призвание свое видел он в том, чтобы открывать людям глаза на правду, просвещать их — даже тех, кому это неинтерес-

но, и, убеждая их в силе закона, сражаться с хаосом, который изо дня в день угрожает пробраться в мир под личиной своеволия и слепых страстей.

Но как бы то ни было, Перельмутера надо найти.

Не прошло и недели, как женщина принесла его адрес. Оказалось, что, если он и сбежал, то сбежал недалеко. Все эти годы он преспокойно жил себе на окраине Тель-Авива, в одном из районов, построенных людьми неумелыми и торопливыми на плоской земле, над которой возвышались теперь плоские крыши с солнечными бойлерами. Адрес она достала через знакомых. Покрутилась три дня и нашла. Адвокат сел и написал Перельмутеру письмо, где подробно объяснил все обстоятельства. Он любил писать такие письма, излагая все с толком и с расстановкой; казалось, сама последовательность изложения и разъяснений необходимо определяет собой дальнейший ход событий.

Неделю не было ответа, а потом почтальон принес большой, канцелярского типа конверт с письмом, написанном, правда, на иврите, но латинскими буквами. Adoni*, — говорилось в письме, — ani lo maskim**. Перельмутер много писал о себе. Он очень больной, страдает печенью, женился на вдове — владелице маленького магазинчика, и доходов у него нет, и счастье ему не улыбается, и все эти годы он тосковал по дочери. А теперь, когда она наконец нашла, чтоб он дал ей уехать? Нет уж, он сам обратится в суд и потребует, чтобы она была ему дочерью по всем правилам, чтоб все было как у людей. Чтобы приезжала к нему и ходила с ним в кино, и навещала по праздникам, и ела бульон с клецками. Как у людей. И если ему не повезло в жизни и он не видел дочь пятнадцать лет, так что — разве он потерял на нее права? Нет, отец есть отец.

Латинские буквы затрудняли чтение, и юрист просидел над письмом немало времени — он хотел увериться в том, что все понял правильно, разобрал, где на-

* Adoni (иврит) — здесь господин.

** Ani lo maskim (иврит) — я не согласен.

писано "не", а где "ему"*; и не спутал прочие вещи, которые, будучи написаны на иврите, не вызывают сомнений. Постепенно такая манера письма увлекла адвоката. Он взял лист бумаги и стал писать ивритскими буквами, но слева направо, а потом обратил вспять и буквы, воспроизводя их зеркальное отражение. Он помнил день, когда ему объяснили, что на иврите надо писать не как по-русски, а в другую сторону, и первое время он выводил зеркальные отражения ивритских букв. Родители и учителя немало потрудились, пока он понял, как их перевернуть, зато потом, поскольку долго напрягал мозги, чтобы понять и научиться, он стал в этом деле большим умельцем. Сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, он убедился, что не только все еще может писать зеркальным способом, причем весьма бегло, но что очертания таких букв внутренне по своей сокровенной форме ближе ему, чем его обычный, округлый, каллиграфический почерк на иврите. Потом его испугала непонятная сила, кроющаяся в перевернутых знаках, и он, смутившись, разорвал лист — словно заглянул в то, что принадлежит не ему.

— Ладно, — согласилась женщина, — езжайте к Перельмутеру. Только я не поеду. Езжайте вы, господин адвокат, пусть едут дочка и муж.

— Муж? Ваш муж?

— Боже праведный! Ну, конечно, мой, а то чей же? Что ж вы думали, я так и буду сидеть одинокой все эти годы с тех пор, как сбег Перельмутер?

— Кто же он, ваш муж?

— А вот и познакомьтесь по дороге. Человек хороший. Поляк, служил в армии Андерса, ранило его, беднягу, а потом он сбежал, и прятался, и голодал. Ох, уж намучился он в жизни. Уже много лет на озеленении работает, садовникам при муниципалитете помогает. Силы у него! Другие разрыхляют землю так, поверху, и тут же сажать — ни силы у них, ни терпения. А он не

* Слова, звучащие на иврите одинаково, но пишущиеся по-разному.

так — вскопает глубоко, ни корешка ни оставит. Хороший он человек, наш Петр, ладный, не из тех, что наобещают с три короба, а потом сбегут.

— Когда же вы с ним обвенчались?

— Да не так уж давно, господин адвокат. Года четыре назад, может, пять.

(Итак: монастырь, православная свадьба, венец на голове жениха, венец на голове невесты, лента, скрепляющая руки обоих, монахини дарят вышитую скатерть и живую курицу, которую Петр зарежет завтра или послезавтра, монастырское варенье из винограда, запах прелых яблок, ладан.)

— Другими словами — ваш брак с Перельмутером был расторгнут и вы вышли замуж вторично?

— Господин адвокат, так я ведь не сочеталась с Перельмутером. Война, сами знаете. Худо нам было в Туркмении, тоскливо, хоть волком вой. Вот люди и лепятся друг к другу, чтоб есть вместе и спать и не жить одному как собака. Домишки там знаете какие? Хибары, стены из глины, крыши соломенные. Выйдешь — грязь непролазная. И война. Все война да война. До фронта, правда, далеко, но, если жить бобылем, то можно с голоду распухнуть. Вдвоем полегче. То один козьего молока раздобудет, то другой где побатрачит и картошечки принесет. Как-то жили. И даже смеяться не позабыли. Каждый про семью думал, но думы эти в сердце носил и страдал про себя, а вслух про это не говорили, разве что по вечерам. Когда тяжело, вдвоем-то полегче. Не думала я тогда, что мне придется такое терпеть из-за Перельмутера, ей-Богу, не думала.

Адвокат закрыл глаза и сразу же увидел ее и его в старых серых дерюгах, в платках с бахромой, бредущих по колено в грязи по улице туркменского кишлака, под мышкой зазубренная жестянка с едой или полбуханки хлеба, уши обмотаны, чтобы не отморозить, в чеботы насована газета. Она — обветренная, высокая, по-славянски светлая, молочно-голубая и золотистая, как полдень в страду, и, хоть война ее иссушила, грудь ее все еще пахнет молоком; она де-

вушка крепкая, и характер у нее вроде не злой, вовсе не злой, только голос резкий и визгливый, как бывает у русских женщин, и говор тяжелый и грубый. И он — еврей, беженец, совсем молодой, с близко посаженными глазами, сутулый, всегда в фуражке, с нелепой походкой — то ли козлийный подскок, то ли человеческий шаг; бриться не любит, нытик, и в этом нытье запас его сил. Что-то в нем наглухо закрыто от нее, и именно это, скрытое, притягивает ее, берет за живое, влечет. Она вынашивает обоих — и его, и дочь. И все ей нипочем. Изю дня в день мимо проходит поезд, он не замедляет хода, ему нечего делать на этом заброшенном полустанке. В поезде солдаты, они едут домой, вагоны с ранеными. Председатель местного совета словословит партию и правительство и время от времени раздает что-то вроде газеты. Дети носят тубетейки, похожие на половинку футбольного мяча, все раскосые, в школе они говорят по-русски, а с бабушкой — по-туркменски. Первого мая, несмотря на войну, на сельскую площадь удастся вывести нечто похожее на демонстрацию. Густо-красные флаги с золотом букв покрывают бурые стены. И чай, много чая.

В холодные, снежные дни женщина и ее еврей лежат под одеялами. Сверху для утепления набросаны пальто. Они приладились друг к другу, как две ложки в кухонном ящике, и пусть в голове у него текут реки и мысли, и пусть он произносит про себя волшебные слова: Аму-Дарья, Амазонка, Рио-Гранде, все равно он тычется в ее тело, как сиротливый кутенок, который ищет тепла у другого зверя своей породы.

В снегу блеют козы. Запах перьев, запах мороза. Проходит поезд. Приходит сон.

Адвокат вздохнул.

— Ну, хорошо. Условимся встретиться на будущей неделе, напишем господину Перельмутеру о нашем приезде. А вы — вы не хотите поехать? Вы уверены?

— Уверена, уверена я. На что он мне сдался? Дай ему Бог здоровья, только у него своя жизнь, а у меня

своя. И Петр не хочет, чтобы я ехала. Ты, говорит, оставайся дома. Мы сами обо всем договоримся, по-мужски. А дочь возьму, раз господин адвокат говорит, что так надо. Мы ведь верим господину адвокату как отцу родному.

Что же я делаю, встревожился адвокат. Привезу я этого здоровенного голяка к больному-печеночнику в Копель или как там называется район, где он живет, а тот еще поколотит его. Я буду виноват. По-мужски, говорит.

— Послушайте, а ваш Петр не того, драться не станет?

Женщина всполошилась.

— Боже упаси, господин адвокат. Что это вы говорите такое? Да он же сущий ангел. Такой руку положит на больное место, и боли как не бывало. Заботливые руки у него, мягкие. Чтоб мой Петр кого ударил? Да он мухи не обидит. А силища у него — ого-го! Вы не поверите, а посмотрели бы, как он работает, полярдака поднимает зараз, хоть и немолодой. Когда он работает в палисаднике перед муниципалитетом, бабы сходятся посмотреть, как на спектакль. Спина у него — загляденье, красивая, сильная.

Так вот почему она хочет сплавить дочь в Канаду, подумал адвокат, хотя, может, сама еще не отдает себе в этом отчета. Тот же инстинкт, который некогда заставил ее пригреть тщедушного еврея, попавшего вместе с ней в глухую туркменскую деревню, сейчас вынуждает ее — надо резать по живому, в доме должна быть одна женщина. А та, незамужняя, пусть уходит. Женская мудрость непостижима, но всегда подскажет, как поступить.

В тот же день адвокату случилось заглянуть в муниципалитет. Он расспросил знакомого и тот рассказал, что они действительно время от времени нанимают работника по имени Петр, который малость того, и из армии Андерса не дезертировал, а был списан по причине безнадежной умственной отсталости.

Вечером у подъезда, внизу, в свете, струящемся из магазина, адвоката ждала дочь женщины. Вероятно, стояла она уже давно. Увидев его, девушка тронулась с места и пошла рядом, будто настроившись провожать.

— Почему вы ждали у дверей и не поднялись? — спросил адвокат. Разговор шел на иврите.

— А чего подниматься?

— А вдруг я сегодня вообще не работал бы?

Она пожала плечами и сказала:

— Я хочу в Канаду.

— Откуда вы знаете, что там вам будет лучше?

— Потому что здесь на мне никто не женится.

Адвокат удивился.

— Почему же?

— А кто? — с горечью бросила она. — Еврей? Христианин? Русский? Араб? Нет, парням нужно, чтобы без изъяна.

Адвокат посмотрел на нее и попытался представить другую картину: та же горечь, та же вялая грудь, но вот ее коснулась радость, она желанна, в ней что-то распрямляется. Тогда приобретают смысл и горечь, накопившаяся в теле, и даже эти жуткие тряпки с базарного развала. Остается лишь суть — молодая крепкая девушка в ярком наряде.

А пока она семенила рядом с ним по тротуару в своих дорогах неухоженных туфлях, шаркая стоптанным каблуком.

— Я не знаю, что мне сказать, кто я такая.

— Ваша мать говорит...

— Мать разное говорит. Говорит, что мой отец — русский солдат.

— Какие же у вас основания не верить? Я думаю, что это правда. Во время войны всякое бывало, и никто не виноват. Он был отправлен на фронт, наверное, погиб. Если бы он не пропал, вы бы жили сейчас с отцом и матерью в деревне под Кременчугом.

— Я по отцу дважды сирота.

— Считая Перельмутера?

— А что ж? Он тоже был, да сплыл.

— Какое вам дело до Перельмутера? Что ваша мать жила с ним в трудные годы войны, только и всего. А отец ваш погиб на войне с немцами. И вы в этом смысле не единственная.

Девушка не слушала.

— Чего же она не вышла замуж?

— За кого — за Степана или за Перельмутера?

— Какая разница? За кого-нибудь. Кому я нужна теперь? Каждый скажет — эта, небось, такая, как мать.

Адвокат хотел было сказать, что она ошибается, что в нашем обществе..., но понял, что все это ни к чему.

— Потому я и хочу в Канаду. Там нет всех этих дел — война, пятое-десятое. Там запросто. Может, там с кем познакомлюсь из парней покультурнее. А то посмотрите на мать — вышла замуж за этого полоумного, который что-то там роет при муниципалитете. И то сказать, какой у нее был выбор?

Адвокат вполне понимал ее влечение к миру, в котором все расставлено по местам. Он и сам любил упорядоченную, текущую медленно, по заранее установленным канонам жизнь, в которой есть предназначение и цель, намеченная свыше. На миг у него мелькнула мысль — а что если удочерить ее и дать ей имя. Но тут же он увидел ее отталкивающее лицо, металлический зуб, пугающее, по-детски настырное желание, чтобы всегда и во всем считались именно с ней. Нет, это ему не по силам. Это случай для социолога или для социального работника, подумал он, может быть, даже стоит поговорить о нем на заседании кружка.

— Может, я смогу работать у вас в конторе? — спросила она вдруг, и по ее тону было заметно, что она сама не очень верит в такую возможность.

— Как? На машинке...

— Я могу научиться.

— Но как же? Моя секретарша, она ведь уже пять или шесть...

Со стремительной непосредственностью шестнадца-

тилетней она предположила:

— А может, она помрет?

— Да что это вы?

Тотчас же без колебаний она соскользнула надеждой пониже.

— А может, вам нужна домработница?

— У меня убирает женщина. Одна и та же уже двадцать пять лет.

Со стремительной непосредственностью шестнадцати лет она предположила:

— А может, она помрет?

— Да что вы?

Адвокат почувствовал, что она, как сорная трава, угрожает уничтожить все, что он холил годами, и поэтому разговор пора кончать.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — идите домой. Я обещаю сделать все возможное, чтобы помочь вам уехать в Канаду.

Девушка посмотрела на него презрительно, как на недоумка, который вообще не понимает, о чем с ним говорят.

— Значит, мне уходить?

— Идите, моя милая, и не волнуйтесь — все будет в порядке, — мягко, но окончательно отгородился от нее адвокат.

Чувствуя, что на всем, что связано с ней, лежит отпечаток неминуемого краха, он старался проявить максимальную предупредительность. Но девушка не поддалась. Она вздернула плечи, кивнула презрительно и безнадежно и зашагала прочь.

В маршрутном такси адвокат, как обычно, занял место возле водителя. В дороге он иногда чувствовал себя неважно, и он терпеть не мог, когда его стискивали справа и слева. Сам он за городом машину теперь не водил. Слишком высокими казались ему скорости на дорогах. Петр и дочь сидели сзади и разговаривали между собой на иврите. Русский оба знали плохо. Дочь говорила на иврите без акцента, а у Петра проступал

густой польский фон. Обоим не хватало слов, и они восполняли недостающее жестами и догадкой. Человек с лицом пожилого учителя, сидевший рядом, проявлял к ним крайнее расположение — он принял их за новых репатриантов, которым надо рассказывать, что они видят по дороге, и ему, старожилу, было от этого приятно на душе. И та и другой ездили по этой дороге по меньшей мере пятнадцать лет, но вежливо молчали, ни в чем его не разубеждая. Адвокату было как-то не по себе. В стройном мире окружавшем его, что-то опрокинулось, перевернулось с того позднего вечера, когда две эти женщины пришли в его консультацию, началась какая-то неразбериха, дети перестали походить на родителей, и все, даже самое невероятное, вдруг оказалось возможным. В Тель-Авиве престарелый учитель пожелал им на прощание успешной абсорбции и посоветовал не бояться трудностей — всем приходилось нелегко — жили в палатках, мостили дороги. И еще, сказал он, им стоит пойти на курсы, поучить иврит. А вообще все непременно устроится, главное, что они на своей исторической родине и здесь им некого бояться. У Петра, чувствительного от природы, на глазах выступили слезы.

— Это точно, — сказал он учителю, — правда ваша, земля здесь хорошая, и бояться некого, а что до арабов, то Бог нам поможет.

Они взяли такси и поехали в район, который адвокат привык за это время называть "квартал Копель". Строили его на скорую руку, и он очень быстро превратился в квартал бедноты: обшарпанные подъезды, балконы торчат наружу, как ящики распотрошенного шкафа, с которых свешивается белье. Фасады казались не фасадами, а вывернутыми наизнанку стенами огромной ночлежки. Вывеска на сапожной мастерской написана по-болгарски. В запущенной парикмахерской парфюмерное благоухание фиалок. Телеантенны. Между домами песок. Несколько лет назад кто-то посадил белые и фиолетовые барвинки, но их никто не поливал

и цветы зачахли. Теперь в палисадниках не цветет ничего, кроме оберток жевательной резинки, палочек от эскимо, грязной ваты и тетрадных листов. Ежедневные поездки в переполненном автобусе в центр Тель-Авива и обратно — к сидению в майке у радиоприемника, арбузу и кефиру. Летом здесь тяжело, подумал адвокат, тяжелее, чем в Иерусалиме. Многоголосица. Приемники, норовящие перекричать друг друга. Между людьми чрезмерная близость, тепло одного жилища сливается с соседским теплом, голоса переплетаются, запах одного стоит в квартире другого. Стены — лишь видимость, уступка цивилизации.

Если адвокат ожидал, что, когда они подойдут к дому Перельмутера, дочь выкажет волнение, то он явно ошибся. На ее лице застыло все то же выражение упорства и укоризны, разве что оно стало еще упрямее и чуточку злее. Казалось, что ей на все наплевать. Волосы, блестевшие от брызг клейкого парикмахерского лака, были уложены осиным гнездом и свисали ей на лоб. Платье из синтетической ткани из тех, что продают с лотков в дни сезонных распродаж, вполне бы ей шло, будь в ней хоть капля непринужденности. Но потребность быть всегда начеку, характерная для неумных женщин, не позволяла ей расслабиться ни на минуту, поэтому даже легкое платье сидело на ней, как доспехи. При ходьбе ее руки оставались неподвижными, только плечи неестественно и нервно держались вверх-вниз — в зависимости от настроения. Она выглядит зрелой женщиной, в жизни которой не было ни одного светлого дня, подумал адвокат, а ведь ей только шестнадцать.

С Петром она говорила, как и со всеми, капризным и недовольным тоном, но беззлобно. Сам же Петр в точности соответствовал описанию — высокий, плечистый, обходительный, с большим кадыком. Слегка тянет больную ногу. Рубашка в полоску, застегнута на все пуговицы. Пиджак. Воротник рубашки не выложен, как у евреев, поверх пиджака. Сту-

пает с ней рядом, готовый примирить, смягчить, успокоить.

Они поднялись по лестнице. Дверь открыл сам Перельмутер. Он был намного ниже, чем ожидал адвокат, совсем тщедушный, сморщенный и неестественно желтый, будто прошел какую-то химическую обработку, которая к тому же оставила после себя чуть заметный запах гнили. Перельмутер был явно старше женщины, с которой он жил в Туркмении, и, значит, образ еврейского парня в фуражке, шустрого и вечно голодного, придется отбросить. Тогда так: лет ему было под сорок, волосы поредели. Затаенную злость можно оставить, но сделать ее более материальной. Было у него, наверное, в подкладке зашито несколько царских рублей, какое-никакое золотишко, может, доллар-другой, поэтому она и прибилась к нему. Черт его знает. Сейчас он выглядел как мелкий жулик, начисто лишенный даже той безудержной лихости, которая иногда подкупает в жуликах, бесшабашных и жизнерадостных.

Перельмутер протянул руки к дочери. Она позволила себе обнять и постояла какой-то миг в кольце его рук. Но когда Перельмутер попытался ее поцеловать, она оттолкнула его сжатыми кулачками.

— Так и будем стоять на пороге? — кисло спросила она. Было ясно, что она не расчувствуется.

— Ой, входите, входите. Спасибо, что пришли. Слава Богу, который дал нам жизнь, охраняет всех нас и дал дожить до этого дня*, — заголосил Перельмутер. — Роза! Роза! Ко мне пришла моя дочь. Ах, какой день! Какой радостный день! Пятнадцать лет, Господи, подумать только!

Слезы на его лице тоже выглядели желтоватыми.

Роза, жена Перельмутера, оглядела всех острыми глазками-пуговками и, не говоря ни слова, принесла

* Из благословения, которое произносится в торжественных случаях.

и поставила на стол угощение — наломанную квадратиками плитку шоколада в плоской стеклянной вазочке. Адвокат осмотрелся — две комнаты, балкон, маленькая кухонька. В углу большой допотопный радиоприемник, на нем стеклянная кошка. Четыре, не то пять электроприборов, подключенных к одной розетке, шнуры волочатся по полу. На столе бутылка с аптечной наклейкой. Пепельница в виде лебедя и еще одна, розовая, в форме руки. Перельмутер утер слезы.

— Вот посмотрите, посмотрите, — упрасивал он, суетливо бегая по комнате и принося кипы старых фотографий. — Это моя прежняя жена, в деревне Ула в Туркмении. А это я. А здесь мы вместе на демонстрации Первого мая. Вон статуя Сталина. А вот она — дочка, еще грудная. Видите, я этот снимок пятнадцать лет у самого сердца хранил. Как сейчас помню день, когда она родилась. В больницу добирались на подводе. И что вы думаете? Надо же, чтобы в дороге сломалась ось. Спасибо, попались двое солдат, они помогли. А она уже начала рожать, не удержалась, ей-Богу.

— Простите, — перебил адвокат, — вы говорите — жена. Разве вы были женаты?

— Что значит "были женаты"? Конечно, были женаты. А как же. К раввину не ходили, это верно, но в Советском Союзе сочетались гражданским браком, в ЗАГСе были записаны, чин чином. Потом пошли в Дом культуры, выпили немного с друзьями, закусили селедкой. С продуктами было плохо, но селедку нам достали — первый сорт. Что значит "не женаты"? Конечно, были женаты.

— Тогда, значит, Роза...

— С ней мы женились в раввинате. Только приехали мы в Израиль, та, первая сбежала от меня в монастырь, и меня не пускали ни к ней, ни к дочке. Что ж делать, сказал я себе, без жены мне никак нельзя. Справился у адвоката, и он мне объяснил, что гражданский брак тут не в счет, я могу жениться на ком

хочу в раввинате. Обратился я в бюро брачных объявлений, рассказал, что я больной, работать много не в состоянии, но как мужчина в полном порядке. Мне подыскали Розу, у нее магазинчик, сыграли еврейскую свадьбу, с тех пор я здесь и живу.

Роза, которая до сих пор не произнесла ни слова, заварила крепкий чай и принесла его в стаканах с пластмассовыми подстаканниками. Природа сохранила ей волосы, но выглядели они как запыленный парик.

— Мейделе*, — обратился Перельмутер к дочери, — Расскажи отцу, как ты живешь? Чем занимаешься? Чему научилась? Может, у тебя и ухажер уже есть?

Девушка весьма сухо сообщила, что училась в школе при миссии, работает официанткой в Немецком квартале** и хочет уехать в Канаду.

— Какая Канада? Что за Канада? Чего это вдруг? Боже упаси, мейделе, что ты будешь там делать одна-одинешенька, на чужбине? Здесь твоя страна, здесь я — твой отец.

— Слушайте, никакой вы мне не отец, — не выдержав, оборвала его девушка. — Все это сплошная комедия. Ясное дело — адвокат велел, вот и ломают комедию.

Перельмутер разрыдался. Он плакал по всем правилам: заходился, всхлипывал, глотал слезы, мелко дрожал плечами.

— Ну, ну, это уж ты того..., — сказал Петр и, достав платок, стал вытирать ладони. Было видно, что он очень смущен. — Не надо плакать, господин Перельмутер, Бог никого не оставит в беде.

— Прошу вас, ведите себя как следует, — сказал адвокат девушке.

Она пожала плечами.

— Ладно, буду вести, только пусть не говорит, что он мне отец.

* Мейделе (идиш) — здесь: деточка.

** Мошава германит, район в Иерусалиме.

— Откуда вы знаете? — жестко спросил адвокат.

— Да вы посмотрите, я ж на него не похожа вовсе.

Все осмотрели ее и его. Какое-либо сходство и правда, даже при большом желании найти было трудно. Да, но ведь она от Степана, а не от Перельмутера, вспомнил адвокат. Перельмутер только удочерил ее, когда она родилась в Туркмении. Перельмутер перестал рыдать.

— Вот ведь как бывает. Эта ведьма прятала ее пятнадцать лет, настраивала против меня все годы, что ж вы хотите, чтобы она теперь говорила. Но это тебе не поможет, слышишь? Я твой отец перед Богом и людьми. Ты родилась летом, в августе, в деревне Ула в Туркменской ССР, а еще ось сломалась в дороге. Ну, что на это скажет твоя мать? А?

Адвокат приступил к поискам компромисса. Он привык заниматься этим у себя в конторе в присутствии спорящих сторон. Он обращался к ним с речью, торжественной и возвышенной, взывал к их чести и человеческому достоинству, ко всему лучшему, что, как он верит, есть в них. Если они и не понимали, то слушали несколько минут молча, будто проникались сознанием того, что в мире все же существует некий высший порядок, и успокаивались.

Он произнес свою речь и на этот раз, в квартале Копель, только здесь его то и дело прерывали: наверху выбивали ковры, внизу мать отчитывала провинившего сына. В конторе все было куда проще. Адвокат прихлебывал чай и скучал по Иерусалиму.

Когда он окончил речь, они уже не старались уколоть друг друга побольнее, но и до примирения было далеко. Перельмутер, не расстававшийся со своими фотографиями, был похож на мышь, сидящую на куче динаров. Как это ему удалось нащелкать в глухой деревне во время войны столько карточек? Неужто тогда можно было свободно достать такое количество пленки? Или это был один из его гешефтов? Груды снимков, на каждом — то молодая улыбаю-

щаяся женщина, то он, то они вдвоем и ребенок. И мать с дочуркой, и он с дочуркой, и все трое. И как водится в семейных альбомах, снимок голого младенца, лежащего на животе, на шкуре вроде тигриной.

— Так ты приезжай провести отца, — сказал Перельмутер. — Поживи у нас недельку-другую. Поедем в Тель-Авив, сходим в кино. В субботу сядем за стол. Знаешь, как Роза готовит? Пальчики оближешь. Твоя мать тебя не узнает. Щечки будут как яблочки.

— Я еду в Канаду, — метнула в него девушка последнюю фразу и зашагала вниз по ступенькам.

Адвокат и Петр спускались за ней. Перельмутер, стоя в дверях, кричал им вслед:

— Никакой Канады! Никакой Канады! Пока я жив, никакой Канады!

Такси найти не удалось — какому шоферу придет в голову заезжать в квартал Копель. В туфли набился песок. Девушка плакала. Петр хлопал ее по спине, словно она проглотила рыбью кость, и приговаривал:

— Хватит, ну, хватит.

Пришлось ехать автобусом. Всхлипывая и икая, девушка вошла вместе с ними в автобус, поднявший тучи песка, и закрыла лицо платком. Мужчины молчали. Оба понимали, что она в конце концов девочка, совсем еще ребенок. На автостанции адвокат купил ей конфет. Она тут же оживилась, открыла жестянку и принялась за леденцы.

— А Перельмутера я прикончу, — сказала девушка, перестав плакать.

— Не правда, — божилась женщина, — Бог свидетель. Чтоб мне в аду гореть вечным огнем. Не сочетались мы с Перельмутером ни гражданским браком, ни каким другим. Просто жили вместе. — И помолчав, добавила: — Веселый он был, Перельмутер. Не встречала я таких веселых людей. Вот только работать никогда не любил.

Адвокат посмотрел на нее растерянно.

— Почему же, по-вашему, он утверждает, что вы были женаты?

Женщина развела руками.

— Не знаю, ей-Богу, не знаю. Он-то знает, что это неправда. И зачем только люди врут? Неужто только затем, чтобы другим насолить?

— Может, вы встретитесь с ним и выясните, почему он так упорно стоит на своем?

— Нет, Петр мне ни за что не разрешит.

Адвокат не знал, кому верить. Оба говорили, казалось бы, искренне. Было ясно, что правды здесь не доищешься. Тут в голову ему пришла мысль:

— Послушайте, может из всей этой неразберихи найдется все-таки выход. Девушка несовершеннолетняя, отцовство неясно. Вы сейчас замужем за Петром, венчались, насколько я понимаю, в церкви. А что если Петр удочерит ее?

— Удочерит? — женщина не сразу осознала эту возможность.

— Удочерит по всем правилам. И тогда он в качестве отца сможет ей дать разрешение на отъезд в Канаду.

Две слезинки заискрились в глазах у женщины. Она встала, прижала к себе голову адвоката, а потом попыталась по-крестьянски обнять его колени, но этого он не допустил.

— Дай вам Бог здоровья, господин адвокат. Я всегда знала, что ваш светлый ум всех нас спасет. Дай вам Иисус Христос долгой жизни, да ниспошлет вам Пресвятая Богородица всякого счастья.

В дверях она вдруг всполошилась.

— А Перельмутер не заартачится?

— Я не думаю, что у него есть основания возражать. Его отцовство не подкреплено достаточными доказательствами, кроме того, он не интересовался ребенком на протяжении пятнадцати лет. Судья ведь тоже человек.

По дороге домой он чувствовал воробьиную лег-

кость и беззаботность, дома прилив энергии не утих. Согнав с колен Каценбаха, адвокат принялся составлять прошение об удочерении.

Судья тем не менее пожелал лицезреть Перельмута.

Когда Перельмутер вошел в кабинет судьи, адвокат в первый момент его не узнал. Перельмутер отпустил баки, надел новую белоснежную рубашу, а сквозь его желтизну проступал чуть ли не молоденческий румянец. Сейчас он был похож на жизнерадостного хасида*. Сели – судья в кресло, адвокат и Перельмутер по другую сторону заваленного папками стола. Перед адвокатом и перед судьей лежало множество бумаг. Перельмутер пришел с пустыми руками и теперь, улыбаясь, беззаботно переводил взгляд с одного на другого.

– Итак, господин Перельмутер, вы утверждаете, что вы отец девушки?

Перельмутер достал из кармана какую-то бумагу.

– Господин судья, я тут нашел свидетельство из больницы в Туркмении, где она родилась. Смотрите, роженица была зарегистрирована под моей фамилией. А посмотрите, под какой фамилией записана новорожденная? Под моей как моя дочь. Пожились в ЗАГСе. Гражданским браком. И дочь, конечно, моя. Какие могут быть сомнения?

– Скажите, как вам удалось устроить вашу... допустим, жену в больницу в самый разгар войны? – спросил адвокат, как при допросе свидетеля. – Разве больницы не были переполнены ранеными?

– У меня были связи, – стоял на своем Перельмутер. – И вообще, господин адвокат, вы, конечно, большой человек, но будь вы даже самый большой начальник, вам все равно ничего не поделать против моих

* Хасидизм – религиозно-мистическое течение в иудаизме. Одним из основных положений хасидизма является требование служить Всевышнему с душевным подъемом и радостью.

документов. Вот они все, пожалуйста.

— Регистрация в больнице не доказывает факта отцовства, — заметил адвокат, обращаясь к судье.

— Безусловно, — ответил судья.

— Вот видите, сколько хлопот вы нам причиняете, — сказал он Перельмутеру, — вы ведь знаете, что по закону дочь остается с матерью, но вы женились на нееврейке и тем самым запутали дело.

— Нееврейке? — взвился Перельмутер. — То есть как нееврейке? Да она такая же нееврейка, как я нееврей. Еще какая еврейка. А кшейре* еврейка. Что с того, если у нее голубые глаза? Штейт гешрибен**, что еврейской девушке нельзя иметь голубые глаза?

Адвокат почувствовал, как знакомый кабинет судьи уносит за пределы яви. Реальным казался только по-осеннему густой белый свет, который пробивался сквозь щель в облаках и оседал на всем — на сидящих, на мебели, на грудах бумаг. Полотно световой ткани окутывало людей и предметы, постепенно вбирая их в себя. Сидящие блекли, слабели, как свет свечи на рассвете, истончались, становились призрачнее. Казалось, еще немного, и сквозь них можно будет пройти, как сквозь дым. В растерянности адвокат подумал: стоит Перельмутеру указать на что-то перстом и произнести слово "еврейский", как кажется, что он изрек: "мое" и наложил свою пятерню. Всемогушая длань Перельмутера. Куда мне против нее.

Судья встал и задернул тяжелые шторы. В комнате стало темнее. Адвокат пришел в себя. Люди и предметы вновь обрели привычные очертания.

— Надеюсь, вы понимаете что из этого вытекает, — приглушенно сказал судья юристу. — Если она действительно еврейка, как утверждает этот господин, значит, и дочь еврейка, и тогда я не могу вынести ре-

* А кшейре (идиш) — кашерный; здесь — стопроцентная.

** Штейт гешрибен (идиш), здесь — где-нибудь написано.

шения об удочерении ее нынешним мужем матери, который не еврей.

— Я понимаю, господин судья. Однако я не убежден в том, что сказанное здесь — правда. Это нужно проверить. Надо...

Перельмутер посматривал то на одного, то на другого и наслаждался безмерно. Ну, и огорошил же он их. С тех пор, как он уехал из России (но там-то что — гоёв всегда можно обвести вокруг пальца), с тех пор, как⁸ начал иметь дело с Агентством*, подходящим налогом и счетами за электричество, ему еще никого не удавалось так обставить — ни частное лицо, ни учреждение. Он выглядел помолодевшим лет на двадцать.

— На основании чего вы утверждаете, что она еврейка? — стал допытываться адвокат.

— Как это "на основании чего"? Да она сама мне сказала. Вы когда-нибудь видели человека, который врал бы, что он еврей? Наоборот — это другое дело. Это мы видели. А так, дураков нет. Да еще во время войны.

— Что вы предлагаете? — опять наклонился судья к адвокату.

— Будем выяснять, — ответил адвокат, — разыщем документы, проверим. Для нас это совершенно неожиданный — он чуть не сказал: "сверхъестественный" — поворот.

— Разберитесь все-таки в этом деле, — сказал судья адвокату, когда тот вместе с Перельмутером выходил из кабинета.

В коридоре адвокат сказал:

— Послушайте, господин Перельмутер, если эта женщина в самом деле еврейка, тогда весьма сомнительно, действителен ли ваш теперешний брак с Розой. Зачем вам все эти сложности? Вас могут обвинить в двоеженстве, и неприятностей не оберешься.

* Имеется в виду Еврейское Агентство, которое оказывает помощь на первых порах устройства репатриантов в Израиле.

— Ну так что? Расторгнут мой брак с Розой, признают его недействительным? Ну, и пусть признают. На здоровье.

Адвокат вдруг понял — несмотря на то, что Петр это ей запретил, Перельмутер тайком виделся с женщиной. Он попытался прочесть что-либо на лице Перельмутера, но не смог пробиться сквозь личину жулика, хитроватого и настырного, готового с пеной у рта отстаивать свою неправду. Ну, а если они все-таки виделись, если что-то от бывшего влечения продержалось все эти годы, если земля разверзлась у них под ногами и в провале они увидели то, что и ему, и ей давно уже казалось невозможным, — перерождение, новую жизнь. А, собственно говоря, почему бы и нет? Прошло пятнадцать лет, но он по-прежнему помнит ее большое белое тело, а ей памятливы его повадки, и от первых объятий, в которые сводит волнение встречи, тела увлекают их дальше по проторенным тропам, не дав опомниться и взвесить: да или нет. И Петр, и девушка — побоку. Теперь он уже не отступится. Теперь все пойдет иначе. Мгновение — дань бывшему влечению, — и девушке не видать Канады.

Перельмутер наклонился к адвокату и прошептал ему на ухо:

— Ди Роза, зи ист айн алте мойд*, — и, пританцовывая, зашагал к автобусной остановке.

Адвокат был из тех романтиков, которым нравятся женщины только одного типа — похожие на них. Если он высок, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами, то он ищет женщину высокую, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами будто бы из своих, из близких по крови. Другое начало, живительная новизна чужого были ему не по силам, и, не будучи любопытным, он остался одинок на всю жизнь. Поэтому ему трудно было понять историю с Перельмуте-

* Роза, зи ист айн алте мойд (идиш) — эта Роза, она старая дева.

ром. Еврейка она или нееврейка. Встречался он с ней или нет?

Адвокат поехал в монастырь. Высокое здание в северной части города было окружено высоким забором. Через боковой вход — просвет между каменной стеной и непролазной живой изгородью — он прошел в небольшой флигель, что-то вроде сторожки, где жили женщины. Во дворе росла герань, мальвы и пахучий иерусалимский жасмин, закаленный черствой каменной почвой. В монастыре зазвонили, созывая не то на молитву, не то на трапезу. И женщина, и Петр были дома. Он ел, а она сидела рядом с заплаканными красными глазами. Сомнений не было: она опять сошлась с Перельмутером. А Петр ни о чем не знает, не ведет.

Женщина вытерла стул и усадила гостя.

— Вы хотите, чтоб ваша дочь поехала в Канаду? — сухо спросил адвокат.

— Хочу.

— Так зачем же вы...

Женщина то и дело утирала глаза. Трудно было понять, как Петр, какой он ни есть, не замечает, что с ней. Короткими, равномерными движениями кающейся грешницы она поминутно била себя в грудь. Веки припухли. Волосы были растрепаны.

— Теперь Перельмутер не отступится, — сказал адвокат, намеренно не договаривая, чтобы Петр подумал, что речь идет о дочери.

Но Петр — огромный в полосатой рубаше, застегнутой до кадыка, в широких рабочих штанах цвета хаки — сидел как ни в чем не бывало и, улыбаясь, прихлебывал чай. На столе перед ним лежали ломоть хлеба, огурец и редька. Все это он разрезал на аккуратные, равные и ровные дольки. Происходящее в комнате было так же далеко от него, как полуденный гул в аэропорту чужой страны.

— Знаю я, знаю. Это мне Божья кара.

— Теперь надо решать, что делать дальше, — хмуро сказал адвокат.

Его взгляд остановился на узкой железной кровати, стоящей в углу под иконой. На кровати по старому русскому обычаю громоздились горкой подушки. На одной не хватало наволочки, и в ее пунцовой наготе была какая-то непристойность, срам, который хотелось прикрыть. Здесь побывал Перельмутер со своей больной печенью и гнилостным запахом, здесь елозили их тела, утверждая страшную истину: в человеке заложен импульс, столь безусловный и разительный, что, прорвавшись наружу, он не посчитается ни с чем, а ведь человек может прожить всю жизнь, так и не испытав его силы. Обжалованию не подлежит. Венера над растерзанной жертвой. Перельмутер.

— Вы уж постарайтесь, миленький, — настроившись на привычный лад, запричитала женщина. — Пречистая Богородица будет вам защитой, Святая Дева замолит ваши грехи.

На этот раз в качестве заступницы она выбрала только родительницу Христа, будто не полагаясь на то, что святые мужского пола смогут понять ее женскую душу.

Петр встал проводить его до ворот. Медленно и основательно он вытер ладони от клейкой сырости огурца (причем, у него и у женщины это движение выходило удивительно похожим), достал из огромного кармана садовые ножницы и срезал адвокату пригожую ветку жасмина.

— Запах его для здоровья полезный, — сказал он, улыбаясь. — Понюхаешь и забудешь все беды.

В его словах, казалось, мелькнуло какое-то понимание, будто что-то пробилось сквозь толстую оболочку, но искра тут же погасла. Петр, скромно потупившись, стоял у железных ворот монастыря. Выглядел он на удивление благообразно.

Ночью адвокат долго не мог заснуть, а когда под утро задремал, ему приснилось, что в воздух должен подняться тяжелый бомбардировщик времен мировой

войны, а взлетной полосой ему служит улица, кишася людьми. На вопрос, как это допустили, ему ответили, что все давным-давно научились увертываться от этого самолета и поэтому нет необходимости в специальной взлетной площадке. Проснулся он в ужасе. Будто чуть-чуть не попал под колеса.

Контакты адвоката с внешним миром протекали большей частью довольно гладко. Порой в его присутствии выходили из себя клиенты или возмущались свидетели, но их всегда удавалось осадить заранее выверенной и несколько выпендренной речью, либо угрозой закона, либо используя всю широту полномочий суда, а если надо, — то и всего государства. В юридической практике ему крайне редко доводилось сталкиваться с такой безудержной животной силой, которая, сорвавшись с цепи, все крушит на своем пути. Но тут ему казалось, что, к чему ни прикоснешься, все немедленно оборачивается чем-то иным, будто в его квартиру ворвались чужие люди и превратили ее в ярмарку или цирковой балаган. Весельчаком был здесь не только Перельмутер, все они были веселыми, какая-то развеселая братия. Несчастной среди них была только девушка, такой несчастной, что уважающий себя человек просто не мог на это смотреть. Не передать ли дело стажеру, подумал адвокат, он помоложе, ему оно может показаться занятным, и он не будет так уж доискиваться, где здесь правда. Но он понимал, что теперь уже слишком поздно, и ему самому придется завершить начатое. Только отныне он будет иметь дело с бумагами, а не с людьми, зарекся адвокат. Нельзя так увлекаться людьми. Он велел секретарше не записывать к нему на прием никого из этой шати. Пусть говорит, что он занят. Сам же написал письмо в Московскую патриархию с просьбой выяснить и сообщить ему, еврейка эта женщина или не еврейка. Никогда в жизни он не был так уверен в правильности того, что делает, как в тот момент, когда сочинял официальные фразы письма, запечатывал красным сургучом конверт с фото-

копиями документов, выбирал другой конверт побольше и надписывал его, выводя завитушки букв далекого детства. Потом он послал секретаршу на почтамт, велел отправить пакет заказной почтой. Квитанцию он сначала положил в портмоне, потом передумал и спрятал в сейф. Теперь все будет в порядке, решил адвокат, механизм налажен, он не выйдет из строя, и никаких зигзагов, никаких неожиданностей.

Его пакет прибудет в Москву в мешке вместе с другой заграничной почтой, его сгрузят с самолета во Внуково. Там, конечно, уже холодно, настоящий мороз. Почтовые служащие и грузчики в шапках-ушанках. Потом пакет ляжет на стол дьячка-секретаря в холодных внутренних покоях старой церкви, где пахнет ладаном и тусклым золотом, поблескивают иконы, а впрочем, нет, это я уж того, думал адвокат, это же канцелярия, там на стенах, должно быть, портреты руководителей партии и правительства. Молодой служитель в черном клобуке, из-под которого выбиваются кудри, передаст почту патриарху, старику в роскошных ризах с волнистой бородой (раз в неделю он завивает ее щипцами в парикмахерской по соседству), на его широкой груди большой крест, нос картошкой с красными прожилками, на пальцах золотые кольца. Православная церковь любит золото еще больше, чем католическая. Наверное, в память о византийском прошлом с сумеречными сводами, золотом, тайными сокровищами, рукописями и нескончаемыми кознями. А пуще всего — обрядами, в неземной величественности которых печать небесного царства. Патриарх возьмет ручку (интересно, есть ли у него уже шариковая) и напишет в дальние епархии и приходы, а впрочем, зачем ему писать — в канцелярии наверняка есть телефон, ведь ни Николай-угодник, ни Святой Онуфрий, ни другие темнолицые позолоченные бородачи не возбраняют пользоваться телефоном. Тамошние священники будут рыться в церковных архивах и найдут свидетельство о крещении, самые старые из них припомнят, как было дело, а вечером сельский поп будет расска-

зывать древнему деду или бабке, что пришло письмо из Израиля, со Святой Земли и что там хотят знать про дочь Захара и Евдокии, царствие им небесное. Дети будут выпрашивать израильские марки, но поп не даст, потому как сам филателист.

Все это, разумеется, при условии, что Перельмутер солгал.

Русская церковь оказалась расторопной, и вскоре почтальон принес в контору большой заказной пакет с аляповатыми русскими марками — космические спутники и лицо Терешковой* — и роскошными красными штемпелями.

Адвокат извинился перед клиентом, сидевшим у него в кабинете, вышел в соседнюю комнату и, сгорая от нетерпения, распечатал конверт.

Московская церковь шлет ему свои наилучшие пожелания и с Божьей помощью уведомляет, что женщина — христианка и предки ее, по крайней мере, в трех поколениях, как по отцу, так и по матери — доподлинные и истые христиане, всякое же другое мнение ложно, и да благословит Бог всех, идущих дорогой правды и мира, аминь.

На этот раз Перельмутер пришел вместе с Розой, но велел ей сидеть в коридоре и ждать. Она уселась на стул, покорно и безучастно, но ее глазки-пуговицы не упускали ни крупницы происходящего вокруг. Мимо нее проходили неполадившие компаньоны, должники, протестующие против описи имущества, спорщики, давшие волю рукам, супруги, расторгающие брак, истцы и ответчики, в большинстве своем шумные, иные — напуганные. Роза сидела, слегка расставив ноги, и ждала Перельмутера.

Судья был строг.

— Господин Перельмутер, почему же вы ввели суд в заблуждение, утверждая, что она еврейка?

* Терешкова — советская женщина-космонавт.

Перельмутер понурил голову.

— Так она мне сказала, господин судья. Что мне было делать? Я и поверил. Разве ж у всех, кто вам скажет чего, потребуешь документы?

Адвокат поспешил закрепить победу.

— Итак, господин судья, женщина — нееврейка, отчим — нееврей, и, стало быть, нет никаких оснований задерживать постановление об удочерении, которое наконец определит статус девушки.

— Я согласен, — подытожил судья. — Господин Перельмутер, если вам больше нечего сказать, вы можете идти.

— Я больной человек, — сказал Перельмутер, — и все эти переживания...

— Это для вас наилучший выход, — не удержался адвокат, чтобы хоть немного свести счеты. — В коридоре вас ждет жена. Она о вас заботится. Берите ее и езжайте домой.

— Я тут ни в чем не виноват, — сказал Перельмутер. Его лицо отливало желтизной. — Честное слово. Я верю тому, что мне говорят. А иначе, как же жить на свете?

Он вышел, волоча ноги. Двери еще не закрылись, когда послышался его короткий окрик. Он звал женщину, у которой находился на иждивении.

— Роза! Роза! Кум а-гер!*

Ступай, возвращайся в свой квартал Копель, приятель, про себя напутствовал его адвокат, к кефиру и майке, к своей альте мойд, к своей пуговичной греховоднице, галантерейщице, праведнице со слегка расставленными ногами, которую никто не видел никогда без круглой брошки и без серег. Ступай с глаз долой.

Дальше все пошло как по маслу. Женщину вместе с дочерью и с Петром вызвали в канцелярию судьи. Постановление об удочерении было подписано и заверено. Петр, огромный, неуклюжий и лучезарный,

* Кум а-гер (идиш) — иди сюда.

долго жал руку адвокату и порывался пожать руку судье, но тот отличался повышенной чувствительностью и не выносил прикосновений. Петру было не до таких тонкостей, и он удовлетворился тем, что сжал в своих ручищах угол судейского стола. Дочь в обнимку с матерью благодарили адвоката и благословляли его на смеси двух языков, до тех пор, пока он не выводил их из кабинета, подталкивая и понукая, как пастух, сгоняющий стадо с проезжей дороги. Перельмутера с Розой не было видно. Должно быть, они уехали домой. И хорошо, подумал адвокат, нельзя смешивать разные породы, разные веры, разных людей. Это приводит к сумятице, к хаосу, к столпотворению.

Вернувшись в контору, он позвал стажера и рассказал ему всю историю, а потом, от избытка чувств довольный и умиротворенный, пригласил его обедать в ресторан на втором этаже, где готовили по-домашнему. В мире все стало на свои места.

Во второй половине дня в двери конторы забарабанило сразу несколько кулаков. Дверь распахнулась прежде, чем секретарша успела подойти к ней, и в комнату вторгся огромный букет аляповатых красных роз, одна в одну, как подбирают в цветочных магазинах, с непременно веточками аспарагуса, целлофаном и серебристыми лентами. За ней вплыла коробка конфет — такие секретарша видела только на витринах и была всегда уверена, что это муляж для рекламы. Все это и еще пакеты и свертки несли четыре человека: Петр, женщина, дочь и Перельмутер. От них пахло спиртным, пахло гулянкой, раскатившейся вкривь и вкось. Дочь держала в руках большую хрустальную чашу грубой работы, щедро отделанную золотом сверху и по бокам. В чаше покоилась тяжелая золотая ложка, выглядевшая на редкость православно. Перельмутер нес бутылку коньяка, другая бутылка, почти пустая, выглядывала у него из кармана. Уму непостижимо, куда они девали Розу, подумал адвокат, но понял, что, учитывая их состояние, спрашивать об

этом бессмысленно.

Они ввалились в кабинет как раз в тот момент, когда он вынимал из сейфа ценные бумаги. Оторопев, он едва успел захлопнуть дверцу сейфа. Они усадили его, завалили приношениями и затащили:

— Многая лета, многая лета!

— Выпей с нами, миленький, выпей, братишка, ну, пожалуйста, — взмолилась женщина, ставя перед ним коньяк.

— Из хрусталя, да из золота, — защебетала дочь и, обращаясь к Петру, скомандовала. — Папа, давай.

Перед адвокатом поставили хрустальную уродину, налили коньяк и, как он не отнекивался, заставили выпить. Каждый из них по очереди отхлебнул из бутылки, явно не первой.

— Но, господа, вы же находитесь в официальном учреждении. Я вам очень признателен, но нельзя же...

— Многая лета, многая лета!

— За здоровье нашего адвоката!

— За государство Израиль! За церковь!

— Думаете, я не умею молиться по-еврейски? — распаясь, кричала женщина. — Еще как! Шма Исроиль, Адониной Элойгейну*.

— Амен, амен!

Петр подскочил к секретарше, застывшей в дверях, как истинный рыцарь и джентльмен взял ее под руку и подвел к столу.

— Пойдем, сестричка, — проревел он по-русски, — пойдем, выпей с нами, у нас сегодня радость.

Пучок роз упал на пол. Перельмутер попытался поднять их, но у него закружилась голова, он сел на пол и, глядя на розы, залился смехом. Девушка протянула ему руку:

— Папа, вставай сейчас же, так неприлично.

Значит, оба они ей папы. И тут у адвоката екнуло

* Искаженная выдержка из ежедневной молитвы в манере произношения, принятой в ашкеназских общинах, в частности, в Советском Союзе.

сердце — он заметил, что большой палец девушки, короткий и загнутый молоточком — точная копия перельмутерского. Будто отлитые по одной форме. Истина ускользала безвозвратно. В глазах у него поплыло.

— Наш господин адвокат — душка! — на иврите прокричал Перельмутер с ковра.

Женщина перекрестила адвоката.

— Пусть уж ваш Мессия приходит, тогда все на свете будут как братья.

— Генерал, ведите нас в море, — басом по-польски запел Петр. Голос срывался и Петр явно фальшивил. — Ведите нас в океан, на про-о-стор!

— Наш господин адвокат — душка! — опять закричал Перельмутер и, размахивая руками, чтоб не потерять равновесие, встал на ноги.

— Государство Израиль — душка! — сказала дочь. Она сняла жавшие ей туфли, но не выпускала их из рук.

— Генерал, мы пойдем за вами. За вами в синее море!

— Выпей, миленький, выпей, — просила женщина, утирая слезы. — Ты не бойся, тут все свои.

Адвокату пришлось выпить еще. Голова совсем пошла кругом.

— Вызвать полицию? — спросила секретарша, улыбаясь во весь рот и обнажая десны.

— Нет, нет, не надо, они уймутся сами — сейчас уймутся. Только, если можно, немного воды...

Гипсовый бюст Вейцмана*, стоявший на столе, упал и разбился.

— Что же вы наделали, родненькие, — раскудахталась женщина. — Пришли поблагодарить господина адвоката, а вместо этого пакостите. Стоял у него Ленин — хорошенький, беленький, а вы побили, побили его, безобразники.

* Имеется в виду Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль.

— Мы ему купим стату́ю, — сказал Петр. — Мы ему купим десять стату́й.

— Наш господин адвокат — душка!

— В Канаду! В Канаду! Выпьем за Канаду!

Опьянение было прозрачным и светлым. Адвоката подняло и закружило, как в те далекие дни, когда его, ребенка, распаленного обидой и желанием отомстить, брыкающегося, подхватывали и отрывали от земли руки высокой смеющейся матери, и он становился совсем беспомощным. Равновесие нарушалось, и в этом странным образом сочеталось нечто постыдное с чем-то умиротворяющим. Высокие, резкие голоса женщин звучали по-ангельски, запах коньяка, звон бокалов, глянцевого блеск целлофана, нездешний аромат роз — все это сливалось в теплую, сладостную, слепую волну, и в том, что он отдавался ей, было что-то непристойное, но устоять не было сил. В этот момент ему стало пронзительно ясно, что есть кто-то, кто понимает лучше его, но кто это и о каком понимании идет речь, он не знал. Его окружали улыбки и теплота, будто необъятный мир взрослых, прекрасных и всемогущих, принял его, провинившегося ребенка, и обладал, простив ему все, только в чем состояла его вина, он, хоть убейте, вспомнить не мог. Было приятно чувствовать себя ребенком. Было приятно, затаив дыхание, чего-то стыдиться, и потому он уступал им во всем, пил, когда наливали, отвечал улыбкой на улыбку. Грехи ему отпустили. Но какие грехи? Все равно. Он готов признаться во всем. Мир за пределами его мира был намного шире и привлекательнее, чем он полагал. В этом мире все будет учтено — и он, и все его логические построения. Все было ошибкой и все прощено. Ему поднесли еще, и он выпил старательно и целеустремленно. На глаза навернулись слезы благодарности. Адвокат встал. Колени слегка дрожали.

— Друзья мои, я вам очень признателен, спасибо вам от всего сердца, но сейчас вам пора уходить, час ранний...

Все четверо перецеловались с ним. Каждый, оставляя после себя сильный запах коньяка и веселья, поцеловал его дважды — в правую и левую щеку. Казалось, они не уйдут никогда. Кто-то то и дело возвращался от двери, благодарил, жал руку. Перельмутер опять полез целоваться.

— Мы ведь мешаем, будет, пойдем, — возвестил архангел Петр. Они наконец ушли, и их оживленный гомон доносился потом из коридора.

Из соседней конторы выглянул агент по газетным вырезкам и пробурчал:

— Поздравляю, не знал, что у вас день рождения.

Секретарша прыснула.

В кабинете остались осколки бюста, пучок роз на ковре и хрустальная чаша с золотой ложкой. Адвокат опять подумал, что в жизни ему не приходилось видеть более безобразной вещи.

— Видите эту чашу? — спросил он секретаршу. — Так забирайте ее себе.

— Но ведь она дорогая, — сказала секретарша, алчно глядя на хрусталь.

Адвокат отмахнулся.

— Берите, берите, мне она ни к чему. И уберите розы. Здесь не уборная примадонны.

В кабинете наконец было прибрано, и можно было запирать. У адвоката разболелась голова. Он даже забыл купить сыр Каценбаху. Машина завелась не сразу. Домой он пришел уже с невыносимой головной болью и чувством вселенского всепрощения. Открыл огромную коробку шоколада, но оказалось, что от старости шоколад побелел и крошится под пальцами. Конечно, кто покупает такие коробки? Наверное, простояла на витрине лет двадцать. Он собрал все и понес выносить в мусорное ведро. Стоило ему наклониться, как его вывернуло от обильной выпивки, к которой он не привык. "Нет, эти острые ощущения не для меня, — думал он, укладываясь в постель без ужина и без душа. — Завтра новый день. Завтра все будет иначе".

Он было задремал, как вдруг откуда-то из живота начал подниматься смех. Прогнав дремоту, адвокат сел в кровати и захохотал во все горло. Этот смех, пьяный лишь отчасти, все прибывал и усиливался, как дождь после долгой засухи. Он спугнул Каценбаха, спавшего в ногах. Кот прыгнул с кровати и удрал на кухню.

— Все-таки интересно, как им удалось отделаться от Розы, — громко сказал он в темноту.

Смех набегал волна за волной. Все еще смеясь, он широко и облегченно зевнул, лег и уснул как убитый.

Давид Шахар родился в Иерусалиме в 1926 г. Изучал психологию и филологию в Еврейском университете в Иерусалиме. Любимая тема Д. Шахара — Иерусалим, и ей он посвятил четыре сборника рассказов и роман-эпопею "Чертог разбитых сосудов". Хотя персонажи его произведений — это жители Иерусалима последних лет, в них неотступно присутствует вся многовековая история города. Произведения переведены на ряд иностранных языков; удостоен многих премий, в т.ч. Бялика, а также премии Медисис во Франции (1981).

О ТЕНЯХ И ОБРАЗЕ

1

В семнадцать лет Эфраим ушел из дому и несколько недель гостил у чужих людей. Его отец, конечно, знал об этом, но, к нашему удивлению, не вмешался и даже не пытался заставить сына изменить свое странное решение. Я сказал "к нашему удивлению", потому что тогда нам еще не было известно о событиях, которые потрясли семейство Великого Раввина Ахарона Сегала, как называли люди Эфраимова отца, хотя официально тот никогда не занимал пост раввина, и я не уверен, что он был большим знатоком Мишны, библейских изречений и прочего, без чего просто невозможно быть раввином. Не надо думать, что отец Эфраима хоть раз попытался украсить себя званием, ему не принадлежащим, но он все же не воспротивился, когда его стали величать "раввином", — так уж принято. По профессии он был бухгалтер, но средства к существованию ему давала должность заведующего сиротским домом; сверх того он состоял членом квартального комите-

та и еще ряда других комитетов, которые в ту пору множились как грибы после дождя. Он был фанатик порядка и насаждению одного отдавал всего себя безраздельно. Если какое-нибудь учреждение или комитет оказывались неспособны выбраться из накопившейся за годы неразберихи, то приглашали его — как приглашают на консилиум знаменитого эскулапа в том случае, когда познания местного врача оказываются недостаточными, чтобы исцелить больного; и, подобно знаменитому медицинскому светилу, отец Эфраима знал себе цену и был тверд и непреклонен в своих суждениях. Роста он был невысокого, но крепок и широкоплеч. Бороду носил короткую, квадратную, всегда аккуратно подстриженную и причесанную, вполне соответствующую его телосложению, как и положено человеку, любящему неукоснительный порядок, а взгляд его маленьких черных глаз стремительно и неудержимо проникал во все. Если шум, возникший в каком-нибудь классе приютской школы, достигал его кабинета, он вставал, направлялся в класс и едва открывал дверь, как немедленно воцарялась тишина. А поскольку уже одно его появление восстанавливало порядок, ему никогда не приходилось поднимать на детей руку. И точно так же, как он умело выявлял зачинщика безобразий в сиротском приюте, он обнаруживал ошибку в grossбухе какого-нибудь учреждения. В молодости он выпустил учебник по бухгалтерии, и, хотя книга была написана устаревшим языком и изобиловала сокращениями, принятыми скорее в талмудическом трактате, материал был распределен и изложен в образцовой последовательности. Возможно, он посвятил бы себя исключительно счетоводству и работал только ревизором, не испытывая он такой страсти вмешиваться в общественные дела и вникать в самую суть наиболее злободневных вопросов окружающей жизни.

Как ни странно, этому поборнику порядка никак не удавалось навести порядок в собственном доме.

Жена была моложе его на десять лет, ростом же — выше на полголовы. Со дня свадьбы и по самый день ее смерти он поучал жену как вести хозяйство и как быть бережливой, — но все безуспешно. Она погибла в результате несчастного случая, возвращаясь вечером со свадьбы близкого родственника. Ее, двух других женщин и ребенка сбил пьяный водитель английской военной автомашины, выруливший на тротуар. К тому времени Эфраиму, младшему в доме, исполнилось семнадцать, а обе его сестры и старший брат уже обзавелись собственными семьями. В молодости мать была красива, и следы красоты сохранились на ее лице до самой смерти. Люди говорили, что она легкомысленна, и она и в самом деле была со странностями, отличаясь от своих соседок и подруг, хотя по сравнению с эмансипированными женщинами ее поведение было очень религиозным, а запросы — намного сдержаннее, скромнее и понятнее. Ее супруг, властный и тяжелый с другими, так и не сумел подчинить ее себе, и его суровый, пронзительный взгляд смягчался и плавился, когда он смотрел на жену, и случалось, под ее взором он отводил глаза. В то время как он пытался экономить, урезать расходы, жить скромнее, она тратила его зарплату как попало — во всяком случае, так полагал он и так считали соседи. Она покупала на рынке все самое дорогое, детей одевала в самое красивое, да и сама наряжалась в платья, повергавшие в смущение окружающих, а больше всех — мужа. Он, Великий Раввин, заведующий сиротским домом и член квартального комитета, полагал, что наряды его благоверной, матери взрослых сыновей и дочерей, должны приличествовать ее возрасту и положению. Нет, Боже упаси подумать, что она одевалась, как распутница, но ее платья были слишком яркими, а шелковые чулки — слишком тонкими. А вместо головного платка она надевала, отправляясь на рынок, красивую маленькую шляпку. Сам он мог бы проходить в одном костюме десять лет, но она и его

заставляла обзаводиться новым костюмом каждые два-три года. Она приучала его к этому с первых лет супружества. Года через два после свадьбы она намекнула, что ему нужен новый костюм. Это его потрясло, и он принялся ей втолковывать, что в платье, которое человек справил к собственной свадьбе, он вполне может проходить до свадьбы своих сыновей. Она не стала спорить, — все равно в словесных баталиях его не победишь, — но спустя неделю преспокойно извлекала из комода отрез дорогой английской ткани и сказала ему:

— Вот возьми и поди отдай шить себе костюм. И он взял, пошел и отдал шить.

В то время, как в их квартале еще сплошь пользовались керосиновыми лампами, Шейндл — так ее звали, и это имя как нельзя более подходило ей* — провела в доме электрическое освещение, а вслед за тем наш Великий Раввин Ахарон Сегал был вынужден купить радио, электрический уют и электрическую печку. Так ему никогда и не удалось что-то скопить на черный день. И потому он жил в непреодолимом страхе перед будущим.

Если бы не Эфраим, он мог бы гордиться в душе тем, что вырастил сыновей людьми добрыми и благочестивыми. Старший сын, с детства одаренный приятным голосом, женился на девушке из хорошей семьи и уехал в Америку, где приобрел известность как прекрасный кантор. Обе дочери тоже вышли замуж за достойных молодых людей. Один из них был торговым поставщиком, и счастье улыбнулось ему в делах, а другой — выпускником религиозного училища, человеком строгим, знающим, с помощью тестя получившим место преподавателя в сиротском приюте. И если мысли о старшем сыне и обеих дочерях радовали отцовское сердце, то Эфраим причинял ему лишь страдания — чем дальше, тем больше.

*Шейндл — красавица (идиш).

Еще не родившись на свет, Эфраим не знал пока, сильно толкался в чреве матери, а при рождении запутался в пуповине и чуть не задохнулся. Первые три года был слабым и болезненным. Нос и горло всегда заложены. Ощущение, что он вот-вот задохнется, и страх перед этим кошмаром сопровождали все его детство. Однажды, когда миновал тяжелый кризис и Эфраим начал выздоравливать, мать усадила его среди подушек, чтобы он мог смотреть в окно. Вечерело, и колесо солнца, спускающегося меж огненных облаков, повисших над иерусалимскими горами, излучало малиновый свет. Пораженный, мальчик не отрываясь глядел на это действо, пока солнце не исчезло и крыши окружающих домов не обозначились во всей своей уродливой наготе. Это запечатлелось в его душе первым ясным воспоминанием, вместе с великой и безотчетной тоской по свету, что проникал из-за небесного предела, из-за гор, из-за неведомых далей. Тоска по красоте извечно связана с отвращением к уродству. Резкое ощущение красок дрожало в нем, вызывая подчас чувство огромного счастья.

Когда ему было шесть лет, он гулял однажды с матерью по весенней улице Яфо. Вся улица была залита солнцем, солнечные лучи отражались от каждого окна. Мать надела белое платье с большими синими цветами и широкополую соломенную шляпу. Он вдруг поднял глаза — и великая любовь к матери захлестнула его. Стало ему радостно, что вот он жив и здоров, что та, которая идет рядом с ним, — его мама, что на улице так много света. Они миновали лавку, где продавались картины, и мать, бегло взглянув на витрину, пошла было дальше, но Эфраим точно прирос к месту... Середину окна занимала большая картина: три лошади на лугу. Две лошади терлись шеями в порыве любви и силы, а третья щипала траву. Те, что нежно льнули друг к дружке, были кра-

сновато-коричневые, а третья — синяя. Краски жили своей собственной жизнью и ощущались так непосредственно, что, казалось, стекают с картины и, подобно освежающему напитку, наполняют жаждущий рот.

С тех пор Эфраим что ни день просил:

Мама, пойдем к лошадям.

Вначале она не понимала, чего он хочет, а когда разобралась, отвергла его просьбу. И тогда Эфраим решил пойти один. Неожиданно для себя он оказался в Старом городе. Огромные камни древних стен угрожающе громоздились вокруг него, множество больших и маленьких арабов толкались и оглушительно кричали.

— Что ты здесь делаешь, черт побери?! — вдруг закричал на него кто-то знакомым голосом.

Он повернулся и увидел доктора Вайнштока, врача из их квартала. Как всегда летом, доктор был в белой английской панаме и белом костюме. Он взял мальчика за руку, и они вместе пошли по крутой, узкой улочке наверх, к пролетке, запряженной парой вороных лошадей. Сидение было обито зеленым плюшем. Кучер — араб в красной феске — потянул вожжи, взмахнул кнутом, и лошади дружно припустили легкой рысью. Временами они охлестывали себя хвостами по ляжкам, их спины блестели как шелк и отражали солнечный свет.

— Что ты искал один в Старом городе? — спросил доктор.

Эфраим был захвачен удовольствием езды, вопрос озадачил его, и он признался:

— Лошадей.

— А-а, — сказал врач. — Наверное, ты хочешь стать кучером...

— Да, — сказал Эфраим, но не потому, что хотел стать кучером, а потому, что почувствовал: такой ответ удовлетворит доктора. Он впервые в жизни ехал в экипаже, и ему чудилось, что они пустились в стремительное плавание. Мимо проносились боль-

шие и малые дома, а люди, — взрослые и дети, — казалось, шагают вспять. Это удовольствие, как и вообще все удовольствия на свете — было недолгим. Пролетка остановилась, доктор опустил Эфраима на землю неподалеку от дома и сказал:

— Не ходи больше один в Старый город глазеть на лошадей. А теперь — живо домой.

И только после того, как закрылась за Эфраимом дверь, пролетка тронулась и покатила дальше. На другой день Эфраима отдали в школу.

3

Школа, куда определили Эфраима, содержалась фондом "Мизрахи". Она открылась года за два до того. Возможно, его послали бы в другую, обычную начальную религиозную школу, не будь директором этой приятелем Эфраимова отца еще с юности, когда оба они учились в религиозном училище. В первый же день школа испугала Эфраима, и страх поразил и не покидал его все годы учебы. Множество детей — маленьких и постарше, — гвалт, беготня, учителя, коридоры и классы — все это казалось ему кошмарным сном. Учитель и ученики, и все, что говорилось, и все, что происходило, — доносились до него словно сквозь завесу тумана, и он целиком был занят окном да эвкалиптовым деревом, что за окном. В первые же школьные часы охватило его ощущение удушья, как в те ночи, когда он был болен; в перемены, выходя на воздух, он всячески старался держаться подальше от общего гвалта. Продолжительно дребезжал колокольчик, с тоскою в душе он шел в класс и старался не слышать голос учителя — тот голос, что звучал в ушах, когда он поздно вечером засыпал. Учителем был еврей лет шестидесяти, с голосом хриплым и нетерпеливым, подобным скрежету камня по жести. Эфраим не мешал учителю, а тот не замечал его, Эфраима, присутствия — и так шло до того

дня, когда в классе начали учить: "В начале сотворил Бог небо и землю. На земле же был хаос, и тьма над бездною, и дух Божий витал над водою". Учитель читал библейские стихи голосом металлическим, хриплым, и Эфраиму этот хаос представлялся похожим на то, что он испытывал во время болезни: все вокруг смешивалось, кровать куда-то проваливалась, а потом ощущение удушья миновало, заложенный нос и горло освобождались — дух Божий парил над ним свежим дуновением, — он спокойно вдыхал благодатный воздух, воздух жизни, и — да будет день, воздух и солнце. И вдруг услышал Эфраим свой собственный пылкий возглас:

— А кто же сотворил Бога?

Хриплый голос учителя смолк, все обратили взор на Эфраима, словно удивляясь этому существу: вот уже давно сидит он среди них, а они его раньше почему-то не замечали. Учитель с учениками успели дойти до сотворения всех зверей земных по роду их и скота по роду его, и всех гадов по роду их...

— Чтобы задать вопрос, поднимают руку, — сказал учитель и кашлянул.

Эфраим поднял руку и повторил вопрос.

— Бог был всегда, — сказал учитель. — Как мы произносим во время утренней молитвы?.. "Без начала, без конца... предвосхитивший все, что сотворено, изначальный, и нет ничего раньше Его первоначальности, и Он — превыше всего".

Вернувшись домой, Эфраим хотел тот же вопрос задать отцу, однако почувствовал, что отец ответит подобно учителю и с тем же недовольным лицом. Поэтому он подошел к матери, которая была занята на кухне, и тихо спросил:

— Мама, кто сотворил Бога?

Мать в это время мыла посуду. Она вытерла руки передником и взглянула на сына. И вдруг подняла его на руки, прижала к груди и очень крепко поцеловала.

— Майн кинд, — сказала она на идиш. — Мой маль-

чик! Да ведь такого, как ты, нет на всем белом свете.

И он успокоился, полегчало ему, и некое чувство, будто между ним и матерью существует глубокая тайна, известная лишь им двоим, захлестнуло его. На другой день подошел к нему мальчишка и спросил:

— Это почему у тебя нос в веснушках?

Эфраим не знал, что у него на носу веснушки, и не понимал, что означает это слово.

— Нет у меня никаких веснушек, — ответил Эфраим; он заподозрил, что веснушки — это плохо.

— Ну да, нету... Вот, спроси хоть у Мати.

Подошел Мати и заключил:

— У всех рыжих нос в веснушках.

— А у тебя еще и ноздри видно, — сказал первый мальчишка и дернул Эфраима за волосы так, что у того слезы едва не брызнули из глаз.

Он хотел убежать, но они схватили его за руки; он попытался вырваться — и завязалась драка. Мальчишки повалили его на землю и принялись дубасить. Эфраим боролся изо всех сил, руками и ногами, весь перепачкался в земле, пыль набилась в горло, один из мальчишек уселся ему на грудь, Эфраим почувствовал, что задыхается, и испустил громкий крик. В тот же вечер он заболел и целую неделю бредил в жару. Выздоровев, отворил дверь большого шкафа и посмотрел в зеркало на внутренней стороне двери. Он увидел лохматые красновато-коричневые волосы, вздернутый кверху нос, а на нем — веснушки, полным-полно веснушек.

— Мама, почему я рыжий? — спросил он.

Мать удивленно на него взглянула, потом улыбнулась и сказала:

— У тебя красивые волосы, Эфраим. Они такого же цвета, как мои, а меня никогда не называли рыжей.

Она сняла платок, которым дома покрывала голову, и — по плечам заструился поток шелковистых каштановых волос. В эту минуту вошел отец. Он

остановился, бледность расплылась по его лицу, словно он застал жену обнаженной, однако не произнес ни слова и поспешно прошел в другую комнату, а сердце у него в груди продолжало учащенно биться.

Вечером, засыпая, он слышал голоса родителей в соседней комнате.

— Ребенку достается в школе от других детей, — говорила мать. — Он слабый, и они его колотят.

— Его побили старшеклассники, — сказал отец. — Я говорил с директором, он сказал, что их уже наказали. Однако меня беспокоит не это, а то, что мальчишка рассеян, не слушает на уроках, отстаёт в учебе. Дичится детей, грезит о чем-то наяву, а когда его недавно вызвали к доске, так он не смог выполнить простого арифметического действия. Задает вопросы, которые к делу не относятся, а спрашивают — отвечает невпопад.

Эфраим почувствовал, что тело покрывается гусиной кожей. Он зарылся лицом в подушку и долго плакал, пока не уснул. Назавтра отказывался идти в школу, хотя выздоровел. Отца не было дома, и мать решила: пусть останется. Когда отец узнал об этом, между родителями разгорелся спор, который скоро перешел в ссору. Отец винил мать, что та отпускает сына, намекнул, что, не воспитывая как положено, она вырастит из него бандита. Не пообедав, он ушел из дому злой, а мать со слезами на глазах удалилась на кухню.

Прошла еще неделя. Эфраим не ходил в школу. Вместо этого он бродил себе в удовольствие по пустырям в районе Санхедрии. Была весна, и все вокруг утопало в теплом запахе земли и солнечном свете. Однажды, подойдя к надгробьям судей Синедриона, он увидел женщину и мужчину, что сидели и рисовали. Мужчина — углем, она — кистью.

— Чья картина красивее? — внезапно спросил мужчина, не прерывая работу и не оборачиваясь к Эфраиму.

— Вашей жены, — ответил Эфраим. В душе он счи-

тал, что картина мужчины безобразна. Ничего он на ней не различал, кроме черных угольных пятен.

Оба рассмеялись.

— Так ты решил, что это моя жена? — снова спросил художник, не глядя на него.

— Перестань умничать, — недовольно сказала женщина. — Видишь, в живописи он смыслит больше тебя.

На художнице была оранжевая блузка в обтяжку и синие брюки. Она вытерла кисть перепачканным лоскутом, а затем наклонилась и принялась что-то искать в корзине, стоящей возле камня. Ее узкая блузка задралась, показалась полоска белого тела и краешек розовых панталон. Художник протянул мизинец и пощекотал голое место на ее пояснице, женщина пронзительно взвизгнула и с силой шлепнула его по руке.

— Еще раз так сделаешь, — сказала она, — и я, честное слово, не пойду больше с тобой рисовать.

Она достала из корзины пачечку жевательной резинки: пластинку взяла себе, а другую протянула Эфраиму.

— Присаживайся, — сказала.

Он сел подле нее и украдкой взглянул на художника. Тот углубился в работу и перестал замечать их присутствие.

— А теперь скажи-ка мне, — сказала она, — почему ты не в школе?

— Потому что не хочу, — ответил Эфраим и отчего-то покраснел. Он представил себе, что стоит у доски и не может решить примера, учитель уставился тяжелым, сверлящим взглядом, и весь класс тоже смотрит на него. Потом вспомнились мальчишки, которые его побили.

Художница взглянула на него и улыбнулась, а он добавил:

— Я болел.

— Есть вещи, которые приходится делать, даже если это против нашей воли, — сказала она. — Вот

я обязана целыми вечерами мыть посуду в ресторане, чтоб заработать, а потом сесть и порисовать.

— Я тоже согласен мыть посуду в ресторане, — вызвался Эфраим с жаром.

И он уже видел, как по вечерам моет посуду, и зато может свободно отпрапляться на весь день далеко-далеко, куда душе угодно.

— Придет время, ты еще загрустишь по школе, — сказала художница и подняла глаза на башню пророка Самуила.

Эфраиму показалось, что он видит грусть в ее глазах, и ему стало жаль, что она попусту тратит грусть на школу и тому подобный вздор.

4

Дома отец встретил его злым, пронзительным взглядом:

— Если и дальше будешь слоняться целыми днями по улицам, станешь черным, как какой-нибудь йеменец, и невеждой, как Абдель Азиз.

Абдель Азиз был субботним гоем*. Одна рука у него была короткой и тонкой и висела, как ненужный придаток. Эфраим не стал объяснять, что не слонялся по улицам, а бродил по пустырям. Он не сомневался, что в глазах отца бродить по пустырям — грех похуже, чем прогуливаться по улицам. Он незаметно подошел к шкафу и глянул в зеркало: может, рыжие волосы почернели, но увидел, что они казались теперь даже еще светлее из-за потемневшего от загара лица.

— Иди умойся, — сказала мать, надевая шляпу и, как видно, собираясь уходить. — Если обещаешь вести себя хорошо, возьму тебя с собой погулять.

* Прозвище иноверцев, которые по субботам, когда евреям запрещено трудиться, зажигают и гасят свет в синагоге, а также делают другую работу. (Прим. перев.)

Эфраим взглянул на отца, который почему-то не проявил никаких признаков раздражения, услышав такое. Едва за ними закрылась дверь и они оказались на улице, волна радости охватила Эфраима. Он любил гулять с матерью и испытывал гордость, оттого что идет рядом с ней. Они неторопливо шли и вдруг очутились возле школы. Эфраим было попятился, у него часто забилося сердце, молнией ужалила мысль, что мать обманула, предала, и вся эта прогулка задумана, чтобы привести его в школу. Мать сказала мягко:

— Не бойся, Эфраимл, я не стану тебя заставлять, только давай подойдем и посмотрим на детей.

Они наблюдали из-за забора, как шумно играют дети. Эфраим долго, не проронив ни звука, стоял, смотрел и — потянулся душою к ним.

Наутро он с бьющимся сердцем встал с постели, надел ранец и пошел в школу сам, не пожелав, чтобы мать провожала его. В кармане он сжимал плотно заклеенный конверт с запиской, которую отец написал для учителя. Он не выпускал конверт из руки, словно то был амулет. Вошел в школьный двор и едва совладал с желанием взять и убежать, и, может, так бы и сделал, не попадись ему на глаза тот самый мальчишка, который унизил и поколотил его. Эфраим вспыхнул и бросился на него, мальчишка вывернулся и полетел стрелой прочь. Эфраим ринулся за ним в коридор и — застрял головой между коленями учителя.

— Да ведь это Эфраим, — промолвил потрясенный учитель. — Он самый и никто иной.

Эфраим не находил что сказать, он задыхался от быстрого бега и от испуга и, увидев возле себя раскрытую ладонь учителя, сунул в нее конверт с запиской, промямлив:

— Я — Эфраим... Я болел... Тут, в конверте... все написано.

— Ну-ну, — произнес учитель и, похоже, смутился не меньше, чем его буйный ученик. — Уж вижу, что

выздоровел. Выглядишь, слава Богу, здоровым и крепким, чтоб не сглазить. Надеюсь, с этого дня ты всегда будешь здоров, и школу станешь посещать исправно, и учиться прилежно.

Эти первые годы учебы остались в памяти Эфраима чем-то вроде лесной глухомани, душной, гнетущей, наполненной мраком, где только изредка мерцал слабый солнечный луч — и пропадал. Не сбылось предсказание художницы: не грустить ему в будущем по школьным дням... Разве что по годам учебы в гимназии... Поворот, как представлялось ему потом, был резким и ясным и произошел из-за одного изречения Иеремии. Однажды, в удушье классной комнаты, в сером тумане, что облепил его со всех сторон, стирая все чувства и мысли, внезапно, молнией во мгле, сверкнул стих: "Иди и возгласи дщери Иерусалимской: так сказал Господь: помню Я юных лет твоих благочестие, любовь твою, когда была невестою, когда следовала за Мною в пустыне, по земле незасеянной...". И вдруг поднялась и переполнила душу скрытая тоска по ней, доброй, чистой, красивой — поразительно красивой, — босиком ступающей следом за Ним по раскаленному песку пустыни. Давным-давно иссякли от тягот силы, но она продолжает идти — не собственным силам благодаря, а силою юной своей любви. И потому теперь — поскольку не сохранила она память о юной той любви — напоминает Он ей о юном ее благочестии, что растаяло, как сама юность. Она, дщерь Иерусалимская, была ему мамой, а Он, Господь, отцом ему был. Строгим и требовательным, повелевающим и беспрестанно возлагающим долги, посильные и непосильные. Но, несмотря на это, а может, как раз потому — ведь Он всегда прав — ты молишься Ему, славимь Его и превозносишь неустанно, любишь Его не иначе, как именно в те мгновения слабости Его, когда отказывает Он в милости Своей перед лицом ее греховного своеволия, и все это — из-за великой Его любви.

Учеба на учительских курсах началась для Эфраима счастливее, чем когда-то в школе. Он поздоровел и окреп, совсем избавился от неуверенности и лишь продолжал ощущать какую-то неприятную одинокость среди незнакомых людей. На новый путь он вступил с добрым намерением быть хорошим учеником, заслужить расположение товарищей и учителей, и, по-видимому, ничто не мешало этому осуществиться. Он не стремился навязать кому-то свою волю. Ничуть не властолюбивый, он довольствовался тем, что другие не нарушали его покой, и даже когда нарочно злили — не раздражался, кроме тех случаев, когда при нем творилась несправедливость или его самого пытались втянуть в бессмысленное и совершенно пустое дело. Тогда он становился упрямым и был готов к неизбежным столкновениям. Чаще всего он уединялся на санхедрийских пустырях — то ли оттого, что в закрытой комнате испытывал ощущение удушья, то ли просто хотел избежать столкновений с отцом, который усматривал в чтении романов пустую трату времени и безделье, неизбежно доводящее до греха. За чтением Эфраим проводил все время, свободное от неизбежной учебы и столь же неизбежных молитв, а в классе сидел со скучающим лицом. Насколько удавалось, он старался не сближаться с соучениками; все вокруг так и оставалось ему чуждым. Давно уже не верил он в святость молитв и восхвалений, в обязательность большинства предписаний и запретов, и, в сущности, никогда не мог уяснить, зачем он должен так часто каждый день молиться и славить Бога: ведь рожден-то он помимо своего желания, и так же невольно предстоит ему умереть. При всем огромном чувстве к Богу, какое он только мог в себе вместить и которое безраздельно охватывало его, он не в состоянии был ужиться с мыслью, что это Бог требует от него исполнения всех двухсот сорока

восьми предписаний и соблюдения всех трехсот шестидесяти пяти запретов; и точно так же, как не умел смириться с человеческим насилием, так восставал он в душе против насилия Бога над людьми. Отцовской власти, власти учителей и прочих наместников общества и Бога на земле он подчинялся, покуда не охватывало его ощущение удушья и пока мог еще воздерживаться от столкновений. Чувство собственной греховности пугало его с младенческих лет; на каждом шагу, что бы ни делал, он уверял себя, что совершает проступок. И пребывал он в своих глазах великим грешником до того дня, когда начал изучать поздних пророков. Он все возвращался и вчитывался в них, и они вновь и вновь дарили ему свое великое прощение. "Сказано тебе, человек, что есть добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, милосердным быть и смиренно ходить перед Богом твоим".

Шли дни, он пытался сдержать растущее брожение, но оно искало разрядки. И однажды в субботу, выйдя, как обычно, погулять за городом, понял он, что не может больше оставаться в религиозном училище. Уже само решение принесло ему чувство облегчения и свободы. Он свернул к Талпиоту*, — и остановился на склоне. Старый город целиком лежал перед ним, как на картине: весь — древность, покой, великолепие; равнодушный к новым кварталам, что лепились вокруг него, словно пчелиные соты. Эфраим уселся на камень, достал из кармана книгу и, уже настроившись на продолжительное чтение, заметил на склоне внизу женщину. Она рисовала. Мгновенно, раньше, чем он отчетливо рассмотрел ее лицо, пронзило Эфраима чувство, что она — та самая художница, с которой повстречался он лет десять назад, возле синедрионских могил. Он спрятал книгу в карман и спустился. Да, это была она, разве

* Талпиот — район Иерусалима, примыкающий с юга к Старому городу. (Прим. перев.)

что узкая прядь седых волос обозначилась над ее лбом. Она держала в губах сигарету и из-за табачного дыма рисовала, прищурив один глаз, а еще — потому что сосредоточенно вглядывалась в собственный рисунок. Эфраим стоял позади, женщина не оборачивалась, и он уже решил вернуться на прежнее место, но какое-то слабое искушение толкало его познакомиться. Меняя кисть, она мельком взглянула на Эфраима, и он улыбнулся ей. Она продолжала рисовать, потом вновь удивленно взглянула на него.

— Меня зовут Эфраим, — неожиданно вырвалось у него, и он покраснел до корней волос. Он готов был провалиться сквозь землю. "Чего это вдруг тебе вздумалось знакомиться с нею?" — вопрошал он себя.

— Очень приятно, — ответила она, все так же продолжая рисовать. Потом добавила:

— А меня Варда.

Она рисовала, а он стоял на прежнем месте, хотя чувствовал себя так, будто под ним горит земля, и был готов убежать в любую секунду.

— Чего ты стоишь? Сядь, — сказала она, не глядя на него и все так же занимаясь своим делом.

— Спасибо, — сказал он и сел, рдея лицом, сбоку от нее, чуть поодаль, и смотрел на рисунок.

— Вам не мешает, что я сижу и смотрю, как вы рисуете? — спросил он после долгого молчания.

— Да нет, не особенно, — сказала она.

"Ясно, она видит во мне помеху, и отослала бы меня подальше, если б не хорошее воспитание", — подумал Эфраим и решил, что самое время распрощаться и исчезнуть, но тут она прибавила вполне дружелюбно:

— В те времена, когда я только начинала, люди, что собирались за спиной и наблюдали, мешали мне, я чувствовала, будто выставлена напоказ, и портила свои работы, но со временем научилась вытеснять из сознания присутствие посторонних.

— А знаете, — сказал он, убедившись, что она не

испытывает к нему неприязни, — десять лет назад, когда я был еще маленьким, мы встретились на пустырях Санхедрии. С вами там сидел еще один художник.

Варда отложила кисть и удивленно взглянула на него.

— Ты уверен? — спросила она. — Если так — память у тебя просто поразительная. Сколько тебе было лет?

— Тогда — семь, — сказал Эфраим. — А зрительная память у меня и в самом деле хорошая. Я вас узнал по той позе, в которой вы сидите. Хотя тогда на вас были длинные синие брюки, а сейчас вы в юбке. А как поживает художник, который был с вами в тот раз?

Варда смущенно улыбнулась и сказала:

— Сказать правду, я что-то не помню, — и, немного погодя, добавила, как бы извиняясь. — Видишь ли, десять лет назад я еще училась в художественной школе и частенько ходила рисовать с однокурсниками.

Почему-то Эфраиму захотелось, чтобы она вспомнила, как обстояло дело.

— Вы тогда мыли посуду в ресторане, чтобы заработать, а художник был очень худой и все хотел к вам притронуться.

Варда расхохоталась так, что Эфраим стал смеяться вместе с ней, хотя легкий румянец стыда все еще растекался по его щекам.

— Значит, это было вскоре после того, как я ушла из киббуца. Директор школы был мой родственник, и он предложил мне работу в школьной библиотеке, но я не желала пользоваться блатом. Мыть посуду в ресторане, казалось мне, больше подходит для молодой художницы, делающей первые шаги в чужом и враждебном мире. В то время меня еще одолевали горькие чувства — как всякого, кто покидает киббуц, — вроде как солдата, что бежал с поля боя. А вот мыть посуду — это было чем-то вроде подкупа собственной совести.

Эфраим дрожал от умиления и сочувствия, слушая ее. Впервые человек совершенно чужой разговаривал с ним так откровенно. Она рисовала, а он наблюдал за ее работой и не произносил ни слова.

— Ты интересуешься искусством?

Он помедлил, чтобы ответить точно и честно:

— Нет у меня никакого художественного образования. Но я всегда чувствовал цвет. В детстве любил рисовать.

Она бросила на него быстрый, испытующий взгляд — мол, из твоих слов можно заключить, что теперь ты древний старик. И Эфраим поспешил добавить:

— Но то была детская забава, вроде игры. С годами это прошло.

— Как тебе картина? — спросила она почти небрежно и не глядя на него.

Эфраим посмотрел на картину долгим взглядом, она показалась ему слишком размытой.

— Мне трудно выразить свое мнение, — сказал он. — Во всяком случае, Иерусалим я рисовал бы маслом, а не акварелью. Я точно не знаю, рисованию я не учился, но мне кажется, что для тех, кто владеет красками... у масляных красок возможности почти неограниченные.

Художница собиралась что-то сказать, но раздумала, достала сигарету и протянула Эфраиму. Тот на секунду смутился, затем взял и сунул в рот. Она чиркнула спичкой, он втянул воздух и закурил. Потом она собрала кисти, и они пошли вместе. Улыбаясь, она сказала:

— В этой каскетке ты похож на религиозного.

И Эфраим стал отрывисто и смущенно рассказывать ей про свою веру. Художница слушала все больше увлекаясь, и так они дошли, беседуя, до ее дома.

Тут он распрощался и хотел было уходить, но она удержала и пригласила его на чашку чая.

— Смотри-ка, — промолвила она. — А я и не зна-

ла, сколько хлопот у религиозного человека с верой. Разве что из книг...

Эфраим улыбнулся, смущение исчезло.

— Будь добр, позвони, — сказала она.

Во рту у нее была сигарета, руки заняты картиной и мольбертом. Эфраим нажал кнопку звонка.

6

Дверь открыл мужчина лет пятидесяти, борода-тый и растрепанный. Из шорт песочного цвета торчали бледные волосатые ноги, обутые в комнатные туфли. Клетчатая рубашка была распорота по шву, из-под нее выглядывала грудь, поросшая седоватыми волосами. По лицу разливалась широкая, добрая улыбка.

— Шалом, — приветствовал он входивших, обнаружив голос крепкий, глубокий и задушевный, с отчетливым русским выговором. Он взял из рук Варды мольберт и кисти и звучно поцеловал ее в губы. — Ну как, сегодня муза была к тебе благосклонна? — спросил он слегка насмешливо и вместе с тем сочувственно, как это свойственно любящим и заведомо прощающим людям.

— Не знаю, — ответила Варда. — По крайней мере, этому юноше картина не приглянулась. Кстати, знакомьтесь. Это Эфраим, молодой человек, интересующийся вопросами веры.

— Очень рад, — сказал хозяин дома. — А меня зовут Даниэль, я — химик. Так, значит, — добавил он все тем же насмешливо-снисходительным тоном старших, — значит, вы хотите исследовать проблемы религии? Это хорошо, очень хорошо. Я тоже в молодости немного занимался этим, но в конце концов пришел к выводу, что легче исследовать строение вещества, чем углубляться в изучение души.

Эфраиму было неловко. Ему казалось, что Варда переборщила, и химик думает, что перед ним сту-

дент, изучающий религиозную философию. Он хотел объяснить хозяину, но тот вдруг воскликнул:

— Забыл, совсем забыл, лук сгорит!

И с проворностью, неожиданной для его возраста, помчался на кухню.

Варда провела Эфраима в комнату. Одна из стен была заставлена полками с книгами на европейских языках, на остальных висели картины. Стояли два трехногих столика, маленькие стулья, диван, этажерки со статуэтками.

— Твой отец, как видно, решил, что я студент-философ, — сказал Эфраим и в тот же миг понял по ее лицу, что допустил огромную, ужасную ошибку. Художница быстро взглянула на него:

— Как?! Он показался тебе таким уж старым, а я — такой молодой? Ты не видишь, какая я седая? — Она выпустила из своей прически белую прядь, а затем с силой дунула, так что прядь взлетела над ее головой. — Мне уже тридцать два, а Даниэль — мой муж.

Эфраим пожалел, что земля не разверзлась и не поглотила его прежде, чем он обронил это слово — "отец". Однако Варда тут же улыбнулась и сказала успокаивающе:

— Ну, не расстраивайся слишком, не ты первый ошибся. Я уж привыкла. К тому же я ему не только жена, я еще училась у него почти целый год.

— Он что, профессор? — удивился Эфраим.

— Еще нет, он пока старший преподаватель, но надеется, что на будущий год его назначат помощником профессора.

"Так значит, она профессорская жена, — подумал Эфраим и глянул на нее изучающе. — Профессорская жена утром в субботу рисует в безлюдных местах, а профессор тем временем готовит дома обед..."

— Пока Даниэль не позвал обедать, Расскажи-ка мне еще о жизни верующих, — попросила Варда, продолжая прерванный разговор, и в голосе ее, когда она произносила эти слова — "о жизни верующих" —

было такое любопытство, как если бы речь шла о жизни китайцев, о которых нам известно лишь по слухам или из книг.

Подошло время обедать, но Эфраим вспомнил, что ему срочно нужно домой — ведь нынче суббота, отец наверняка давно вернулся из синагоги. Он стал извиняться и все повторял им обоим — Варде и ее мужу — ”большое спасибо, большое спасибо...”. И поспешно ушел.

Всю дорогу он размышлял о них. Незамысловатость их быта и поведения была для него как приятное, освежающее дуновение. Вся же собственная жизнь казалась опутанной указаниями, запретами и тревогами. И ко всему, покоя не давала мысль, что профессор подумал, будто он, Эфраим, студент, а ведь он пока всего лишь семинарист и не занимается исследованиями религии; вроде бы он обманул профессора.

Образ жизни этой семьи был ему тогда непонятен. Лишь потом, посещая их дом в течение многих месяцев, он понял, что профессор никогда не знал, чем в точности занимаются и на что живут все эти ”люди искусства”, как он их называл, которые вечно толкуются у него в доме. Он, по его собственным словам, не умел нарисовать даже ”домик под красной крышей, с окном и дверью”, произведения искусства не производили на него никакого впечатления — в особенности произведения современного искусства. По вечерам комната Варды заполнялась художниками, скульпторами, а также просто людьми, ”смыслящими” в этом деле. Кроме того, бывал один поэт, а иногда, случалось, появлялся некто, бывший когда-то профессором этрусского языка в итальянском университете. Этот откровенно презирал остальных гостей — всех вместе и каждого в отдельности, но никто не обижался, поскольку знали, что для него есть одно достойное этого имени искусство — этрусское, и другого не существует.

Мать встретила Эфраима на пороге и спросила:

— Где ты пропадал? И почему ты такой красный? Опять гулял по солнцу?

Он что-то пробормотал, а ее лицо вдруг помрачнело, стало беспокойным, и она прошептала:

— Иди прополощи рот. Быстро! Чтобы отец не почувствовал.

Только теперь он догадался, что от него несет табаком. И вновь охватила его тоска. Все запреты и предписания, — даже самые ничтожные, — которым он следовал до сего дня по привычке, не вдумываясь, доводили его теперь до кипения. Он все более утверждался в мысли оставить училище, перейти в светскую школу, но не знал, как это сделать. Ночью он не сомкнул глаз, заснул лишь на рассвете, спал беспокойно, и мучили его дурные сны. Утром, невыспавшийся и разбитый, он не помнил ничего из того, что снилось, кроме последнего обрывка странного разговора с отцом. Отец, в таллите и филактериях, стоял на стене Старого города, а Эфраим сидел внизу, на камне, и рисовал отца. Вдруг отец спрыгнул со стены, разорвал рисунок и закричал, срывая голос: "Ах ты, преступный сын, развратник, прелюбодей! Ты прелюбодействовал с замужней женщиной, замужней женщиной!". Вдруг возникла Варда, подняла клочки бумаги, а отец набросился на нее, стал избивать. Но в тот миг, когда он ее ударил, это была уже не Варда, а мать, и удары она сносила тихо и покорно и не произносила ни слова. "Не бей маму!" — закричал Эфраим. "Она изменница и шлюха! — кричал отец. — Шлюха, шлюха!.."

В школе Эфраим, весь под впечатлением сна, был рассеян и не мог взять себя в руки. На перемене подошел к нему один ученик и сказал, что его срочно вызывает директор. У него замерло сердце, и в кабинет директора он вошел, чувствуя, что сейчас-то наверняка произойдет нечто важное.

Директор, человек лет шестидесяти пяти, высокий, приятной наружности, сидел за столом и листал бумаги. Мельком взглянув на вошедшего Эфраима, он предложил ему сесть, а сам продолжал заниматься своим делом. Эфраиму показалось, что директор отчего-то растерян и не знает, как приступить к делу, ради которого вызвал его. Покончив с бумагами, директор откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы и — произнес речь, превозносящую до небес Эфраимова отца и все его семейство. Было ясно, что после такого начала должно последовать нечто прямо противоположное, например: "А ты, сын та к и х родителей..." и т. д. и т. п. Вышло похоже, однако директор заговорил о том, чего Эфраим никак не предполагал услышать.

— Эфраим, — неожиданно сказал он. — Вчера я видел тебя на главной улице Иерусалима с сигаретой во рту.

Эфраим побледнел. На секунду он поддался желанию оправдаться, но тут же сверкнула мысль, что вот она — та возможность, которой он ждал.

— Ну да, — спокойно ответил он. — Я курил в субботу.

И тут вновь произошло такое, чего он не ожидал. Он готовился услышать брань и назидания, а директор встал, подошел, любовно и мягко положил ему на плечо руку и произнес:

— Эфраим, сынок, ты один из лучших и способнейших юношей в школе, и я знаю, в жизни каждого верующего юноши бывают времена кризиса. Так оно и должно быть. В тебе заключены мощные инстинкты, и, возможно, твой ангел-искуситель ужасно силен. Как раз по этому поводу сказано: "У того, кто сильнее других, страсти — сильнее его". И во всем народе не найти праведника, что не согрешил.

Зазвенел звонок, надо было возвращаться в класс, но директор велел остаться, и они продолжали разговор. Слово за словом Эфраим изложил директору свое отношение к вере.

— Бог есть, — говорил Эфраим. — Но Он не требует, чтобы я надевал шляпу и молился по три раза на день и чтоб не курил в субботу. Бог требует только одного: чтобы я не причинял зла людям.

Директор слушал терпеливо и вовсе не поражался тому, что слышал. Потом стал объяснять, что не каждый способен постичь глубинный смысл всех шестисот тринадцати заповедей, и посему человек не вправе позволить себе больше, нежели предписывают заповеди, которых он не понимает.

— Ничему нет предела, — продолжал он тихим голосом. — Ступив на путь прегрешений, человек не знает, что его ждет в конце. И если он начинает с курения в субботу, то в конце концов дойдет до отрицания веры, до краж, грабежа и — не приведи Господь — до убийства.

Все отчетливей понимал Эфраим, как мало общего у него с директором. Он чувствовал приближение приступа удушья, чувствовал, что больше не может. Из конца этого разговора запомнилось ему только одно: директор не возражает, если Эфраим пропустит два или три дня занятий, чтобы побыть наедине с собой, разобраться в своей душе, а потом вернется в училище с проясненным умом. Эфраим взял сумку, вышел во двор, открыл калитку и оказался на улице. И стало ему понятно, что учеба его в религиозной учительской семинарии закончилась. Но облегчения не наступило. Напротив, заполнило его горькое чувство утраты, бессилия и какая-то неизъяснимая, древняя, великая душевная боль.

Домой он не пошел, бродил по улицам, покуда не оказался за городом. Среди камней в старой оливковой роще пробыл он до заката солнца. Есть не хотелось, и как ни старался он привести в порядок свои мысли, они становились все путаннее, и наконец он предался череде каких-то смутных переживаний, которые состояли сплошь из образов теплой земли, диких цветов, скал, пористых и растрескавшихся древесных стволов, парящих в небе легких

облаков с золочеными краями, бронзовых мух, жужжащих вокруг капель смолы, да фиолетовой гряды гор на горизонте. Он лег под раскидистой оливой, положив голову на сумку, и прищурил глаза, так что видел только прядь, свитую из золотых и серебряных нитей, протянувшихся к нему от солнца. А потом задремал.

Очнулся он от холода. Встал, увидел солнце, исчезающее вдаль за вершинами гор. На душе было легко. По дороге домой насвистывал какую-то веселую песенку и хотя не знал еще, что скажет отцу, в душе был уверен, что как бы то ни было, все устроится отныне и будет хорошо. Дома никого не было, у дверей стояли соседки и переговаривались вполголоса. Затем к Эфраиму подошла старуха — родственница, как видно, ибо лицо ее было ему знакомо, хотя он не знал наверняка, кто она. Старуха говорила что-то малопонятное, но наконец он уловил, что должен срочно идти в больницу и что его мать без сознания. С той минуты, как вечером ее сбил военный автомобиль, и до полуночи, когда она умерла, сознание так и не вернулось к ней.

8

Первые дни траура отец не мог говорить: рыдания подступали к горлу, душили его. Однако вскоре он преодолел слабость и стал еще более строгим, неукоснительно-придирчивым, чем всегда. Щадя отца, Эфраим в эти дни был послушен ему во всем, но даже тогда подспудно бушевали в нем странные и мощные чувства, каких он раньше не ведал. В ночь после смерти матери приснилось ему, что он вместе с Вардой пошел рисовать за город. Она была в оранжевой блузке и синих брюках — как в тот раз, когда он, семилетний, встретил ее впервые. Он рисовал масляными красками чудесную картину, а Варда с восхищением смотрела на него. И вдруг скинула с

себя блузку и сказала: "Ну, иди, возьми меня..." Он потянулся к ней, чтобы снять с нее брюки, но в этот миг проснулся, и первая мысль была, что матери больше нет.

Эфраим не помнил себя. Две недели ходил, как лунатик, и не мог отказаться от мысли о художнице. Он понял, что непременно должен ее повидать, может, это вернет ему какой-никакой покой. Однажды он подошел к зеркалу: взгляду предстали растрепанные густые волосы, черная, в клочьях, борода, отросшая за две недели; запавшие глаза окружала синева.

"Ну и страшилище! — сказал он себе. — Волосы красней вина, а бородища черная. Такой рожи всякий испугается".

И выскочил на улицу. Миновав свой квартал, он бросил шапку в мусорный ящик и направился в парикмахерскую.

— Постричь, побрить? — спросил парикмахер.

— То и другое, — сказал Эфраим. — Короткую стрижку, по-английски.

Впервые в жизни Эфраим брился у парикмахера, и тот не оставил волос ни на висках, ни на затылке. Выйдя из парикмахерской, он почувствовал себя полуголым. Когда он подошел к дому художницы, солнце стояло в зените и палило во всю мочь. Капли пота текли по лицу и телу. Эфраим остановился передохнуть. Гулко стучало сердце. Он подождал, чтобы дать успокоиться сердцу, но оно билось все сильнее. Дрожащей рукой он позвонил и стал ждать. Дверь открыла Варда — в белых шортах под коротким кухонным фартучком. Бедрa у нее были шире, чем можно было предположить, а раньше, в платье, она казалась тонкой и легонькой. В левой руке она держала половник — видно, кухарничала. Похоже, что с первого взгляда она его не узнала, прищурилась вопросительно, но тут же улыбнулась и пригласила войти. Она прошла в кухню, он — за нею.

— А знаешь, — сказала она, — ты ужасно похож

на Джимми. Джимми — он ирландец, археолог, чудный парень.

Эфраим не мог сообразить, хорошо ли это. "Чудный парень..." Ему никто никогда не говорил такого — "чудный парень", наоборот — ему всегда доставалось из-за цвета волос.

— Когда я был маленьким, мальчишки дразнили меня рыжим, потом, правда, волосы потемнели.

Она стояла к нему спиной, помешивая в кастрюле. Его так и подмывало поцеловать ее в затылок. Она обернулась, посмотрела на него очень внимательно, а он, не в силах выдержать ее взгляд, опустил глаза на носки своих ботинок, будто вдруг обнаружил там что-то особенное.

— Волосы у тебя как раз красивые, — сказала она. — Если хочешь, я могу тебя нарисовать.

И тут он внезапно вздрогнул и промолвил:

— У меня мама умерла. Две недели назад. Ее пьяный англичанин сбил.

Варда побледнела. Половник скользнул из рук в раковину.

Он стоял перед ней, выпрямившись и дрожа, будто в лихорадке. Она подошла, взяла его за руку и сказала:

— Поверь, мне очень жаль.

— Она была чудная, — проговорил Эфраим. На глазах у него выступили слезы, ему не удалось их сдержать. — Добрая, и красивая, и чудесная... И уже две недели, как ее нет.

Он закрыл лицо ладонями и, пошатываясь, пошел в соседнюю комнату, там опустился на диван и глухо зарыдал. Пошарил в кармане, но не нашел платка, и тут же ощутил прикосновение чего-то мягкого, шелкового к своим глазам и сквозь пелену слез увидел Варду, склонившуюся над ним и утирающую ему слезы.

Его охватил стыд, он хотел было встать, но она мягко удержала его рукой и сказала:

— погоди минутку, я принесу воды.

Он весь встрепенулся, схватил ее протянутую руку и пылко поцеловал. Когда она вышла, он вскочил и бросился вон, на улицу.

Он быстро шел и беспрестанно бормотал:

— Ничтожество... Ну и ничтожество, грязный, гнусный клоп...

Он вновь и вновь вспоминал, как заявился к ней в дом, и чем дольше думал об этом, тем больше презирал себя и изобличал себя в подлости. Больше всего он злился, что упомянул мать. И что поцеловал Варде руку. "Какой позор!" — думал он. Затем пришла мысль, что если бы он, придя к художнице, не сказал ни слова, а взял ее силой там, на кухне, где она стояла, даже это не было бы столь позорно. И он поклялся, что больше не увидит ее лица.

Время перевалило за полдень, и Эфраим по привычке направился домой, но вдруг остановился. Он вспомнил, что на голове у него нет шапки, что он сбрил бороду. И это в середине тридцатидневного траура по матери... Отец, за последние дни оправившийся от горя, стал еще требовательней и жестче, чем при жизни жены. Смягчающее влияние, которое она оказывала на мужа, и бессилие, что охватывало его, когда он сталкивался с ней лицом к лицу, исчезли с ее смертью. И только прибавилось колкости, желчности и уверенности в своей всегдашней правоте. Эфраим помнил, что перед тем, как мать ушла на свадьбу, с которой не вернулась, между родителями случилась небольшая размолвка. Отец не хотел, чтобы она шла: он всегда был против ее прогулок и отлучек. Эфраим догадывался: отец в глубине души уверен, что если бы мать послушалась, "все было бы иначе", и что смерть явилась как бы наказанием, ниспосланным с небес. Эта тайная мысль отца злила Эфраима до бесчувствия. Он читал ее в отцовских глазах — что бы тот ни говорил, чем бы ни занимался.

Эфраим остановился на перекрестке, возле здания, где помещались разные учреждения. Он чувствовал себя одиноким и бездомным, как никогда.

Кучками стали вываливаться из контор служащие и вскоре заполнили весь тротуар. Вдруг сердце Эфраима замерло: с противоположной стороны переходили мостовую несколько его однокашников с портфелями в руках. У всех на голове были шляпы, все выглядели радостными и громко переговаривались. Эфраим свернул в переулок, чтобы избежать встречи: с бывшими соучениками у него уже не было ничего общего. Он чувствовал себя так, словно внезапно состарился, — еще не успев расцвести, — и был почти уверен, что никогда больше не сядет за парту.

На углу продавали фалафель. Эфраим купил фалафель и тут же стоя съел, а затем зашел в крохотное кафе — два стола и четыре стула. Он присел к столу, заказал апельсиновый сок, потом еще и пачку английских сигарет. Выпустил дым и задумался: вот сидит он, предоставленный сам себе, словно вольная птичка, никому ничего не должен, и на душе пусто. Он знал, что займется чем-то очень, очень важным, срочным, вот только не помнил он, чем именно и как к этому приступить. Он вдруг встал с готовым решением немедленно идти к Варде и сказать ей "то самое" или, может, все написать в записке и подсунуть под дверь. Подошла официантка, он расплатился, взял сдачу и подсчитал: всей наличности оставалось не более полуфунта.

Тут вошли двое рослых, краснолицых англичан-полицейских. Один уселся сразу — еще раньше, чем Эфраим направился к выходу. Нога полицейского торчала в проходе, и Эфраим, споткнувшись, наступил на нее. Полицейский вскочил, свирепо глянул на него и процедил сквозь зубы:

— Грязная свинья.

От полицейского разило коньячным перегаром, смешанным с запахом английских сигарет. И Эфраиму удручающе ясно представилось, что это тот самый англичанин, который сбил его мать. Он увидел ее лицо, искаженное страшной болью, и в тот же миг

схватил со стола бутылку из-под сока и ударил полицейского по голове. Форменная фуражка скатилась под стол и обнажились тщательно расчесанные, до блеска смазанные жиром волосы. Они были того же цвета, что у Эфраима — красновато-коричневые, разве что от жира приобрели более темный оттенок. Второй полицейский, который стоял к ним спиной, болтая с буфетчицей, обернулся и увидел Эфраима с бутылкой в руке и своего товарища, бессильно разбросавшего ноги и уронившего голову на плечо. В первый миг он не сообразил, что произошло, Эфраим мог свободно улизнуть, но почему-то застыл на месте, крепко сжимая в руке горлышко бутылки.

9

Эфраима задержали на двое суток — для следствия и привлечения к суду. По дороге в тюрьму он сидел между теми самыми двумя полицейскими, которые быстро, не меняя ни прямой позы, ни простодушного выражения, застывшего на их лицах, наносили ему удары под ребра. А он не пытался ни защищаться, ни отвечать на удары. Какой-то душевный покой снизошел на него, некое странное веселье из-за внезапного, неожиданного освобождения от всяких забот, от необходимости думать и принимать решения. Теперь, когда его судьба находилась в руках этих чужеземцев, мысли как будто выпростались из телесной оболочки и парили, вольные и чистые, в пустоте вселенной. "Сидящий в небесах усмешается, Господь насмешается над ними..." Этот стих из Библии снова и снова вспоминался ему, и мысли, взлетая до самой скамеечки под ногами у Господа Бога, разыгрывали вместе с Ним маленькую забавную пьеску:

Эй, парнишка, сын добропорядочных родителей! Эй, ты, красноголовый, с веснушками на курносом носу, ты, что никак не найдешь себе покоя, жаждешь величия и терпишь поражение в каждом пустяке,

ведь твой удел — конфузиться и перед людьми, и в собственных глазах. Ради права закурить в субботу и тому подобных ничтожных, ребяческих прав ты объявляешь войну Торе, врученной Моисею на Синае, — Торе, за которую гибли тысячи и тысячи твоих соплеменников на протяжении сотни поколений. А ты готов сражаться "до последней капли крови" — по известному напыщенному выражению — за "свободу мнений", мнений, тебе самому в сущности не понятных. И эта война — она тоже не более как бессмысленное издевательство над отцом по всякому мелкому поводу, доводящее того до бессильной ярости и, выражаясь высоким языком Торы, "сводящее его седины с печалию в могилу". И кто же сводит его седины с печалию в могилу? Он, "дражайший сын мой, Эфраим", то самое милое дитя, которое, покуда было мало, подхватывало тяжелую простуду при каждом дуновении, но едва подросло и почуяло в себе силу — тут же объявило войну "за свободу", и ничего ему не надо, кроме свободы, и отродясь оно не чувствовало себя таким свободным, как в эти минуты, когда его с почетом везут в тюрьму. Там, в тюрьме, наконец-то вырвется его душа на свободу и воспарит — ни решетка, ни дверные запоры ей не помеха — и пойдет она возноситься все выше и выше, пока не достигнет... самой себя. Да, самой себя. И вот этот милый ребенок сыскал себе женщину, старше его пятнадцатью годами, и тут же влюбился в нее "с первого взгляда", — как ему кажется, еще будучи семилетним дитятей. Уже тогда, как опять-таки кажется ему, он ревновал свою возлюбленную к тому худому усатому художнику, что протянул к ней мизинец. А запомнились ему из всего облика этой женщины лишь глаза, которые его тогда потрясли, ну просто сразили. Большие, карие, светящиеся. Глядя на нее, он видел только эти глаза, и они его ослепляли. Мысли смешивались, и оставалась лишь страсть — такая пронзительная, что душа замирала.

Итак, он освободился настолько, что полюбил замужнюю женщину. Только, может, это была не свобода, а напротив, ужасная неволя, порабощение души? Чтоб пойти к ней, он сбрил бороду, снял волосы, выбросил шапку в мусорный ящик — и все это во время траура по матери, — а по дороге размышлял о предметах вольных, да о том, что сказал бы отцу, повстречайся с ним в эту минуту, или директору, возмись тот его сейчас убеждать. Но если по правде, — ни о чем-то он не думал, не видел ничего и не слышал, и ни до чего не было ему дела.

Ее, единственную, видел,
Ее лучистые глаза...

То-то же. А Господь сидит на небе, прячет под усами улыбку и поглядывает в подзорную трубу, длинную такую, наподобие телескопа, в который астрономы смотрят на небесные светила, — поглядывает Он в этот телескоп и видит нашего "дорогого сына", что скачет как козленок с философии на поэзию, туда-сюда, туда и обратно, пока стихи не одолеют его вконец, и тогда вдруг выясняется, что душа-то у него по-э-ти-че-ска-я. Сидит Господь на небе, смотрит на него, Эфраима, в телескоп: ведь без телескопа и рассмотреть невозможно, ибо он всего лишь ничтожество, клоп в образе человеческом. Да не просто клоп, умоляющий о благосклонности к своей душе, очарованной поэзией и пытающейся извлечь из тайников — своей клопиной души тайников — поэтические строки:

Не ведали румян ланиты,
Она к благоуханьям равнодушна.
Но сколько света источают очи...
О дева статная, как ты желанна!

Не ведали румян ланиты,
Но сколько света источают очи...

Кажется ему, Эфраиму, что сказано это не иначе

как о Варде, и не опереди его поэт, он сам сложил бы о ней именно эти стихи. Вот бы спеть ему такую песню, что до сих пор никем не спета, сказать ей такие слова, которых еще никто не произносил. А вместо этого он всего лишь чмокнул ее поспешно в руку и убежал как от огня.

Полицейский — тот, что получил от Эфраима бутылкой по голове, — достал из кармана сигарету и закурил. На лбу у него красовался большой синяк, и, чтобы утишить боль, он прикладывал к синяку платок, который официантка смочила холодной водой. Эфраим разглядывал синяк с большим интересом и даже хотел сказать полицейскому, что лучшее средство от синяков — приложить лезвие ножа: так однажды делала ему соседка, когда ему разбили лоб камнем. Но в тот самый миг, как он открыл рот, полицейский врезал ему локтем под ребро, и Эфраим понял, что, причинив полицейскому боль, он почему-то сильно оскорбил того. А ведает ли этот человек, что такое любовь? Любил ли он хоть раз в своей жизни? — думал Эфраим. Одному Господу Богу известно, что там, в мозгах у этого гоя. Эфраим взглянул на второго полицейского. Этот тоже сидел с замкнутой, красной физиономией, пусто уставившись прямо перед собой.

В тюрьме Эфраим не видел никого, кроме араба, что сидел с ним в камере, и надзирателя, приносившего темную, чуть теплую жижу под названием "чай" да грубый хлеб. Араб, старик лет семидесяти, пырнул жену ножом во время размолвки, и он не произносил ни слова и ничего не делал, только сидел на тюфяке и плакал. "Старик наверняка когда-то любил свою жену, а может, и до сих пор любит, — думал Эфраим, и вновь перед ним всплывало лицо Варды, ибо о чем бы он ни думал, мысли в конце концов возвращались к ней, Варде. — Может, он отдал бы все, что есть в доме, из-за любви к ней, но вдруг взял и ударил ножом женщину, которую любил". Глаза у старика были мокрыми и опухли от

слез, слюна ползла с губы на редкую бороду, кожа на лице была смуглой и сморщившейся, как старый пергамент. Отвратительный запах исходил от него, и весь он был крайне противный, и не оставалось ничего, вызывающего к нему сочувствие, разве что этот непрестанный глухой плач. "И этот человек однажды любил, а может, и поныне любит, и он тоже сделан по образу и подобию Божьему". Дрожь пробрала Эфраима, и он почувствовал, что лишь присутствие Варды могло бы все разрешить.

По прошествии двух дней Эфраима привели в кабинет к дежурному офицеру, и тот сообщил ему, что, согласно полученному указанию, заключение продлевается еще на двое суток — до суда. Если он, Эфраим, хочет, то может связаться с родными или защитником. "Варда", — подумал Эфраим и тут же попросил телефонную книгу, долго рылся в ней, но имени Варды не нашел. Тогда ему пришлось в голову позвонить ее мужу в университет. Он набрал номер коммутатора, но мужа Варды не застал. Эфраим попросил телефонистку, чтобы та передала доктору просьбу. Он не был уверен, что телефонистка поняла суть дела, и когда вернулся в камеру, его охватило почти отчаяние. Все двое суток, пока не предстал перед судьей, он не желал никого и ничего, кроме Варды.

Его доставили в длинный коридор, где было полным-полно народу — таких же, как он, обвиняемых. Усатый араб, здешний служащий, каждые пять минут выпархивал из комнаты, где происходило судебное разбирательство, прикладывал ладонь рупором ко рту и оглушительной длинной трелью, словно муэдзин с минарета, призывающий верующих к молитве, провозглашал имя очередного подсудимого. Когда усатый появлялся, все ожидавшие суда вставали, тесно обступали его и прикладывали ладонь к уху. И тот, кому выпадало счастье услышать свое имя, произнесенное так громогласно, бежал, протискивался к глашатаю, по пути всем своим видом

выказывая тому исключительное почтение, и затем уже с его помощью прокладывал себе дорогу в роковую комнату. Оказалось, что в этот день судили за легкие преступления, и суд был быстрым: каждое дело заканчивалось в несколько минут. Эфраим то и дело озирался, ища глазами Варду, но не находил. Внезапно он услышал свое имя, произнесенное с арабским акцентом. Но и в этот миг его испугало не предстоящее тюремное заключение, а то, что он так и не увидит Варду. Пробившись сквозь толпу в зал суда, он все еще продолжал искать ее взглядом среди сидевшего там народа, и сердце у него сильно стучало, почти до боли. Зал был полон до отказа арабами и арабками — родственниками подсудимых. И вдруг он ее отыскал: Варда стояла у стены, возле двери, не в силах пробиться сквозь толпу. Она улыбнулась, и у Эфраима вновь перехватило дыхание. Ее улыбка ободряла, хотя в ней сквозили огорчение и беспокойство. Так ему, больному, улыбалась мать. И он отвел глаза, боясь разрыдаться, если будет и дальше смотреть на нее.

Он принес присягу и отвечал на разные вопросы, задаваемые судьей-англичанином, а между тем рассматривал судейский нос и обнаружил, что нос этот, подобно его собственному, Эфраимову, не обделен веснушками. "Да ведь мы похожи, — подумал он. — Такой же клоп, как я".

— Вы обвиняетесь в том, — привычно-торопливо читал судья, — что такого-то дня...

Эфраим незаметно обернулся: там ли она все еще, или то было мимолетное видение, подобное ночной грезе.

— ...бутылкой из-под сока... Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Он оскорбил меня! — крикнул Эфраим. — Он назвал меня грязной свиньей, а еще — бил всю дорогу до тюрьмы.

Судья пристально взглянул на Эфраима, а тот — на судью.

— Сколько вам лет? — спросил судья.

— Семнадцать.

Судья неслышно сказал несколько слов сидящему рядом секретарю, а затем вновь заговорил быстро, зачитывая приговор. Эфраим напряженно вслушивался в неясную английскую речь, но ничего не понял, кроме последнего:

— ... и принимая во внимание все обстоятельства и все сообщенное суду, приговорить к тюремному заключению сроком на четыре дня со дня заключения под стражу.

Эфраим продолжал стоять на месте и не знал, что делать.

— Вы свободны, — сказал ему секретарь.

— Свободен?..

— Свободны. Идите в полицейское управление, там получите свои вещи и распишетесь в получении.

— Славно, что ты пришла, — сказал он Варде. — И что приговор такой — хорошо, и что освободили. И вообще, свобода — это хорошо.

— Я только сегодня узнала, — сказала Варда. — Даниэль уезжал и только нынче утром вернулся в Иерусалим.

Эфраим вдруг остановился и приложил руку к щеке.

— Выгляжу-то я, конечно, ужасно — грязный, заросший... проклятая эта борода...

— Глупенький, — сказала Варда. — Да ее почти и не заметно.

Несколько шагов они прошли молча, и внезапно она сказала:

— Как ты молод. Всего семнадцать. Мальчик. Ну просто мальчишка.

Она внимательно посмотрела на Эфраима, и тот почувствовал, что его распиная гордость.

— Я не мальчик, — сказал он с дрожью в голосе. — Я — хуже. Я клоп презренный. Но... ты не знаешь...

Рыдания вновь подступили к горлу, и он замолк, боясь, что не справится с собой. И вдруг он обнял

ее, прижал к груди и поцеловал в губы. Она была такой мягкой, бессильной в его руках, что душа его преисполнилась умиления. Высвободившись, она несколько мгновений стояла, приложив руку к груди и тяжело дыша.

— Ты, верно, сердись на меня, — сказал он. — Я, конечно, противен тебе, но я не могу ничего с собой поделать, старался изо всех сил, но не могу.

— Глупенький, — повторила она. — Ну да ладно, в любом случае я должна тебе поцелуй.

И, привстав на цыпочки, она быстро поцеловала его в губы.

— А теперь быстрее беги домой, умойся, отдохни, смени одежду, а вечером приходи к нам, устроим небольшую пирушку в честь твоего освобождения. Знаешь, ты так понравился Даниэлю — с первого раза, как он тебя увидел.

Эфраим поднял глаза к небу. Ему казалось, что Бог все еще сидит там, наверху, и смотрит на него в телескоп. Смотрит, улыбается и ждет, что будет дальше.

СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО БОЖКА

Без десяти минут семь появился больничный сторож — бородатый, пейсатый еврей — и постучал в окно. Не знаю, почему именно в окно, а не в дверь. Возможно, он хотел заглянуть внутрь и узнать, дома ли я, а может, эта привычка сохранилась у него с тех времен, когда он был служкой при синагоге и подымал на покаянную молитву "своих дорогих евреев", как он их величал. Сон оборвался на середине. Я открыл глаза и, едва увидел его крупную голову, его моргающие глаза и всклокоченную бороду, прилипшую к стеклу, мой сон как рукой сняло; в эту минуту я уже знал, что означает его появление — маленького божка нет больше, — но я боялся в это поверить.

Я вылез из теплой постели, побежал к двери, открыл ее. Он вошел, не говоря ни слова, уселся на стул и правой рукой принялся гладить бороду, потом сунул кончик ее в рот и стал жевать вставными зубами; тем временем взгляд его блуждал по комнате, пока не наткнулся на картину: обнаженная, опершись на локоть, равнодушно взирает на окружающих. Его лицо посерьезнело, и он поспешно перевел глаза на книжный шкаф. Рядом с разноцветными томиками карманного формата стояли шесть тяжелых старинных фолиантов в кожаных коричневых переплетах со слегка потрепанными краями. С минуту он глядел на них иронически, затем подошел к шкафу, вытащил книгу, а я заранее представил себе его озадаченно-разочарованное лицо, когда он ее откроет — ведь это не Гемара, не Мишна, не молитвенник, но первое издание "Отверженных" Гюго, вышедшее в прошлом столетии в Брюсселе. Честно говоря, я не силен во французском, да и зачем выбрасывать деньги на покупку сочинений какого-то гоя, если у меня нет даже необходимейших еврейских книг? Возразить нечего, и это только доказывает, что отнюдь не здравым смыслом определяются наши поступки — природа вещей такова, что любой пустяк, любая безделица в конечном счете влияют на серьезные события, а иногда — даже на нашу жизнь. Зачастую это еще и вопрос денег. В свое время мне хотелось купить книгу на иврите, но тех жалких грошей, что завалились у меня в кармане, не хватило бы даже на английскую брошюрку, зато, когда однажды в моих руках оказалась крупная сумма, сразу же подвернулся этот шеститомник и я его купил — он продавался сравнительно дешево. Купил я его у одного гоя, который упаковывал вещи и отплывал на родину, и все, чего он хотел — это избавиться от лишнего барахла как можно скорее.

Больничный сторож вытащил средний том, стер рукавом пыль с переплета и вдохнул его запах, запах старины. Метнул на меня быстрый взгляд, пы-

таясь понять, готов ли я к выходу, или у него еще есть время просмотреть книгу. Я налил кофе — чашку ему, чашку себе, и он открыл книгу на середине, поднял брови и наморщил лоб, увидев латинские буквы. Закрыв книгу, поставил на место, и на лице его появилось обычное скучающее выражение.

Он благословил кофе и стал пить не торопясь. Я выпил свой, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы прибраться в комнате, но осуществлять это намерение я не стал, не желая его задерживать сверх меры. Мы вышли из дому и только двинулись в путь, как меня затрясло в лихорадочном жару и ознобе, и нетерпении. Я должен бежать, спешить, — что, если я опоздал? Со всех ног я бросился к автобусной остановке. Мы вскочили в автобус, не обращая внимания на стоявших в очереди людей. Они не стали кричать и возмущаться — наверное, по нашим лицам было видно, как мы торопимся и как напуганы. Возможно, если бы в очереди стояли люди молодые, скорые на расправу, нас попытались бы задержать, но ведь там были одни старые евреи, слабые, умудренные горестями и страданиями, привыкшие к лишениям. Они ничего не сказали, только посмотрели на нас печальными глазами и забормотали: "ай-ай-ай". А может, кто-нибудь из них даже понял, что мы спешим в покойницкую, где на полу, холодный и неподвижный, лежит маленький божок, укутанный в белую простыню, а вокруг него горят свечи.

В автобусе сторож вытащил жестяную коробку — в свое время она была украшена картинками и ярко разрисована, теперь же, после стольких лет службы, картинки облезли, а краски стерлись, — открыл ее и вынул половинку сигареты. Все сигареты в коробке были половинками. Он сунул ее в рот и закурил, а я смотрел на него и думал о том, что происходит в голове этого старика в черной ермолке, с коричневым и сморщенным, точно старый пергамент, лицом, с красноватым мясистым носом, тонущем в море щек и усов, с застарелым запахом пота, смешанным

с запахом табака "Самсун", с дырками на чулках, выбившихся из грубых ботинок, со всем прочим, что в нем было, — посреди моря бед и несчастий, и похорон — похорон моих ровесников, похорон людей, живших до меня; он провожал на кладбище моего деда, а теперь провожает маленького божка, умершего даже не в цвете лет, выражаясь возвышенно, а только-только распутившегося. Пока мы ехали до остановки, где нам надо было выходить, до самой больницы, в автобусе сменялись люди: старики и старухи, мужчины и женщины, и дети. Все чужие, далекие, заняты своими делами. Немногие выглядели безмятежными, на лицах большинства лежала печать забот и страданий, и только дети казались веселыми.

Я ворвался в больницу бегом, он бежал следом. Мне хотелось подняться в отделение и спросить у старшей сестры: "Ну, как там маленький божок, полегало ему? Видите, я пришел, я сделаю все, что потребуется". Но он схватил меня за руку и повел в морг, и перед тем как войти, надрезал мой лацкан, вынул из кармана черную ермолку и надел мне на голову. Я знал, что он исполнит все как положено: уладит дела с погребальным братством, выберет место для могилы; приготовит что нужно для похорон. Он был единственной надежной опорой в этом мире хаоса, запутанном, меняющемся на глазах, растворяющемся в пучине и мраке над пучиной.

Войдя в покойницкую, я мгновенно заметил маленького божка — завернутого в саван, тощего и длинного. Страх окончательно завладел мной, и я почувствовал сильное искушение убежать отсюда как можно скорее. Большая часть свечей уже догорела, но несколько штук еще освещали заплесневевшую комнату своими дрожащими огоньками. В углу сидел слепой старик и бормотал молитвы, он лепетал их не переставая вот уже сорок лет, с тех пор, как приступил к этой должности. Сторож наконец прервал молчание, хранимое им с утра — когда он постучал ко

мне в окно в семь часов без десяти минут. Он наклонился к моему уху, шепнул на идиш "пятерку!" — и побежал собирать миньян. "Это означает, — сказал я себе, — что миньян обойдется мне в пять лир, по полтиннику на человека". Я подошел к покойнику, отогнул край простыни, и в глаза мне бросилась костлявая тощая рука, на которой смерть уже оставила желтовато-зеленый след. "Нельзя, нельзя", — внезапно запротестовал какой-то еврей, просунувший свою красную рожу в приоткрытую дверь, и укоризненно покачал головой. Я торопливо прикрыл руку простыней и вышел на улицу.

— Ты-то ему кто? — поинтересовался этот тип. — Родственник, что ли?

Я не сразу нашелся, что ответить, потому с превеликим усердием стал рыться в кармане, ища сигареты. Тип тут же запустил распухшие багровые пальцы в пачку и проворно выудил сигарету. В другой руке он продолжал держать кружку для подаяния. Я знал его с детства. Со скорбным лицом он появлялся на похоронах, тряс своей кружкой и выкрикивал: "Милостыня спасет от смерти, милостыня спасет от смерти". На свадьбах и прочих семейных торжествах, затесавшись в толпу гостей, он ржал: "Кто хочет совершить доброе дело?" — и подставлял кружку. И приглашенные бросали туда медяки, и все знали, что ему принадлежат два дома на Махане-Иехуда, и еще один — в Нахалат-Шева. У него была дочь — крепкая цветущая девица, довольно миловидная, все парни наперебой осыпали ее комплиментами, пока она не вышла замуж за англичанина-полицейского и не уехала с ним в Англию, когда англичане убралась восвояси.

— Я снимал у него комнату, — объяснил я.

— А-а? — вопросительно процедил тот, затягиваясь сигаретой.

— Я жил у него в доме, — повторил я.

— Хороший был человек, — заявил тип, выпустив облако дыма через ноздри красного пористого носа.

Поглядел вокруг, убедился, что рядом никого нет, придвинулся ко мне и шепнул доверительно, словно закадычный приятель:

— Хороший-то хороший, да только, не про нас будь сказано, слегка того... видать, от избытка мыслей...

Только после второй сигареты я догадался бросить монету в его кружку. Поскольку никто из родни покойного не пришел, да и чужие не пришли проводить его, как говорится, в последний путь; поскольку никого, кроме десятка нищих, собранных сторожем, возле него не было, то этот тип зыркнул по сторонам, поблагодарил меня кивком головы и исчез. Кто-то из миньяна подошел ко мне, внимательно оглядел с ног до головы и наконец, выражая соболезнование, посочувствовал: "Маленькая семья, а?" — а на закуску в качестве утешения философски заметил: "Нехорошо человеку быть одному".

— Я ему не родственник, — ответил я, — я живу в его квартире, у него была квартира из двух комнат, в одной из них я и жил.

— Вот как... И отчего же он умер?

— Ему кирпич на голову свалился, — сказал я.

Он изумленно воззрился на меня, точно я позволил себе неуместную шутку, затем повернулся и ушел.

— А ведь это и вправду звучит как неудачная шутка, — думал я. — Шел себе человек мимо стройки — неподалеку от нас строили новый семиэтажный дом — и вдруг кирпич упал ему на голову, и он потерял сознание, и через два дня умер, и это все: ни убавить, ни прибавить. Как-то в минуту откровенности он сказал мне: "Мне кажется, что вся человеческая жизнь — не более чем шутка. И сам я — не я, а чья-то насмешка надо мной". Чья же? Наверное, он имел в виду своего маленького божка. У него ведь была целая теория о боге, который очень мал. Однажды он пригласил к себе студентов и в течение двух часов распространялся перед ними о божественном, после чего его и прозвали "маленьким божком". Он оставил после себя написанное крупным разбор-

чивым детским почерком сочинение под названием: "Исследование человеческих представлений и заблуждений относительно размеров бога во времени и пространстве". И за несколько дней до того, как ему на голову свалился кирпич, убивший его, он начал переводить свой труд на английский. "По-видимому, — говорил он, — пока гои не примут мою теорию, наши ученые евреи ею тоже не заинтересуются". Он был уверен, что ему предстоит совершить переворот в умах человеческих и во всех философских системах. Его же собственная система была следствием рода его занятий — по профессии он был физиком, и, пока не увлекся поисками величины бога, который, по его мнению, чрезвычайно мал, значительно меньше, чем мы можем себе представить, настолько мал, что наш мозг просто не способен осознать степени его крохотности; пока не погрузился в свои великие мысли о крошечном боге, был, можно сказать, как все люди, точнее, как все люди науки. Был он сухопар и высок, слегка сутул; серые глаза косили, от длинного носа к углам губ пролегали глубокие морщины; клочья бесцветных волос окружали загорелую лысину, и выглядел он так, точно постоянно извинялся за непомерную длину своего тощего согбенного тела, за свои неуклюжие руки и вообще за то, что он занимает место на этом свете. Трудно было определить его возраст. Иногда он расплывался в улыбке, и тогда казалось, что это просто большой ребенок, этакий младенец-переросток. Впрочем, улыбался он редко, чаще лицо его выражало глубокую непреходящую скорбь. Однажды сослуживец, восхищенный его познаниями, захотел ему польстить: "Ты станешь рыцарем науки!" Усмехнувшись, маленький божок ответил: "Ну, рыцарем науки я вряд ли стану. Скорее уж рыцарем печального образа — мне это больше подходит".

Если он не бывал печален, то веселился, но тоже как-то странно. Распевал песни, иногда даже пускался в пляс, напивался допьяна... впрочем, некоторые

подробности лучше пропустить, поскольку все приступы веселья у него кончались одинаково: он становился добычей жирной шлюхи-гречанки, шептал ей на ухо нежности на идиш — теряя рассудок, он почему-то всегда переходил на идиш — и, наконец, засыпал в ее объятиях. Именно в эту пору я слышал от него ужасные вещи о его отношении к человечеству. Топая ногой и потрясая кулаками, он вопил во все горло о том, как ненавистно ему человечество: "Я люблю людей, да-да, особенно женщин, но человечество — о Боже, до чего же оно мне омерзительно!" Или: "Я готов любить Янкеля или Шмерля, или Берла, но черт возьми, как я ненавижу еврейство!" Даже когда алкоголь не туманил ему мозги, он стремился избежать какого бы то ни было общения с людьми. Дошло до того, что он стал запираяться в своей комнате, опускать жалюзи, задергивать шторы, затыкать уши и, скорчившись на диване, в забытии молил своего маленького боженьку, чтобы тот избавил его от человечества.

Когда я впервые появился здесь, чтобы договориться о сдаче комнаты — примерно за год до того, как ему на голову свалился кирпич, оборвавший его жизнь, — состояние его уже было достаточно серьезным, — так, по крайней мере, считали все окружающие. Он же, напротив, полагал, что совершенствуется день ото дня и скоро достигнет небывалых высот, о которых другие могут только мечтать. Работу в лаборатории он бросил, чтобы "предаться философским размышлениям", как он говорил, и его сослуживцы только головами качали да судачили о "припадках", которые случались с ним все чаще. Контакты с окружающим миром он постарался свести к минимуму — избегал автобусов, ресторанов, театров. Не считая редких выходов ранним утром или поздним вечером в какую-нибудь лавчонку или магазинчик, без чего ни один человек обойтись не может, — не считая этих выходов, которых он панически боялся, он сидел у себя в комнате, погруженный в раз-

мышления о божественном. Сидел неделю, две, месяц, пока радость не начинала трепетать в каждой его жилочке. Об этой радости я догадывался по тем песенкам, что он мурлыкал себе под нос, да по насвистыванию, пробивавшемуся из-под запертой двери. Ритм нарастал, усиливался, казалось, вот-вот произойдет извержение вулкана; он включал радио, раздвигал шторы, поднимал жалюзи; солнечные лучи и уличный шум врываются в его комнату бурным потоком. Наконец, он мылся, сбривал бороду, успевшую вырасти за время его заточения, надевал белую рубашку и "выходной" костюм — единственный костюм, висевший у него в шкафу, — и выбегал на улицу, словно узник, вырвавшийся на свободу.

Его единственным доходом в последний год жизни была лишь плата за комнату, которую он получал от меня, да еще небольшая пенсия, выплачиваемая ему каким-то учреждением. За все время, что я у него жил, мне только однажды довелось услышать какие-то отрывочные воспоминания о его семье и прошлой жизни, да и то — когда он вернулся домой, опираясь на плечо жирной шлюхи-гречанки. Я узнал, что его отец был известным сионистом и городок, в котором он жил, назван его именем; что у него было две сестры, одна — коммунистка, вышедшая замуж за гою, вторая — незамужняя, врач — специалист по тропическим болезням, уехавшая в Центральную Африку лечить негров. Жаль, что он так мало рассказал о них — мне хотелось узнать побольше о жизни дочерей сиониста, не сумевшего приехать в Страну и убитого нацистами.

Вот так все чаще и чаще менялось у него расположение духа в последние месяцы жизни, и был он полностью во власти своих изменчивых настроений — точь-в-точь глина в руках творца. То замкнутость — то общительность, чудаковатая и ненадежная; то душевный подъем и вера в извечный гений разума, вера варварская и странная, — то бездна отчаяния. Пока однажды ночью — недели за две до того, как

ему на голову свалился тот самый кирпич, что оборвал его жизнь, — не нагнал на меня страху, какого я доселе не знал. Часов в одиннадцать вечера зимняя стужа сковала старый дом, ветер пригнал низкие облака, и они, теснясь и нагромождаясь одно на другое, заволокли небосвод и ущербный месяц. Я поскорей закрыл окно и забрался в постель. Стоило лечь и завернуться в одеяло, как меня охватила глубокая сладкая дрема, и я пребывал бы в ней до самого утра, если бы не дикий пронзительный вопль, от которого у меня мороз пошел по коже. Маленький божок в своей комнате вопил и выл, точно раненый шакал. Потом он встал и тихонько постучался ко мне в дверь. Я собрался с духом, преодолевая страх, да еще вооружился на всякий случай линейкой, прежде чем осторожно приоткрыть дверь, собираясь как следует огреть его по голове, если он вздумает на меня наброситься.

Его тощее тело было облачено в короткую пижаму, явно не по росту, ноги босы. Был он так смущен и жалок, что линейка сама выпала у меня из рук, и я затолкал ее ногой под кровать. Казалось, он во весь дух удирал от настигающего его бедствия, а найдя убежище, убедился, что и бедствие не было бедствием, и убежище — не убежище.

— Простите меня, — начал он запинаясь. — Пожалуйста, простите... Я кричал во сне... вы, должно быть, ужасно напугались... Такой страх меня одолел... иначе я не стал бы кричать. Впрочем, все уже прошло и я могу вернуться к себе... что мне еще остается... Да-да, я сейчас уйду, я уже ухожу... Хотя, честно говоря, мне бы хотелось побыть с вами еще немножко... потому что я очень боюсь возвращаться в свою комнату. Ох, эти ночные кошмары просто ад крошечный... а может, пойдем ко мне? Выпьем чаю, немного придем в себя...

— Нет, — ответил я. — Вы останетесь здесь. Я сам заварю чай.

Он послушался и опустил на стул. Понял, что

приготовить чай ему не под силу, так тряслись у него руки. Он обхватил стакан обеими руками, стакан ходил ходуном и чай выплескивался на руки и на колени. Ему во сне явился отец. На нем ничего не было, кроме майки-безрукавки и коротких трусов, и маленький божок невольно расхохотался, хоть зубы у него лязгали от страха, а на глаза наворачивались слезы. "Как же это, папа, — говорил он, тыча пальцем в его наряд, прерывающимся от смеха и слез голосом, — как же это тебе взбрело в голову вырядиться на манер Тарзана, ты же всю жизнь носил шерстяное белье из-за своего хронического насморка?" — "Здесь, в Израиле, — отвечал отец, — никто не нуждается в теплом белье".

"Какой Израиль, о чем ты, папа? Взгляни, поля занесены снегом, деревья стоят голые, ледяной ветер пронизывает до костей". — "Глупости, сынок. Пустое говоришь". Разговаривая, они вдруг оказались в отцовской мастерской. Голубая коробка Керен каемет стояла на столе с резными ножками. На восточной стене висела карта Израиля, на ней зеленым цветом были помечены участки, принадлежащие Керен каемет. На противоположной стене в золоченых рамках светились портреты Герцля и Нордау. Маленький божок подошел к картинам, чтобы рассмотреть их получше, и вдруг из глубины проступили очертания двух его сестер, выглядевших так, словно они еще были ученицами первого класса гимназии. Отец подошел к столу и стал расстилать на нем карту мира. Карта росла, увеличивалась; вот она уже покрыла весь стол, тогда отец уселся на нем, сложил руки на груди, обтянутой тонкой майкой и попросил: "Ну-ка сынок, расскажи мне, что делается на свете". — "Мир все увеличивается, папа, а бог все уменьшается..." Отец запрокинул голову и расхохотался во все горло, как смеялся прежде, если у него было хорошее настроение — на лбу собрались морщины, живот затрясся, на глазах выступили слезы — не поймешь, смеется он или плачет.

”Бог все уменьшается, папа, он уже настолько меньше муравья, насколько блоха меньше слона. Он еще жив покуда, еще дышит, еще борется с миром, который сам же создал, но скоро мир его одолеет. Вот-вот он окончательно утратит свою власть над миром, это всего лишь вопрос времени. Какое-то время он еще будет трепыхаться в агонии под тяжестью вселенной...”

”И сколько же ему осталось?” — спросил отец, по-серьезнев.

”Недели две-три, а может, и того меньше”.

”Если так, то это конец”.

”Да. Это конец”.

Не в силах слышать это, отец сорвался с места и стал биться головой о стену напротив карты Израиля. Он бился и кричал от невыносимой боли, бился и кричал, и с каждым ударом все уменьшался; сын знал, что только он может спасти отца, но тело его словно окаменело, он не мог пошевелинуться. Дикий страх и холод сковали его, и так он стоял и смотрел, как отец уменьшается, исчезает на его глазах, колотится головой о стену и тает, пока его вовсе не стало, только слышались удары о стену.

Яков Шавит родился в Кирьят-Хаим в 1944 г. Учился в Тель-Авивском университете, исследователь новой еврейской истории, а также сионизма. Издал несколько сборников рассказов — "Камея", "Кукушка", "Медиян" и детских книг.

ПОСЫЛКИ ИЗ ГРИНФИЛД-СИТИ

Когда дорога из магазина домой вдруг растянулась и превратилась в изнурительный переход, Иохевед Шиф поняла, что теперь уж смерть совсем-совсем близко. Этим летом Иохевед еще исправнее, чем обычно, следила за чистотой. Надо, чтобы меня нашли на белоснежной простыне в глаженной батистовой ночной рубаше и чтобы вокруг все сверкало. Вода под свежими каллами в стеклянной вазе на старом тяжелом трюмо красного дерева в гостиной чиста и прозрачна. Часы с маятником, привезенные еще оттуда, показывают правильное время. Ветерок не поднимает пыль с цветастых штор, спускающихся до пола, и с книг, расставленных на этажерке. В ванной — острый запах хлорки. Квитанции за воду и электричество — в ящике кухонного стола рядом с фотографиями и письмами за последний год. А если кому понадобятся все письма, они в платяном шкафу, за шкатулкой с драгоценностями. Мусор вынесен. На кухне все вымыто и расставлено по местам. Пожаловаться будет не на что. Останется только вынести ее тело, и новые жильцы смогут ввозить свою

безобразную бесконечную мебель, а их крикливые дети — изрисовывать черными карандашами неброско побеленные гладкие стены.

Возле площадок, на которых строились новые дома, она остановилась, утерла пот и из-под руки стала смотреть, как движутся темные мускулистые тела строительных рабочих. Белая пыль, хлопьями слетающая с каждого мешка цемента, сгруженного с машины, запорошила ей глаза и напомнила, что нужно идти дальше. Она подняла кошелку, в которой звякнули бутылки с молоком, и пошла. В том конце квартала, где она жила, давно появились новые, надраенные до блеска магазины, владельцы которых мгновенно расплывались в улыбке, стоило к ним обратиться, а все товары были расфасованы и завернуты в целлофан, но она упорно продолжала ходить в старый магазин, поднималась по трем ведущим в него ступенькам, втискивалась в узкое пространство, дышала спертым воздухом, пропитанным кисловатыми запахами, и кричала в ухо глухому чахоточному лавочнику. Этим летом округа с каждой неделей приобретала все больше черт незнакомой местности, улицы удлинялись, добираясь до медвежьих углов, отвоєванных у пустошей, поросших дикими хризантемами. Сколько человек, живущих на этой улице, помнят теперь четыре буйно разросшихся пальмы, стоявшие там, где сейчас кинотеатр, — подумала она, перехватывая кошелку и уворачиваясь от грузовика, пыхтевшего под грузом кирпичей, сложенных аккуратными штабелями.

— Что они себе думают? — возмутилась она. — Даешь им молока, а они все равно норовят забраться в мусорный ящик”.

Иохевед Шиф наклонилась, выбрала камень потяжелее и положила его на крышку мусорника. Кошки, как по команде, стали вынырывать из-за деревьев и окружать ее, образуя пятнистую подобострастную свиту. Под скамейкой, стоящей между гуайявами, в ямке, выкопанной в песке, копошились четыре еще

слепых котенка. Новые жильцы выкорчуют эти деревья, приносящие гнилые плоды, и насадят другие, если у них дойдут до этого руки. Дети позаботятся о том, чтобы каллы, растущие в углу, не тянули к солнцу белые головки на длинных-предлинных шеях. Развесистое лимонное дерево обстригут и обнесут оградой, чтобы прохожие не рвали полусозревших плодов. Если они не отдадут за дом все, что скопили, до последней копейки, то затеют покраску, и пятна ядовитой краски умертвят кусты кактусов, расстилающих в утренние часы тени ночных рыцарей, которые, спешившись, роняют длинные копья. В резком, будто эластичном свете кактусы ошетиняются десятками тысяч тонких иголок, которые вонзаются в штукатурку, но не в состоянии причинить ей ничего, кроме мелких царапин. Она отперла дверь и прежде чем вытереть ноги поставила кошелку с молоком и буханкой хлеба на выцветший ковер, который живописал когда-то вечную весну и дивную ночь в восточном государстве. Потом пошла на кухню и спрятала молоко в большой ледник. Все в этом районе давно уже выставили ледники во двор, где они торчали, пока не приехал здоровенный извозчик, который погрузил их на телегу и, спасая от костров разжигаемых в Лаг ба-Омер*, увез туда, где в них есть еще нужда. Она осталась одна, и лишь потому, что так ведется уже двадцать лет, ворча и действительно теряя время, заезжал ради нее разносчик льда в этот квартал, где никто теперь не живет по старинке.

Кошки, поводя хвостами, вились за ней. "Сейчас, сейчас, — сказала она, говоря будто сама с собой. — Молоко вам будет, но имейте в виду — я на вас сердита. Сами знаете из-за чего — из-за мусорного ящика". Она провела узловатыми пальцами по чьей-то выгнутой спине, выпрямилась и собралась идти в

* Лаг ба-Омер — еврейский праздник, в который принято разводить костры.

дом, но тут из дырочек почтового ящика глянуло на нее что-то белое и заставило остановиться. Она заглянула в почтовый ящик и, почувствовав, как слегка засосало под ложечкой, заторопилась за ключом, который всегда хранился в специальном стаканчике.

Мадам Хая Иоселевич извинилась, сходила в другую комнату, взяла очки, лежавшие на клубках шерсти, из которых она начала вязать кофту, и прежде чем надеть, тщательно протерла стекла краем рукава. Потом взяла письмо и сказала:

— Ну, посмотрим, что вам там пишут.

Она стала читать про себя, неторопливо переваливая с буквы на букву, постепенно собирая их в слова, которые в свою очередь складывала в предложения, и застревая между предложениями, как утренний автобус на остановках, где толпится народ. Затем положила письмо на стол, почесала переносицу, опять заглянула в письмо, причем ее кадык ходил вверх-вниз, как заведенный, и хрипло сказала:

— Ой, мадам Шиф!

— Что случилось? — всполошилась Иохевед Шиф и попыталась прилечь.

— Ой, мадам Шиф, какое чудо! Вы выиграли билет в Америку.

— Куда, мадам Иоселевич?

Та взяла лист с напечатанным текстом за краешек и подняла перед собой, как глашатай на базарной площади. От волнения она несколько раз шмыгала носом в паузах между словами.

*Фирма "При тари"**, выпускающая овощные и фруктовые консервы, счастлива сообщить вам, что в лотерею, которая ежегодно проводится среди постоянных покупателей нашей продукции, вы выиграли билет в Соединенные Штаты Америки. Фирма берет на себя также покрытие расходов на ваше пребывание

* "При тари" (ивр.) — "Свежий фрукт".

там в течение недели. Просим зайти в нашу главную контору на Сдерот Невшим, 24.

С глубоким уважением

Рафаэль Робович

зав. отделом информации и рекламы.

— В Америку? — повторила Иохевед Шиф. — В Америку...

— Ой, мадам Шиф, вы в самом деле едете в Америку! Просто чудо! Такого на нашей улице не случилось с тех пор, как... Нет, такого вообще не бывало! В лотерею, прямо как в газетах! Я дам вам адрес моего племянника.

Она поправила очки и взглядом, словно колодками, стиснула свою всегда замкнутую соседку, сидящую перед ней теперь в полной растерянности. Таким взглядом обычно меряют счастличиков, словно допытываясь: ну чем они лучше меня?

— Вы... Вы уверены?

— Уверена? Что значит уверена? Написано на иврите, черным по белому, на пишущей машинке. Идите туда скорее, пока они не передумали, как у нас вечно бывает.

Иохевед Шиф отправилась домой праздновать это событие чаем с лимоном.

Кошки удивленно подняли головы. Да и для нее самой это было неожиданностью: и смех и слезы одновременно, в один день или вернее в полдня после долгих засушливых лет без смеха и без слез. И как раз сейчас, когда дорога из магазина домой превратилась в изнурительный, сжигающий все силы переход, который в конце концов сведет ее в могилу.

Сначала были слезы. Соленые капли прокладывали себе путь среди морщин и впитывались в кожу, как в потрескавшуюся землю, не знавшую дождя семь засушливых лет. "Гута... — бормотала она, — теперь я смогу наконец увидеть Гуту".

Все невзгоды она принимала безропотно, молча. Бывают такие люди, будто погасшие костры. Когда врач сказал, что у нее никогда не будет детей, она

подавила стон и не пошла советоваться к другому, хотя знала, что, если один из них сказал так, то другой наверняка скажет иначе. Когда умер Иехуда Шиф, она высвободилась из участливых рук дальней родственницы и пошла за гробом без слов и без слез. Даже когда спустя год после того, как они вместе приехали в Эрец-Исраэль, сказала ей сестра Гута, что собирается за океан, у Иохевед Шиф лишь еще больше опустились плечи, но отговаривать сестру она не стала. За последние годы она вышла из себя только раз, когда санитарный инспектор начал разбрасывать мясо, начиненное ядом, чтобы извести бродячих собак. Она пошла в муниципалитет и сообщила, что это мясо могут отведать кошки и от этого умереть. Ей ответили, что так нужно для общественного здравоохранения. С тех пор она следила из окна и, как только инспектор проезжал на велосипеде, выбегала на улицу и прочесывала ее в поисках отравленных кусков.

Как-то утром, зайдя в магазин тканей, который держал на главной улице ее муж, она застала его с Гутой в закутке на груди отрезов. Если бы не стеклянная прозрачная дверь, она наверняка не издала бы ни звука. А так она вдруг услышала свой голос, который срывался на крик: "Ведь могут увидеть. Тут же стекло". Как будто от ее слов на них обрушилась целая полка цветастых тканей. Что она могла сказать Гуте, если три месяца назад на базаре в соседнем городке погиб ее муж Маноах, который, торгуя ящик налитых помидоров, позволил себе сказать их вошедшему в раж владельцу, что мол де на дне, наверное, гнилые. И Гута, которой стукнуло сорок, осталась с долей в убогом овощном магазине и убогими полутора комнатами в длинном уродливом многоквартирном доме. У их тетки в Америке был небольшой ресторан, который прославился на весь квартал, потому что она обслуживала посетителей так, словно все они ее сыновья, которые забежали перекусить и очень торопятся, чтобы не

укорачивать время, проведенное врозь. С тех пор, как Гута уехала, сердце Иехуды Шифа стало ходить ходуном и съеживаться день ото дня, как полоса ткани, когда ее берут за оба конца и скатывают в узкий сплюснутый рулон, который ничего не стоит перебросить из угла в угол. Себе под нос он бормотал цифры, ведя подсчет доходов и убытков, а потом широко разводил руки и смахивал все со стола. Или застывал на месте в оцепенении, пока кто-нибудь не брал на себя труд столкнуть его с мертвой точки. Так он и умер. Она понимала, что он так быстро сдал не из-за того, что натворил, и не потому, что знал за собой вину, а потому что его борода была колючей и жесткой, как щетка, потому что живот обвисал толстыми грубыми складками, зубы пожелтели, походка стала неуклюжей, и женщины не шли с ним в закуток на груды цветастых тканей.

После слез — смех.

Капуста. Это же надо, чтобы как раз капуста.

У каждого есть свои любимые блюда, Иехуда Шиф обожал квашеную капусту. Она свыклась и ежедневно подавала ему на обед горку квашеной капусты, которая застревала между зубцами вилки, свешивалась тесемками с уголков рта и с причмокиванием втягивалась внутрь. Сама она не могла тогда терпеть ее кисловатый запах. Как-то раз, чтобы досадить ей, он пошел на базар, купил целый бочонок капусты и поставил его в углу на кухне, чтобы он отравлял воздух. Если случайно она забывала подать капусту, он раздражался и говорил, что она хочет отравить его своим фасолевым супом. Но после того, как он умер, запах квашеной капусты стал фимиамом на алтаре его памяти, венком из роз, который она возлагала на его могилу, и каждый полдень она вызывала перед собой его образ, ставя на стол тарелку, где с верхом наложена эта капуста, дешевая в те дни, легкая в приготовлении. Как-то раз в газете на идиш, из тех, что она время от времени брала в магазине, ей попала на глаза реклама фирмы кон-

сервов, которая проводила лотерею среди своих постоянных покупателей. Для участия в ней достаточно было прислать пять этикеток с изображением желтоватого обрубленного сверху кочана, которые клеют на банки с капустой. Она сунула пять этих наклеек в конверт, указала обратный адрес, и вот, пожалуйста — именно ей достался главный приз, и он ждет ее не дождется на Сдерот Невиим, 24.

Секретарше она сказала, что хотела бы видеть господина Рафаэля Робовича. Та попросила ее, пожалуйста, повторить еще раз погромче. Потом спросила, а по какому делу. Она улыбнулась и сказала: по очень приятному. Секретарша посмотрела на Иохевед Шиф в упор и наставила на нее дуло своей авто ручки. Вечно эти назойливые женщины уверяют, что они припасли что-то очень приятное для господина Робовича, а потом оказывается, что они пришли жаловаться на улитку или таракана, которые проникли в банку консервов, отчалили вместе с ней в дальнее плавание и бросили якорь в дымящейся тарелке. Они угрожают немедленно направить письмо в министерство здравоохранения или, что еще хуже, сообщить в газету. Тогда господину Робовичу приходится всплескивать руками и извиняться, а через неделю у дома потерпевшей останавливается фирменный грузовик, и водитель вносит на кухню большой картонный ящик с арсеналом жестяных банок — компенсацию за моральный ущерб и причиненное беспокойство.

— Это я выиграла ваш главный приз, — сказала Иохевед Шиф секретарше.

— Поздравляю, поздравляю, — лицо секретарши прояснилось и она отложила оружие боя. — Рафи, — крикнула она в сторону двери, — тут пришла дама, которая выиграла билет в США.

Господин Рафаэль Робович одной рукой пригладил усы, а другой раскатал красную дорожку, незаметно лежавшую у двери.

— Пожалуйста, уважаемая, входите, — пригласил

он, подал ей стул, потер руки, закурил сигарету "Кемел" и стал объяснять ей, как счастлива компания, что именно она, госпожа, сидящая перед ним, стала обладательницей главного приза.

Она уже двадцать лет покупает овощные консервы и главным образом капусту, рассказала ему Йохевед Шиф, и поэтому ей причитается.

— Весьма похвально с вашей стороны, — тактично заметил господин Рафаэль Робович, — только наша фирма была основана всего восемь лет назад.

— Очень жаль, — огорчилась госпожа Шиф и умолкла.

— Уважаемая госпожа, конечно, намерена использовать билет? — спросил господин Рафаэль Робович и в его голосе прозвучала надежда на то, что он, наверное, ошибается. Заведующие отделами информации и рекламы тем и хороши, что всегда надеются.

— Да, да, — сказала она. — Я хочу повидаться с Гуттой. Мы не виделись почти двадцать лет. Она в Америке, в Гринфилд-Сити.

— Двадцать лет, то есть с тех пор, как госпожа начала есть капусту, — быстро подсчитал господин Робович и тут же вернулся к своим обязанностям. — Уважаемая госпожа может выбрать по своему усмотрению, как добираться в Соединенные Штаты: морем или по воздуху.

— По воздуху? — встревожилась она. — Я никогда не путешествовала самолетом.

— Только автобусом, — еще раз превысил свои полномочия господин Рафаэль Робович.

Когда она наконец, слава Богу, выбрала, а выбрала она море с видами дивных экзотических портов, господин Робович одобрил это решение: действительно, куда ей торопиться в таком возрасте.

— Но выезжать я хочу немедленно, в ближайшие дни, — сказала она.

— Немедленно? Что за спешка? Минуточку...

Дело, конечно, не в том, что отдел информации и рекламы, возглавляемый им, не мог бы все органи-

зовать буквально за день. За ними задержки не будет. Но как быть со всякими государственными учреждениями, где все по-прежнему делается черепашным шагом.

Договорились на первое число. Первого возле ее дома остановится такси, которое отвезет ее в порт. Там ей вручат билет на корабль и все остальные бумаги, а также пожелают доброго пути. Будут и фоторепортеры. Господин Рафаэль Робович тепло пожал ей руку, пожелал хорошо подготовиться к плаванию и заверил, что волноваться нечего.

Мадам Хая Иоселевич извинилась, сходила за очками, лежавшими на вязании (почти законченную кофту она распустила до половины) и нацепила их на нос.

— Гринфилд, Гринфилд, — шевелила она губами, листая большой атлас сына. — Гринвуд — есть. Гринвэлли — есть. Что у них там все зеленое, что ли? А вот и Гринфилд.

Водя большим пальцем вдогонку букв, она прочитала: "Гринфилд расположен на восточной оконечности штата Нью-Йорк. (Вы же знаете, там есть и штат, который называется тоже Нью-Йорк.) Шестьдесят тысяч жителей. (Небольшое местечко, совсем как у нас.) Большинство населения — лица с университетским образованием — юристы, врачи... Пасторальная тишина. И недалеко от города, до которого можно добраться поездом за полтора часа".

— Ну, что вы скажете? — мадам Иоселевич обвела искомую точку черным чернильным кружком и положила раскрытый атлас на стол.

Над крышами домов было натянуто голубое небо. Перистые облака наперегонки неслись к линии горизонта. Солнце гуляло напропалую, пируя на раскаленном песке. Славки, как поднятые по тревоге пожарные, суетливо шныряли в зарослях колючего кустарника за забором. Кошки зевали, глядя на ящериц, и, потягиваясь, выгибали спины. Из муравейников выходили черные караваны. Полчища муравьев-естествоиспытателей с котомками за плечами проклады-

вали пути между стеблями. Мухи, жужжавшие в регистре отчаяния, бросались на сетку, затягивавшую окно, и расползались по ней вверх-вниз.

Всю неделю она укладывала чемоданы. Дорога из магазина домой вдруг стала короче, словно она ходила по ней много лет назад, а сейчас вернулась, знает здесь каждый камешек и может пройти ее с закрытыми глазами. Из зеркала на нее смотрела очень сдавшая, очень состарившаяся шестидесятипятилетняя женщина. Вдова, проживающая остатки наследства. Когда Иехуда Шиф умер, она строила разные планы. То она видела себя ходящей по домам, собирающей средства для благотворительных обществ, то выбирала халат сиделки или уход за детьми на добровольных началах. Но так и оставалась сидеть у окна, глядя на зарешеченную улицу, по которой мальчишки катались на велосипедах. Иногда дворик преображался: рождались новые котята и делали свои первые шаги прежде, чем разбежаться по всей округе. А потом приходила посылка от Гуты, и весь день был испорчен. Безудержную злость, которая закипала в ней раньше, она научилась направлять в привычные русла, но все-таки была в ней еще немалая сила: сердце стучало, кровь разносилась по жилам и прилиwała к лицу.

Сначала она забрасывала посылку в угол и старалась запихнуть ее поглубже ногой. Потом поднимала, вскрывала, разрывала картонную упаковку и заглядывала внутрь. Так, растерзанная, с вырванным боком, посылка валялась несколько дней, пока она не поднимала ее и не высыпала все содержимое на кровать, застеленную одеялом. Осматривала каждую вещь, раскладывала на кровати, разглаживала рукой и примеряла. Развешивала в шкафу, потом в сердцах срывала с плечиков, опять заворачивала в клочки бумаги, совала в картонный ящик, на котором были выведены черные буквы, твердившие ее адрес, и ехала в город. Продав присланные вещи за бесценок (не торговаться же за них), она начи-

нала испытывать жажду деятельности. Раздражение придавало ей силы, а желание ответить насмешкой на насмешку, обидой на обиду, унижением на унижение вдыхало новую жизнь и ускоряло шаги. Она бегала от магазина к магазину, стараясь как можно скорее охватить взглядом витрину. Седые волосы выбивались из-под зеленого чепчика и развевались на ветру. Потом она возвращалась домой, заворачивала все в плотную бумагу, писала черными чернилами Гутин адрес, подолгу выводя каждую букву, шла на почту и сдавала посылку, чтобы за океаном знали, что она существует и жизнеспособна.

Перед отъездом Гута за гроши распродала весь свой скарб, а когда не хватило денег, пошли в ход и драгоценности. Некоторые говорили, что Америка, конечно, страна неограниченных возможностей и т. п., но не для одинокой вдовы в ее возрасте. Иехуда Шиф скалил свои желтоватые зубы и бормотал что, дескать, ни один американец ни за какие блага не польстится на ее прелести. А когда она выбегала из комнаты, гоготал: "Еще думает о себе... Что она... Что я... Спроси у любого в городе..."

— Посмотрим, — бросала Гута в лицо злослови-
вшим на ее счет, — посмотрим, кто будет бедным,
а кто богатым. Кто будет есть досыта, а кто пухнуть
от голода. Увидим, кто будет просить: "Гута, пришли
нам доллар. У нас не хватает на хлеб".

Сначала письма были самыми радужными. Не прошло и нескольких месяцев, как стали приходить и посылки.

Гута писала, что работает на кухне в тетинном ресторане и зарабатывает очень прилично. И именно потому, что ей так хорошо здесь, она все время думает о бедной сестричке, которая мается где-то там под тропическим солнцем в стране, где что ни день убивают евреев и где, как пишут газеты, вот-вот вспыхнет ужасная война. Поэтому она посылает сестричке посылки с вещами и отрезами, которые тут стоят очень дешево. Брюки и рубахи, галстуки, пи-

джакеты и кофты, носовые платки и белье, полосы ткани и куски шелка, занавески и скатерти. Иногда поношенные и бывшие в употреблении, чаще новые. И еще Гута писала, что, если вещи не подойдут по размеру ей или мужу или не придутся по вкусу, их всегда можно вынести на базар или распродать среди соседей — ведь вещи с ярлыком *Made in USA* — ходкий товар в Эрец-Исраэль. А на вырученные деньги сестричка с мужем сможет продержаться до тех пор, пока Гута не пришлет следующую посылку.

Первая обида была нанесена тремя белыми накрахмаленными рубашками, длинными бежевыми брюками и изобилием пестрых платочков. Она завернула все в коричневую бумагу и вышла на автобусную остановку. Вырученных денег хватило на караван резных верблюдов из оливкового дерева и два медных витых подсвечника, сделанных в "Бецалеле"*.

В письме Иохевед Шиф писала, что шеренга верблюдов будет очень хорошо смотреться на комод, а в медные витые подсвечники Гута сможет ставить субботние свечи.

Так приходили и уходили посылки, устанавливая свой помесечный календарь — дни получения, дни обиды, дни ответного действия, дни отправки и дни ожидания. Когда, узнав о смерти Иехуды Шифа, Гута посмела выслать четыре десятидолларовые бумажки, Иохевед тотчас же купила большую написанную маслом картину известного художника, на которой в белых пятнах на берегу голубого пятна проглядывал портовый город с точками живых существ, заполняющих улицы, и горными террасами, отененными тонкими мягкими мазками: "Смотри, как разросся наш город. Ты сможешь повесить картину над кроватью".

Случалось, что обмен посылками прекращался: иногда замирал и оживлялся, иногда стопорился надолго. Бывало, что посылки шли, но их содержимое

* Художественное училище в Иерусалиме.

было скудным. Для Иохевед Шиф настали тяжелые времена. Пришлось сдать вторую комнату студенту из Техниона*. Помучилась месяц и попросила его съехать: всю ночь горит свет, шум, бесконечные гости. Нет, к этому не привыкнешь. Но в долгу она никогда не оставалась. На каждую обиду тотчас отвечала посылкой. Свидетельство против свидетельства. Выпад на выпад. Пять лет назад Гута сообщила, что переезжает из шумного Нью-Йорка в Гринфилд — тихий, чистый поселок недалеко от большого города, вроде как пригород, где живет Иохевед ("Но сама понимаешь, что за сравнение!"). В ее возрасте она уже не может выносить отравленный воздух, грязь и толчею. Иохевед Шиф незамедлительно выслала сестре мезузу** тонкой работы и вырезку из газеты на идиш о конференции Женской сионистской федерации и ее решениях, встреченных бурными аплодисментами всех участниц.

В назначенный день за ней приехал Рафаэль Робович собственной персоной, вышел из серого автомобиля-переростка, взял чемоданы, открыл дверь и пропустил ее вперед. Иохевед Шиф простилась с кошками, дав каждой почувствовать тепло ее руки, помахала горстке соседок, собравшихся у ее дома, и пустилась в путь. На трапе перед отплытием ее сфотографировали с банкой консервов в руках. Под снимком, появившимся назавтра во всех газетах, было написано: "Ешьте "Свежий фрукт", как все — побываете везде".

Корабль потихоньку дрейфовал в очень большом океане. Волны то затевали игру в чехарду, вспрыгивая друг другу на плечи, то сшибались гребешками, как бойцовские петухи. В портах пассажиры сбега-

* Хайфский политехнический институт.

** Футляр, содержащий пергаментный свиток с отрывками из Писания, который прикрепляется к притолоке дверей в еврейских домах.

ли на сушу для закупочных блицев, потом загорали на залитых солнцем палубах, а позже спускались в кинозалы и на танцплощадки. Только Иохевед Шиф сидела в своем шезлонге, всматриваясь в то, до чего кораблю плыть еще несколько дней.

— Госпожа Шиф, — сказал ей из соседнего шезлонга строительный подрядчик со складкой на шее, — вы, по-моему, совсем не получаете удовольствия от этого чудесного плавания. Я совершаю круиз ежегодно и с каждым разом наслаждаюсь все больше и больше. А так — жалко потерянных дней. Если все время думать о том, куда мы плывем, и снять со счета дорогу, то эти дни просто считай — пропали.

Он пыхнул на нее толстой сигарой, и от ее противного запаха Иохевед Шиф закашлялась. Она хотела ответить, что дни порой и есть одна сплошная дорога из конца в конец, что дорога может затягиваться и осложняться и все-таки не приводить куда надо, что все дни в общем-то только мост к одному-единственному дню, который по ту сторону, но не ответила ничего, а только улыбнулась и прикрыла глаза полотенцем.

Сперва она поехала в ресторан покойной тетки. Посмотрев в большое застекленное окно, она поняла, что это совсем уже не тот ресторан. По стеклу перед ней бежали странные обжигающе красные буквы. Какой-то прохожий рассказал, что десять лет назад, когда умерла старушка-владелица, а было ей ого-го сколько лет, помещение купил соседний ресторан и теперь здесь китайская кухня. "Сейчас тут можно поесть змеиный суп, но только не чолнт*", — заключил он на идиш, повернулся и ушел.

Она попросила шофера такси довезти ее до вокзала, села в поезд и продремала всю дорогу, оставив без внимания широкие автомагистральи, бескрайние поля, реку и металлические мосты, переброшенные

* Традиционное еврейское блюдо, которое обычно едят по субботам.

через нее. Очнулась, услышав, как объявляют: "Гринфилд". Взяла чемодан и поспешила к выходу. Сняла на семь дней номер в гостинице, пообедала и вышла на главную улицу.

Шаги замедлились сами собой. Глаза сами собой цеплялись за все витрины на бульваре Линкольна и подолгу задерживались на каждой. Все дни, проведенные в дороге, Иохевед Шиф думала: вот было бы хорошо перенестись в один миг через весь океан, а сейчас дома ползли мимо нее, как в замедленной съемке, и она тяжело переваливала с одного на другой, будто в руках у нее кошелка, полная бутылок молока. Сколько раз она представляла себе эту сцену: она на пороге, невинный вопрос: "Извините, здесь живет госпожа Гута Кимель?". Пристальный взгляд, замешательство, изумление, потрясение. Руки Гуты, обвивающие шею, слезы, рассказы-исповеди, рассказы-раскаяния. Время летит, неделя уже на исходе...

Теперь на смену всему пришло какое-то мутное и тупое чувство. За несколько метров до нужного дома ноги застопорились напрочь. Она завернула в кафе и села. Небо садилось на Гринфилд, как хамелеон, меняя оттенки от светлого к серому, от серого к темному и так до тех пор, пока в городе не вспыхнули, как по команде, огни и не залили его ровным желтым светом. Иохевед Шиф встала, прошла то что осталось, и остановилась у входа в подъезд. Поправив шляпу, съезжавшую на лоб, она заглянула сквозь железную решетку со множеством завитушек. Уже хотела войти, но ветви решетки разбухли и разрослись, преградив ей путь, как врата заколдованной пещеры, которые открываются только тем, кому известно заветное слово. Гута стала совсем маленькой, будто кто-то ловким ударом вогнал ее в землю. Она была теперь ростом с Иохевед, ниже швабры, которую держала в руках. В парадное вошел человек. Гута поклонилась ему, проводила до лифта, открыла дверь и вернулась к окну, которое

она начала протирать. Иохевед Шиф отошла от двери и прищурилась. Слеза пробежала по проторенной борозде через всю щеку к подбородку. Пришлось схватиться за дерево, чтобы сохранить равновесие. Вот и все, — шуршали шины автомобилей; вот и все, — мигали неоновые огни. Рядом был магазин готовой одежды "Сэмюэль и сыновья".

Она утерла слезы, оправила платье и зашла в магазин. Поздоровалась и, получив ответ, спросила, говорит ли хозяин на идиш.

— А то как же, — проклекотал Сэмюэль-сын. — Если я не говорю на идиш, так кто вообще говорит?

Иохевед Шиф начала, как обычно, с извинения за беспокойство, которое она ему причиняет. Потом рассказала, что только сегодня утром приехала из Эрец-Исраэль и хочет его кое о чем порасспросить.

— Добро пожаловать в Гринфилд-Сити, — расцвел Сэмюэль-сын. — Если я не могу рассказать все о Гринфилд-Сити, так кто вообще может?

Тогда она приобрела кое-какие мелочи для соседок и, пока он заворачивал покупки, спросила, что это за женщина живет в высоком доме напротив; ну, та, которая протирала стекла, когда несколько минут назад открылась парадная дверь.

— Во-первых, — улыбнулся Сэмюэль-сын, — дом напротив совсем не высокий. Может, это у вас там... Всего-навсего восемь этажей. А старушку зовут Гута Кимель, или Лимель, или что-то в этом роде. До переезда в Гринфилд она мыла посуду в каком-то ресторане в Нью-Йорке, а когда постарела и руки уже не выдерживали воды, ее пожалел мистер Дэниэлс. Он владелец этого дома и многих других домов и магазинов. Вот он и дал ей эту работу. Наверное, обедал в том ресторане — увидел ее и пожалел. Евреи всегда так. Вы же знаете. Она живет в подвальном помещении, получает какие-то гроши. Главное, не висит на шее у социального обеспечения и не просит подаяния.

Потом он спросил, а почему она, собственно, так

интересуется этой Кимель, или Лимель, или что-то в этом роде.

Ей показалось, что она ее откуда-то знает. Проходила и подумала — а вдруг. Евреи кочуют с места на место и часто, бывает, находишь знакомых там, где не ждешь.

— Точно, — сказал Сэмюэль-сын. — Мой отец Мозес Сэмюэль, пока не открыл тут магазин, исколесил все северные штаты, торгуя продукцией разных фирм.

Когда она собралась уходить, унося под мышкой хорошо упакованный сверток, он вышел из-за прилавка и, провожая ее к двери, вспомнил:

— Минутку! Про эту самую Кимель, или, может быть, Лимель, или что-то вроде того...

— Да? — остановилась Иохевед Шиф.

Пять лет она работает здесь консьержкой. Время от времени, примерно раз в месяц, она заходит в его магазин и просит ткани, одежду и все такое прочее. Чтобы подешевле, но отличного качества. (У "Сэмюэля и сыновей" все товары отличного качества!) Но он знает, что в кармане у нее не густо, и уступает за полцены. Да какие там полцены — просто задаром. Достает со склада всякое старье и отдает ей. Сейчас мода меняется с недели на неделю, так зачем же держать на складе — только крыс разводить. А около года назад принесла большую картину, что-то синее с белым и серым, все в каких-то точечках и штришках. Сказала, что это вид Хайфы, писанный маслом, что она его в свое время получила в подарок, а сейчас хочет дать ему в счет вещей. Он взял и повесил в спальне. Он ведь старый сионист. Зачем ей эти вещи каждый месяц? — как-то спросил ее он. Для сестры в Эрец-Исраэль, там очень трудно живется. Ну, что ж, — сказал он, — я шлю туда доллары, а вы — новые вещи.

— Приятного времяпрепровождения в нашем Гринфилде! — крикнул ей вслед Сэмюэль-сын.

На неделю мир для Иохевед Шиф замкнулся на пя-

тачке перед железной решеткой. Она уже знала, что не уедет из Гринфилда до срока и не бросится Гуте на шею. Знала, что по истечении срока вернется к своим котам и будет по-прежнему получать посылки от Гуты и отвечать ей той же монетой. Прищурившись, Иохевед всматривалась в каждую линию ее одряхлевшего тела, запоминала каждую морщинку, вбирала в себя каждый шаг, каждый кивок, каждую улыбку, адресованную входящим в кабину лифта. Ходила следом, надвинув шляпу, а когда замирало сердце, прикрывая лицо руками. Наспех перекусив, возвращалась на пост против решетки со множеством завитушек. Небо садилось на Гринфилд, лебезя перед ней и меняя цвета, чтобы она оценила его красоту и усердие, но, не дождавшись доброго слова, обиженно тушевалась. Прошлого не было. Прошрое нахлынет потом, на корабле, и подбавит соли соленой морской воде. Было только многочасовое стояние неизвестно зачем и для чего и потухший, потерянный взгляд. Однажды мелькнула мысль — пробраться в Гутин подвал и посмотреть на медные украшения, серебряные подсвечники, деревянных верблюдов и открытки с видами Эрец-Исраэль. На связки писем и на посылку, которую Гута собрала в этот раз. Мысль примчалась, покрасовалась минутую другую и унеслась, как не бывало.

Но неделя, в отличие от нее, не стояла на месте перед железной решеткой со множеством завитушек. Она шла своим чередом и в назначенный день истекла. Опять были море и ползущие дни на палубе — в этот раз на пути, который уже никуда не ведет.

— У вас такой усталый вид. Что вы делали там в Америке? — спрашивали соседки. — У нас теперь все едят "При тари" — хотят повидать свет.

Вдоль дороги из магазина домой выросли новые здания, и она знала, что эта дорога вот-вот возьмет над ней верх. Первым почувствует, что ее нет, глухой чахоточный лавочник, потом — кошки. Кто-то посту-

чит в дверь, не получит ответа, пожмет плечами и уйдет. Через некоторое время вернется, постучит сильнее и окажется, что дверь открыта. Ее найдут на белоснежных простынях в батистовой ночной рубашке, а вокруг все будет сверкать.

Спустя две недели после возвращения она пошла на почту и получила посылку. Вернулась автобусом, проехав положенные пять остановок.

Мадам Хая Иоселевич извинилась и сходила за очками, лежавшими на клубках шерсти, из которых она начала вязать кофту. (Мадам Шиф уже принесла свои извинения и мадам Иоселевич приняла их: "Конечно, ведь Нью-Йорк это не наш городишко, который можно проехать из конца в конец за полчаса в душном автобусе".) Мадам Иоселевич потеряла переносицу, захватив ее пальцами, как морковку, которую она стирает с лица земли на терке, и взяла письмо.

Письмо было от некой миссис Джонстон, которая сообщала миссис Иохевед Шиф, что ее сестра Гута Кимель, соседка миссис Джонстон, жившая в подвальном помещении, скончалась четыре недели назад после продолжительной болезни. Говорят, что она заболела еще тогда, когда работала по многу часов в мокроте, и с годами ткани начали гнить и разлагаться. После похорон, организованных местной еврейской общиной, миссис Джонстон зашла к ней в комнату и нашла там уложенную посылку с адресом миссис Иохевед Шиф. Из письма, лежавшего рядом, она поняла, что миссис Шиф приходится сестрой покойной миссис Кимель. Поэтому она вкладывает свое письмо и отправляет посылку по адресу. Миссис Джонстон сообщает также, что покойная не оставила никаких ценных вещей. Только несколько сувениров со Святой земли и еще кое-какие мелочи. Если миссис Шиф пожелает, то миссис Джонстон упакует все это и вышлет ей.

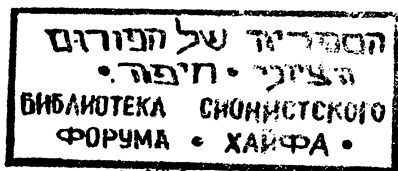
Иохевед Шиф посмотрела на дату.

— Через день после отплытия корабля.

— Вот видите, как вам повезло? Повидались с сестрой перед самой ее смертью. Я же говорила, что случаются чудеса.

Мадам Хая Иоселевич сняла очки. Жизнь не кофта, которую можно распускать и вязать, опять распускать и начинать все сначала.

Посылку она отдала нищему, который тарабанил в дверь до тех пор, пока она не открыла. На клочке газеты, в которую лавочник завернул ей пакет творога, она увидела размытую фотографию, запечатлевшую ее с банкой консервов. Под фотографией была надпись, набранная крупным шрифтом, но бумага промокла и буквы расплзлись. Кошки вошли в открытую дверь и стали прыгать на кровать. Их лапы оставляли следы на полу и на белоснежных до этого простынях. Мухи корпус за корпусом вступали в квартиру и бились о сетки, пытаясь теперь уже вырваться из тени на свет. Через неделю, когда тяжелый запах выбрался наружу и потихоньку пополз по улице, за ней пришли и унесли из дома.



2879

עיריית חיפה
מנהלת תחנות תחבורה
בית ארבעה עשר - סניף
.....

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОИ
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И.Кауфман. Библейская эпоха; Л.Финкелстайн.
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш.Эттингер.
Корни современного антисемитизма
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ

77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б.Динур. Исторические основы возрождения Израиля; С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД–ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник

114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
123. Израэль Таяр. СИНАГОГА – РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Двора Омер. СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р.О.В. 4140
91 041 Jerusalem**

